

ПОЛИТИЯ

Анализ

·

Хроника

·

Прогноз



ПОΛΙΤΕΙΑ

№ 3 (90)

Москва
2018

ПОЛИТИЯ

Журнал
политической философии
и социологии политики
Основан А.М.Салминым в 1996 г.

Учредители:
АНО «Общественно-
политический журнал.
Журнал политической
философии и социологии
политики «Полития.
Анализ. Хроника. Прогноз»;
Институт научной информации
по общественным наукам РАН

Главный редактор
Святослав Каспэ
Заместители главного редактора:
Лидия Галкина,
Сергей Михайлов,
Юрий Руднев

Ответственный редактор номера
Лидия Галкина

Над номером работали:
Антон Афанасьев,
Светлана Микоян,
Андрей Петроковский,
Дина Розенберг

Адрес редакции:
109028, Москва, ул. Солянка,
д. 3, стр. 1, офис 14
Телефон: (499) 713-02-64
Электронная почта: politeia@politeia.ru

Перепечатка материалов издания без письменного
разрешения редакции не допускается
© АНО «Общественно-политический журнал. Журнал
политической философии и социологии политики
«Полития. Анализ. Хроника. Прогноз», 2018
Точка зрения авторов
не обязательно совпадает с позицией редакции

POLITEIA

Journal
of Political Philosophy
and Sociology of Politics
Founded by Alexei Salmin in 1996

Institutional founders:
Autonomous
non-profit organization
The Journal of Political Philosophy
and Sociology of Politics "Politeia.
Analysis. Chronicle. Forecast";
Institute of Scientific Information
on Social Sciences of the Russian
Academy of Sciences

Editor-in-Chief
Svyatoslav Kaspe
Deputy Editors-in-Chief:
Lidia Galkina,
Sergey Mikhailov,
Yury Rudnev

Executive Editor
Lidia Galkina
This issue was prepared by:
Anton Afanasiev,
Svetlana Mikoyan,
Andrei Petrokovsky,
Dina Rosenberg

Contact Information
Tel.: +7 499 7130264
Email: politeia@politeia.ru
Address: 3 Solyanka St., building 1,
office 14, Moscow, 109028, Russia

Reprint in any purposes could be made
only with the written consent
© Autonomous non-profit organization The Journal
of Political Philosophy and Sociology of Politics
"Politeia. Analysis. Chronicle. Forecast"
The opinion of publishing author not always coincides
with the opinion of the editorial staff

ПОЛИТИЯ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Председатель Совета
Сергей Хенкин (Москва, Россия)

Заместители председателя Совета:

Александр Галкин (Москва, Россия)
Александр Муzyкантский
(Москва, Россия)

Члены Совета:

Татьяна Алексеева (Москва, Россия)
Фуад Алескеров (Москва, Россия)
Лидия Галкина (Москва, Россия)
Ирина Глебова (Москва, Россия)
Скотт Гельбах (Мэдисон, США)
Джон Данн (Кембридж, Великобритания)
Андрей Дегтярев (Москва, Россия)
Андрей Зубов (Москва, Россия)
Михаил Ильин (Москва, Россия)
Сергей Караганов (Москва, Россия)
Святослав Каспэ (Москва, Россия)
Владимир Колосов (Москва, Россия)
Тимоти Дж. Колтон (Гарвард, США)
Юрий Коргунюк (Москва, Россия)
Александр Кузнецов (Париж, Франция)
Борис Макаренко (Москва, Россия)
Андрей Мельвилль (Москва, Россия)
Сергей Михайлов (Москва, Россия)
Деннис К. Мюллер (Вена, Австрия)
Вячеслав Никонов (Москва, Россия)
Ханну Нурми (Турку, Финляндия)
Борис Орлов (Москва, Россия)
Юрий Пивоваров (Москва, Россия)
Уильям М. Райзингер (Айова Сити, США)
Дина Розенберг (Москва, Россия)
Николай Розов (Новосибирск, Россия)
Юрий Руднев (Будапешт, Венгрия)
Георгий Сатаров (Москва, Россия)
Александр Сунгуров
(Санкт-Петербург, Россия)
Леон Габриэль Тайванс (Рига, Латвия)
Андрей Тесля (Калининград, Россия)
Дэниэл Трейсман (Лос Анджелес, США)
Марк Урнов (Москва, Россия)
Леонид Фишман (Екатеринбург, Россия)

POLITEIA

EDITORIAL BOARD

Chairman of the Editorial Board
Sergei Khenkin (Moscow, Russia)

Vice-Chairmen:

Alexander Galkin (Moscow, Russia)
Alexander Muzykantskiy
(Moscow, Russia)

Members of the Editorial Board:

Tatiana Alekseeva (Moscow, Russia)
Fuad Aleskerov (Moscow, Russia)
Timothy J. Colton (Harvard, USA)
Andrey Degtyarev (Moscow, Russia)
John Dunn (Cambridge, UK)
Leonid Fishman (Ekaterinburg, Russia)
Lidia Galkina (Moscow, Russia)
Scott Gehlbach (Madison, USA)
Irina Glebova (Moscow, Russia)
Mikhail Ilyin (Moscow, Russia)
Sergey Karaganov (Moscow, Russia)
Svyatoslav Kaspe (Moscow, Russia)
Vladimir Kolosov (Moscow, Russia)
Yury Korgunyuk (Moscow, Russia)
Alexander Kuznetsov (Paris, France)
Boris Makarenko (Moscow, Russia)
Andrey Melville (Moscow, Russia)
Sergey Mikhailov (Moscow, Russia)
Dennis C. Mueller (Vienna, Austria)
Vyacheslav Nikonov (Moscow, Russia)
Hannu Nurmi (Turku, Finland)
Boris Orlov (Moscow, Russia)
Yuri Pivovarov (Moscow, Russia)
William M. Reisinger (Iowa City, USA)
Dina Rosenberg (Moscow, Russia)
Nikolai Rozov (Novosibirsk, Russia)
Yury Rudnev (Budapest, Hungary)
Georgy Satarov (Moscow, Russia)
Alexander Sungurov
(St. Petersburg, Russia)
Leons G. Taivans (Riga, Latvia)
Andrei Teslya (Kaliningrad, Russia)
Daniel Treisman (Los Angeles, USA)
Mark Urnov (Moscow, Russia)
Andrey Zubov (Moscow, Russia)

Содержание

| | | |
|---|---|-----|
| | Материалы номера _____ | 5 |
| Религия и политика | С.И.Каспэ Чем торгует Левиафан? Критерии оценки конкурентоспособности государств на рынках спасения _____ | 6 |
| Политические теории | С.Т.Золян Язык политики или язык в политической функции? _____ | 31 |
| | А.В.Марей О князьях и государях _____ | 50 |
| | С.А.Кучеренко Рецепция Фукидида в политическом реализме: наука и риторика _____ | 74 |
| Парадигмы общественного развития | А.С.Ахременко, А.П.Петров, И.Б.Филиппов Стабильность и выживание демократий: от гипотезы Липсета к производительности экономики _____ | 87 |
| | А.Н.Медушевский Популизм и конституционная трансформация: Восточная Европа, постсоветское пространство и Россия _____ | 113 |
| | Д.А.Давыдов Социальный субъект перехода к посткапиталистическому обществу: кто он? _____ | 140 |
| Идеологии | Н.В.Работяжев Реализм и утопия в идеологии европейской социал-демократии _____ | 158 |
| Зарубежные политики | О.Г.Харитонов Кризисная эволюция турецкой политической системы _____ | 181 |
| Приложение | XIII Конкурс работ молодых политологов на премию А.М.Салмина _____ | 206 |
| | Правила представления рукописей для публикации в журнале «Полития» _____ | 207 |
| | Table of Contents _____ | 210 |

Признавая полезность, хотя и ограниченную, метафоры «рынков спасения» для понимания поведения акторов, действующих в пересечениях сакрального и политического полей, в том числе государств, **С.И.Каспэ** фиксирует тенденции, развитие которых может привести к полному исчерпанию ее продуктивности, поскольку взаимодействия между традиционными и нетрадиционными иерократическими и политическими союзами с гораздо большей точностью станут описываться метафорой войны.

Используя идеи, достаточно подробно разработанные в лингвистике и семиотике, **С.Т.Золян** выстраивает концептуальный каркас, позволяющий разграничить понятия «язык политики» и «язык в политической функции» и провести различие между самой субстанцией языка, используемого в политике, и теми социальными и коммуникативными функциями, которые выполняет язык.

В статье **А.В.Мареев** ставится проблема содержания политических понятий и, в частности, адекватного перевода на русский язык политического языка европейского Средневековья. На примере понятия *princeps* автор показывает, что средневековые тексты нуждаются в ином подходе, нежели тексты Нового и Новейшего времени. Помимо прояснения концептуального остова переводимого текста, здесь требуется прояснить и понятийный аппарат самого переводчика. Важность внимания к столь тонким нюансам политического языка убедительно демонстрируется на современном российском материале.

На основе сравнительного анализа двух традиций в теории международных отношений — структурного и конструктивного реализма — **С.А.Кучеренко** приходит к выводу, что, обращаясь к наследию Фукидида, их представители решают разные задачи. Если структурные реалисты используют избранные фрагменты из «Истории Пелопоннесской войны» для подтверждения собственных тезисов, то конструктивисты настаивают на необходимости целостного ее прочтения.

Отталкиваясь от идей С.М.Липсета и А.Пшевурского, **А.С.Ахременко**, **А.П.Петров** и **И.Б.Филиппов** строят математическую модель, демонстрирующую, как социальный капитал и качество институтов позволяют стабилизировать демократические режимы, и тестируют ее на обширном массиве эмпирических данных.

Проведенное **А.Н.Медушевским** исследование показывает, что во всех странах Восточной Европы и постсоветского пространства, включая Россию, популизм дал толчок процессам конституционной ретрадиционализации, затронувшим такие сферы, как международное и национальное право, конституционная идентичность, суверенитет, формы правления, конституционное правосудие.

Будучи убежден, что социальная сущность субъекта посткапиталистического общества не может определяться положением в мире товарно-денежных отношений, **Д.А.Давыдов** предлагает рассматривать в качестве такового не какой-либо класс или социальную группу, а личность, то есть человека, для которого первичными являются ценности творчества и самореализации.

По оценке **Н.В.Работяжева**, обозначившийся в последние годы «левый поворот» социал-демократии свидетельствует о том, что она не может полностью перейти на позиции рыночного прагматизма и по-прежнему нуждается в «утопии-надежде».

Опираясь на анализ динамики конституционных полномочий президентов, **О.Г.Хариотонова** рассматривает эволюцию турецкого института президентства и фиксирует особенности турецких версий парламентской, премьер-президентской и президентской систем.



политика

С. И. Каспэ

ЧЕМ ТОРГУЕТ ЛЕВИАФАН? КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВ НА РЫНКАХ СПАСЕНИЯ

Святослав Игоревич Каспэ — доктор политических наук, профессор департамента политической науки факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный редактор журнала «Полития». Для связи с автором: kaspe@politeia.ru.

Аннотация. Метафора «рынков спасения» может быть ограниченно полезна для понимания поведения тех акторов, которые действуют в пересечениях сакрального и политического полей, руководствуясь собственной рациональной логикой, — например, государств. Наблюдаемое в последние десятилетия ослабление их сотериологической функции может быть связано со сжатием самого рынка спасения вследствие сокращения объемов человеческого страдания. Однако это сжатие оказалось временным. Восстановление спроса на спасение заставляет государства переопределять свои стратегии, колеблясь между различными версиями «гражданской религии», «политической религии», радикального лаицизма и т.д. Одновременно ужесточается конкуренция между государствами и иными операторами спасения — другими формами политических союзов, а также традиционными и нетрадиционными иерократическими союзами.

Гипотетически критерием оценки конкурентоспособности государств на рынке спасения может служить степень выражаемой их гражданами готовности «сражаться за свою страну». В пользу гипотезы говорит то, что категория жертвы, так или иначе присутствующая в почти любых сакральных дискурсах и символических комплексах, отсюда перешла и в дискурсы, и в механизмы символизации и легитимации современного государства. Впрочем, интуитивно очевидные подтверждения выдвинутой гипотезы в социологических данных отсутствуют — однако более глубокий анализ, возможно, позволит их выявить. В то же время есть основания полагать, что дальнейшее развитие событий вообще поставит под сомнение продуктивность применения к этой проблематике метафоры рынка и потребует замены ее другой метафорой. Вероятнее всего, метафорой войны.

Ключевые слова: рынки спасения, политические союзы, иерократические союзы, гражданская религия, политическая религия, «сражаться за свою страну»

Мы торгуем свинцом.
«Великолепная семерка»

В основу статьи положено выступление на XXV международном симпозиуме «Пути России», состоявшееся 30 марта 2018 г. в рамках секции «„Смертный бог“ в эпоху позднего модерна: государство и его конкуренты на (пост)глобальном рынке коллективного спасения» (поддержана Центром фундаментальной социологии НИУ ВШЭ и журналом «Социологическое обозрение»). Я благодарен руководителям секции Олегу Кильдюшову и Андрею Тесле за исключительно вдохновляющие формулировки приглашения к дискуссии. Эти формулировки вызвали у меня чувство внутреннего сопротивления; из него и возник текст, устройство которого напоминает одно из произведений борхесовского персонажа Пьера Менара: «Статья технического характера о возможности обогатить игру в шахматы, устранив одну из ладейных пешек. Менар предлагает, рекомендует, обсуждает и в конце концов отвергает это новшество».

«Рынки спасения» — метафора, безусловно, правомерная. Она легко и даже, пожалуй, с неизбежностью дедуцируется из того весьма распространенного в последние десятилетия исследовательского языка, который оперирует понятиями «religious markets» и «salvation goods»¹, — при том напрашивающемся уточнении, что более продуктивно было бы говорить не о «религиозном» *stricto sensu*, но о по-дюркгеймовски широко понимаемом «сакральном». Соответственно, круг операторов этого рынка не ограничен собственно религиозными институтами и акторами — есть ведь и квазирелигиозные, и вовсе нерелигиозные сотериологии. В том числе политические.

Подобный исследовательский язык, конечно, порожден экспансией теорий рационального выбора, сама аксиоматика которых требует любой домен человеческого существования представлять непременно как рынок. Однако такое представление способно серьезно исказить аналитическую оптику, а значит, и природу самого предмета анализа. Применительно к политике это хорошо показано, например, Бернаром Маненом² (а задолго до возникновения самих теорий рационального выбора — Йозефом Шумпетером³, на которого Манен и опирается).

В случае сакрального сомнений, пожалуй, еще больше. На это указывает хотя бы то, что экономического субъекта, узнающего себя, свои мотивации и стратегии в описаниях экономистов и рыночных аналитиков, вообразить легко; политического субъекта, соглашающегося считать свое поведение руководимым исключительно логикой минимизации издержек и максимизации выгод, а не тем или иным ценностным выбором, тоже можно — хотя, между прочим, такие акторы не обязательно составят в своем классе большинство. Но вообразить верующего (опять же в широком смысле слова — том, который лучше передается понятием «believer»), готового в той же логике интерпретировать свою

¹ *Выборочно: Warner 1993; Young (ed.) 1997; Jelen (ed.) 2002; Lechner 2007; Stolz (ed.) 2008.*

² *Манен 2008: 280.*

³ *Шумпетер 1995: 342—348.*

связь с сакральным (вне зависимости от содержания его веры — от того, что это за сакральное и как устроены его с ним отношения), намного труднее. Тем не менее при определенных условиях метафора «рынков спасения» может быть ограниченно полезна. Во-первых, если некоторый заметный класс акторов, действующих в домене, выражаясь максимально обобщенно, веры и трансценденции, не считает себя (обычно — с течением времени перестал считать) ангажированным какой-либо религиозной традицией и привносит в него собственную экзогенную рациональность, то некая социальная и политическая реальность тем самым все же возникает, а значит, вполне может быть исследована в соответствующем духе. Во-вторых, следует помнить, что «рынки спасения» — именно и только метафора, и на ее месте с не меньшими основаниями могла бы быть другая. Например, метафора войны. Впрочем, в конце нижеследующего рассуждения она и возникнет.

Само присутствие, в терминологии Макса Вебера, «политических союзов»⁴ (i.e. тех, устойчивость и значимость порядков которых «непрерывно обеспечиваются применением или угрозой применения физического принуждения со стороны штаба управления»⁵) на «рынках спасения» достаточно очевидно. Политические союзы, единства и множества никогда не были индифферентны к сотериологическим проблемам, они действовали на этих рынках на всем протяжении известной нам истории. Само рождение современного государства как общепринятой формы политического союза, по умолчанию подразумеваемой, конструируемой и рекомендуемой к повсеместному усвоению (то есть государства территориального, национального и демократического, с разной пропорцией осуществления этих интенций), было связано с активизацией его на рынке спасения и с попыткой завоевания на нем доминирующих позиций — через оттеснение прежних операторов спасения, в первую очередь католической Церкви и во вторую Священной Римской империи. При этом в огромном масштабе заимствовались имперские и особенно церковные практики легитимации и организации властных воздействий — от символических до административных.

На имперский ресурс state-building обращают внимание чаще: так, общеизвестно значение формулы *imperator in regno suo*, «император в своем королевстве»⁶. На церковный — реже, хотя именно его учет способен задать адекватную рамку восприятия и процесса секуляризации, и обнаружившегося после его иссякновения постсекулярного тренда. Ведь «современное государство не преемственно по отношению к другим политическим формам — оно представляет собой превращенную Церковь»⁷. Ведь «Папская революция... заложила фундамент для последующего возникновения светского государства Нового времени <...> когда светское государство появилось, оно имело облик, сходный с обликом папской Церкви»⁸. Как раз поэтому «все точные понятия современного учения о государстве представляют собой секуляризованные теологические понятия. Не только по своему историческому развитию... но и в их систематической структуре»⁹. «Историческое развитие»

⁴ *Выбор ее обосновывается двояко. С одной стороны, «политический союз» — более универсальная, менее привязанная к довольно узкому временному, пространственному и культурному контексту категория, чем «государство» (об этом контексте см. Росок 1975; Harding 1994; Скиннер 2002; Хархордин 2002). С другой стороны, прежде всего к Веберу возводят свои построения адепты концепций «рынков спасения» (см. Merz-Benz 2008; Stolz 2008).*

⁵ Вебер 2016: 110.

⁶ См. Каспэ 2007: 135—137.

⁷ Dumont 1985: 112.

⁸ Берман 1998: 118—119.

⁹ Шмитт 2000: 67.

тут важнее «систематической структуры» — оно указывает на то, что связь между сакральным и политическим является содержательной и генетической, а не только формальной и окказиональной, а веберовское различие политических и «иерократических» союзов (i.e. тех, существование порядков которых «обеспечивается психическим насилием путем предоставления или отказа в предоставлении священных благ»¹⁰) не может быть признано таким уж жестким и однозначным. Что конкурентность и конфликтность их отношений порождены органическим родством, хорошо видно и из того, как Эдвард Шилз описывал взаимную комплементарность «земных» (earthly) и «земных-трансцендентных» (earthly-transcendental) центров (которые в институциональном плане могут быть приравнены к «штабам управления» политических и иерократических союзов): «Земной-трансцендентный центр, то есть земная институция, претендующая репрезентировать центр трансцендентный, может находиться в разнообразных отношениях с собственно земным центром. Правительства, носители экономического могущества, политические элиты и производные от них всех институты обычно заявляют, что они также представляют идеал, что они суть агенты распространения и поддержания справедливости в мире. Функционеры земного-трансцендентного центра могут подтверждать справедливость этих претензий земного центра либо подвергать их критике за несообразность велениям трансцендентного центра»¹¹. Потому что «земная власть, так же как и трансцендентная, может защищать и разить; может оборвать жизнь или продлить ее... Она вовлекает в процессы не менее жизненно важные, чем те, которыми заправляют священнослужители и чародеи»¹². Да и насколько разные это процессы? У них много общего.

¹⁰ Вебер 2016: 110.

¹¹ Shils 1988: 255.

¹² Shils 1975: 264.

¹³ Суть которой с наибольшей точностью и лапидарностью передана даже не в официальных узаконениях, а в статье «Синод» Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Святейший Всероссийский Правительствующий Синод определяется в ней как «правительство, чрез которое действует в церковном управлении верховная самодержавная власть, его учредившая» (Энциклопедический словарь 1900: 38).

¹⁴ Руссо 2000: 322.

Здесь не место излагать последовательность событий, позволивших государствам захватить значительную долю рынка спасения и если не полностью устранить с него иерократические союзы, то по крайней мере существенно ограничить свободу их действий, а некоторые и вовсе низвести до статуса своих агентов. Она включает и пощечину в Ананьи, данную в 1303 г. хранителем большой печати французского короля Филиппа IV Красивого Гийомом де Ногарэ папе Бонифацию VIII, и британский Акт о супрематии 1534 г., и учреждение в России в 1721 г. синодальной системы¹³, и многое другое. Дух и цель этого наступления со всей ясностью выражены Жан-Жаком Руссо на последней странице трактата «Об общественном договоре»: «Кто смеет говорить: *вне Церкви нет спасения*, тот должен быть изгнан из Государства, если только Государство это не Церковь, и государь это не Первосвященник»¹⁴. То есть — если превращение Государства в Церковь еще не увенчалось окончательным успехом, если Государство еще не стало Церковью само, а Церковь покамест сохраняет остатки собственной автономии.

Modus operandi борющихся за захват рынка спасения государств принимал очень разные виды, от грубых до тонких. Среди первых французский лаицизм (и его калька — турецкий laiklik), германский Kulturkampf (и его итальянский аналог, приведший к полувековому

добровольному заточению римских пап в Ватикане), советское воинствующее безбожие (и его еще более радикальный албанский вариант, вдохновленный строками поэта Пашко Васы, написанными еще в XIX в., но взятыми на вооружение строителем «первого атеистического государства» Энвером Ходжей: «Не нужны вам церкви и мечети, / Религия албанцев — албанизм»¹⁵). Самые агрессивные и дальше других зашедшие формы этой экспансии описывались Эриком Фёгелином и Раймоном Ароном как «политические религии»¹⁶. Среди вторых — конечно, гражданская религия, обнаруженная Ричардом Норманом Белла в США¹⁷; однако более или менее точные ее эквиваленты находят и в других странах¹⁸, чаще всего в Израиле¹⁹. Степень точности этих эквивалентов остается предметом дискуссий, но само по себе наличие выраженной тенденции к включению в состав легитимирующих оснований многих современных государств мощного сакрального компонента неоспоримо. Собственно, любая националистическая программа, о какой бы из разновидностей политического национализма ни шла речь, хоть варварски дикой, хоть сколь угодно цивилизованной, так или иначе подразумевает присутствие государства на рынке спасения. Как заметил Энтони Смит, «своей способностью объединять мертвых, живых и еще не родившихся в единую общность судьбы... национализм дает человечеству светскую версию бессмертия»²⁰. А для Бенедикта Андерсона ключевым для понимания национализма моментом было его «тесное духовное родство с религиозным воображением»²¹.

Конечно, это другое спасение, не то, которое обещают иерократические союзы. Но оно предлагается и продвигается на том же самом рынке, оно предназначено к удовлетворению того же самого спроса — и находит своих потребителей. Более того, государство их во множестве и производит. «Создать народ значит сформировать — как институт и как психологический образ — современного homo nationalis, то есть форму индивидуальной идентичности, в которой „последней“ общностью будет государство, а не родственная группа, класс или конфессия. Точнее, государство должно стать всеми ими сразу»²². «Конфессия» действительно замыкает этот ряд — государство претендует быть не только высшим выражением и заместителем родовой близости и социально-экономической солидарности, но и объектом веры. И оно требует, чтобы вера в него была исповедана (confess).

Однако в последние десятилетия положение государства как оператора спасения заметно проблематизировалось и пошатнулось (собственно, более широкий вопрос о прочности государственной политической формы как таковой тоже остается открытым, хотя похороны государства, широко анонсированные апологетами глобализации, ценностного универсализма и транснациональных сетей в конце прошлого века, все еще не состоялись — покойник упорно отказывается лезть в назначенную ему могилу). Почему так? Каково состояние этого рынка сейчас? Каких перемен на нем следует ожидать в ближайшем будущем?

¹⁵ Цит. по: George 2010: 265. Кстати, что странного в этой формуле? Скажем, религия иудеев — иудаизм. А дьявол — обезьяна Бога.

¹⁶ Voegelin 1986; Арон 2015.

¹⁷ Bellah 1967, 1992. Вообще-то еще Алексису де Токвилю было понятно, что религию «следует считать первым политическим институтом этой страны» (Токвиль 2000: 223).

¹⁸ Demerath III and Williams 1985; Cristi and Dawson 1996; Cristi 2001; Demerath III 2001.

¹⁹ Liebman and Don-Yihya 1983.

²⁰ Смит 2004: 26.

²¹ Андерсон 2001: 33.

²² Balibar 1992: 157.

Тут нужно уточнить само понятие спасения. О чем, собственно, идет речь? О спасении кого, чего и от чего? Разумеется, ответ должен быть достаточно рациональным, универсальным и нейтральным по отношению к конкретным сотериологиям, разработанным в рамках тех или иных религиозных и квазирелигиозных традиций. Кажется допустимым воспользоваться определением Клиффорда Гирца, в котором специфика религии как «культурной системы» довольно естественно и логично связывается с темой страдания: «Как проблема религиозная, проблема страдания парадоксальным образом заключается не в том, как избежать страдания, а в том, как страдать, как сделать физическую боль, личные потери, мирские поражения или беспомощное лицемерие чужих страданий чем-то таким, что можно вынести, пережить»²³.

²³ Гирц 2004: 122.

Конечно, это весьма скудное объяснение — через прагматические, эгоистические и в целом посюсторонние мотивы. Оно уязвимо для того же стресс-теста, которому была подвергнута ранее метафора «рынок спасения», — то есть оно вряд ли будет принято изнутри какого-либо религиозного сознания. Но, рассуждая аналогично, если задача состоит в реконструкции поведения тех акторов (операторов спасения), которые руководствуются именно приземленными (earthly!) мотивами и позиционируют себя как силы именно посюсторонние (опять же earthly), то для ее решения формулировка Гирца вполне годится. Более того, она выгодно отличается от трактовок категории спасения, используемых теми, кто применяет к сотериологической проблематике метафору рынка: «Лишения, невзгоды и страдания побуждают индивида искать компенсации; он (или она) рассматривает блага спасения как то, что обещает избавить от несчастий, зла или телесных мук, в ближайшем или отдаленном будущем»²⁴. «Спасти — значит избежать безумия или просто психологического страдания (депрессии, декомпенсации)»²⁵. Речь, таким образом, идет уже не о придании страданию смысла, но о полном его исключении. Здесь также продолжается веберовская мысль, согласно которой «потустороннее спасение может состоять в избавлении от физических и душевных страданий» (следующая далее перечислительная расшифровка их разновидностей уже ничего не меняет в главном тезисе), а «позитивные посюсторонние черты оно обретает прежде всего в силу особого религиозно детерминированного образа жизни»²⁶. В том числе, надо полагать, образа жизни политической — почему она должна быть выведена из-под действия религиозной детерминации? Для политических союзов, устанавливающих и регулирующих образ такой жизни, на первом плане, само собой, находятся именно «посюсторонние черты» спасения. Это грубее, чем у Гирца; но еще вопрос, что точнее передает логику исследуемых акторов. Даже трансцендированное государство — а все они тшятся тем или иным способом трансцендировать сами себя²⁷ — остается градом земным. Даже Левиафан остается богом смертным. Впрочем, так и не устраненному, оставшемуся страданию все равно нужно придать смысл, и государства прилагают к тому немало усилий.

²⁴ Stolz 2008: 61.

²⁵ Brandt 2008: 116.

²⁶ Вебер 2017: 187.

²⁷ См. Каснэ 2007: 155—202.

Тогда ослабление роли государства как оператора спасения можно попытаться объяснить сжатием самого рынка спасения — вследствие сокращения объемов человеческого страдания. Безусловно, нельзя недооценивать и значение эрозии массовой религиозности, прогрессирующей в западном мире в XX в. (а в условиях советского и некоторых других режимов зашедшей так далеко, как западному миру и не снилось). Но эта эрозия уменьшала не столько объемы своего и чужого страдания, сколько, во-первых, чувствительность к последнему, во-вторых, самоё надежду на спасение и, соответственно, востребованность традиционных сотериологических услуг (особенно обещавших «потустороннее спасение») — они все более воспринимались как циничное надувательство. Одновременно росла популярность суррогатных благ спасения и рыночная доля их поставщиков — например, развернувшегося в промышленных масштабах психоанализа или операторов всяческого New Age, да и наркоиндустрии, предлагавших решать проблему страдания не через придание ему смысла, как то делали иерократические и, в меньшей степени, политические союзы, а, наоборот, через разного рода анестезирующие, снижающие чувствительность к нему воздействия.

Основной же причиной сжатия рынка спасения стали, видимо, «беспрецедентно высокие уровни экзистенциальной безопасности, достигнутые в современном передовом индустриальном обществе»²⁸, о которых так много писал Рональд Инглхарт — причем не в спекулятивном ключе, а на основе грандиозных межстрановых исследований, осуществляемых в рамках многолетнего проекта World Values Survey. То, что для жителей все большего количества стран примерно с начала 1970-х годов, а особенно с окончанием холодной войны и устранением прямой и явной угрозы ядерного Армагеддона, все менее реальными становились шансы лично пережить (или не пережить) голод, нищету, вооруженные конфликты, смертоносные эпидемии и т.д., то есть непосредственно столкнуться с наиболее мощными генераторами человеческих страданий, неоспоримый социальный факт. «Впервые в истории люди в массе своей — значительная их часть — выросли, усвоив ощущение, что выживание можно воспринимать как должное»²⁹. Настойчиво подчеркивая, что речь идет именно об экзистенциальной, интегральной безопасности, а не об ослаблении отдельных предметных угроз, Инглхарт прямо выводит отсюда «упадок традиционных религиозных норм»: «в отсутствие войны процветание и государство благосостояния создали небывалую атмосферу гарантированности выживания для индивида, и это уменьшило потребность в том утешении, которое традиционно давала религия»³⁰. Закономерно предположить, что альтернативные собственно религиозным, но родственные им, претендующие решать те же задачи и, что еще важнее, почти теми же, заимствованными у религиозных структур методами политические сотериологии также стали менее влиятельны. Тогда прогрессирующую утрату государствами

²⁸ Инглхарт 1997: 20.

²⁹ Там же: 13.

³⁰ Там же: 20.

статуса операторов спасения можно считать одним из аспектов пост-материального ценностного сдвига (value shift).

Однако казавшееся необратимым торжество «экзистенциальной безопасности» даже в западном мире оказалось временным и кратковременным. По сути, оно продолжалось всего около десятилетия — от окончательного схода с глобальной арены в 1991 г. «империи зла» до 11 сентября 2001 г. В своих работах 1990-х годов Инглхарт писал об «экзистенциальной безопасности» исключительно в радужных тонах. В дальнейшем он стал сдержаннее в выражениях — скорее всего, потому, что слова эти звучали все более издевательски.

Спектр массовых реакций на возвращение проблемы страдания и, следовательно, спасения в повседневную повестку довольно широк. Например, сюда относится возрождение, а нередко и интенсификация обращенных даже не только к государству, а к социальному порядку как таковому требований любой ценой обеспечить тотальную, именно экзистенциальную безопасность всем и каждому, гарантировать отсутствие каких бы то ни было страданий, какого бы то ни было дискомфорта. Справедливости ради надо отметить, что Инглхарт, соглашаясь с наблюдениями Ульриха Бека относительно «общества риска»³¹, такую возможность учитывал: «Парадоксальным, но логичным образом... неоспоримые успехи государств благосостояния передовых индустриальных обществ в обеспечении беспрецедентного уровня экзистенциальной безопасности порождают ожидания того, что государство может и должно защитить каждого от любой неопределенности»³². Показательным примером может служить американский феномен campus culture wars³³, представляющий собой кампанию за превращение университетов в стерильное safe space — пространство, зачищенное от любых реально или потенциально травмирующих воздействий, так называемых актов микроагрессии. Эта программа тотальной круговой обороны от панических атак вне зависимости от степени их обоснованности может быть эффективным инструментом провокации и манипуляции³⁴, но и сама есть продукт именно что экзистенциальной панической атаки. Наивные упования ее активистов не могут сбыться — настолько инфантильный и инфантилизирующий защитный механизм нереализуем в сколько-нибудь широких, тем более макросоциальных масштабах. Стены гетто, в которых его пытаются построить, все равно трещат под напором реальности, да в этих стенах и нельзя провести всю жизнь. Между прочим, вполне вероятной реакцией на неизбежную фрустрацию может стать другая крайность — обращение к проверенным временем благам потустороннего спасения, в соответствии с известной (и не раз повторенной Инглхартом) максимой «в окопах нет атеистов» (no atheists in foxholes). На самом деле есть; войны XX в. производили их в огромных количествах, газами и напалмом выжигая из человеческого сознания сами категории смысла и надежды. В окопах вообще в основном крайности. Но и жажда спасения в них, как и в любых предельных ситуациях, тоже обостряется.

³¹ Бек 2000.

³² Inglehart 1997: 36—37.

³³ Campbell and Manning 2014, 2016.

³⁴ Лучшей иллюстрацией тут является история, случившаяся с преподавателями Йельского университета Эрикой и Николасом Кристакисами (Friedersdorf 2016). См. также Виллисов 2016.

Государства (то есть их правящие элиты, веберовские «штабы управления») реагировали на сжатие рынка спасения по-разному. С одной стороны, некоторые из них поначалу вздохнули с облегчением и предались менее ответственным занятиям. То были прежде всего государства Западной Европы, устремившиеся в «постисторический рай спокойствия и относительного процветания, воплощение описанного Иммануилом Кантом „вечного мира“», в то время как «Соединенные Штаты погрязли в трясине истории, используя силу в анархичном глобальном мире, где международные права и нормы непрочны, а подлинная безопасность, защита и распространение либерального порядка по-прежнему зависят от наличия и применения военной силы»³⁵. С другой стороны, снижение спроса на блага спасения означало и определенную делегитимацию государств как их поставщиков, снижало их мобилизационные возможности. Обозначившиеся как раз тогда эрозия гражданской культуры, падение уровней патриотизма, гордости за страну, политического участия, поддержки и, the last but not the least, доверия к правительствам хорошо зафиксированы социологически³⁶. Это не могло не порождать в них желания вернуться на рынок спасения.

³⁵ Кейган 200: 7.

³⁶ Dogan 1998.

Стратегии возвращения государств тоже различны. Простейший способ восстановить спрос на блага спасения — увеличить предложение страдания. Действительно, одно из любимых занятий правительств, ощущающих дефицит легитимности, — запугивание собственного населения. В ход идет что угодно — от иностранного вмешательства в выборы (американские, российские, мальтийские, далее везде) до климатических изменений, от ползучей исламизации до ползучей содомизации. Обратной стороной этого морального террора стало то, что в конспирологическом сознании именно на правительства возлагается ответственность за все реальные и воображаемые бедствия, за производство страдания как такового — от взрывов жилых домов в России в 1999 г. и той же воздушной атаки на Нью-Йорк и Вашингтон в 2001 г. до тех же изменений климата и оставляемых самолетами инверсионных следов (chemtrails), которые, между прочим, тоже не просто так возникают, а, как кое-кто верит, с неким злым умыслом. Впрочем, в большинстве мест на Земле предложение страдания и так настолько велико, что его вряд ли нужно дополнительно и искусственно наращивать.

Еще один несложный путь назад — попытаться расконсервировать уже известные механизмы позиционирования государств в качестве незаменимых операторов спасения. Они были сданы на склад совсем недавно и не успели заржаветь. Тут в более выгодном положении находятся те государства, в историческом бэкграунде которых элементы гражданской религии уже присутствуют, где они были неотъемлемой составной частью учредительного акта и потому конституируют само политическое единство. Точнее, там — в первую очередь в США и в Израиле — они на консервацию и не сдавались, просто пускались в ход реже и с меньшей страстью. Труднее тем, кто вынужден гражданскую религию спешно конструировать, но попытки такого рода ясно

³⁷ Orbán 2014; Pap 2018.

³⁸ Киселева 2015.

³⁹ Zakaria 1996.

⁴⁰ Вообще о взаимных импликациях политического и религиозного в современной Польше см. Garbowski 2014; Зубжицки 2016.

различимы: например, в Венгрии, где премьер-министр Виктор Орбан открыто продвигает концепцию «иллиберальной демократии»³⁷, основанной, по его словам, на «христианской национальной основе» — «в противовес европейской моде»³⁸, причем продвигает, совершенно не смущаясь тем, что автор термина Фарид Закария наделял его сугубо негативными коннотациями³⁹. Или в Польше в условиях правления партии «Право и Справедливость», где ее председатель Ярослав Качиньский еще в 2010 г. выступил с инициативой изменения конституции, предложив начать последнюю словами «Во имя Бога всемогущего!»⁴⁰.

Но в отсутствие органической связи политического и сакрального, выражением которой являются исторические гражданские религии, ее искусственно стимулированное установление принимает форму религии скорее политической, чем гражданской. Тут важно уточнить их различие.

Один из немногих авторов, кто пытается дихотомически разграничить эти обычно смешиваемые термины и одновременно сделать их строго аналитическими, очистить от привязки к определенным географическим, темпоральным и культурным контекстам, — Эмилио Джентиле.

«Гражданская религия есть форма сакрализации коллективного политического целого, не идентифицирующаяся с какой-либо политической идеологией или политическим движением, утверждающая отделение Церкви от государства и, хотя и постулирующая существование деистически понимаемого сверхъестественного существа, соседствующая с традиционными религиозными институтами, не отождествляясь с каким-либо из вероисповеданий, а представляя себя как *общегражданский символ веры*, действующий поверх партий и конфессий. Она признает широкую индивидуальную автономию по отношению к освящаемому ею сообществу и в основном поощряет достижение спонтанного консенсуса в соблюдении заповедей публичной этики и коллективного служения (liturgy).

Политическая религия есть форма исключающей и интегристской сакрализации политики (politics). Она отказывается от сосуществования с иными политическими идеологиями и движениями, отрицает автономию индивида по отношению к коллективу, предписывает обязательное повиновение своим заповедям и участие в своем политическом культе, а также освящает насилие как легитимное средство борьбы с врагами и инструмент возрождения. Она враждебно относится к традиционным институционализированным религиям, стремясь либо уничтожить их, либо установить с ними отношения симбиотического сосуществования — в том смысле, что политическая религия пытается инкорпорировать религию традиционную в свою собственную систему верований и мифов, отводя ей подчиненную или вспомогательную роль»⁴¹.

⁴¹ Gentile 2005: 30.

Конечно, элемент оценочности отсюда не устранен. Хорошо заметно, что для Джентиле гражданская религия есть нечто в общем неплохое, а политическая — нечто в общем плохое, в чем и состоит их основное несходство. Однако одно принципиальное, содержательное

различие между ними в определениях Джентиле все-таки тоже видно, и оно заслуживает более выпуклой обрисовки.

Гражданская религия освящает (а тем самым легитимирует и укрепляет) политический союз через приписывание ему некоей сакральной по своему происхождению и значению миссии.

⁴² Merk 1995; Stephanson 1995.

⁴³ O'Sullivan 1845: 5 — первое появление термина.

⁴⁴ Beveridge 1900: 708.

⁴⁵ Ibid.: 704.

NB! Например, в случае США таковой является Manifest Destiny⁴², «явное предназначение» Соединенных Штатов к тому, чтобы сначала «заполнить (overspread) континент, отведенный Провидением для свободного развития всевозрастающих миллионов наших граждан»⁴³, а затем осуществить содержащийся в Конституции «призыв к росту, к экспансии, если угодно, к империи, не ограниченной географией, климатом и вообще ничем, кроме жизненных сил и возможностей американского народа»⁴⁴, возблагодарив тем самым «Бога всемогущего, отметившего нас как Свой избранный народ, призванный возглавить обновление мира»⁴⁵.

Но эта миссия предначертывается не самим политическим союзом, а возлагается на него (в его собственном представлении) откуда-то свыше, он является не первоисточником, а реципиентом и ретранслятором харизмы и трансценденции. Именно поэтому в гражданской религии по Джентиле государство сосуществует с «традиционными религиозными институтами», предлагая себя в качестве общей для них всех оболочки, служебной по своему статусу и назначению. В политической же религии государство претендует быть именно источником благодати, самостоятельным подателем благ спасения, а служебные функции отводятся как раз иерократическим союзам, если не упраздняемым, то субординируемым государству.

Иными словами, в модели гражданской религии государство не производит сакральные ресурсы (харизму, дары благодати, блага спасения) само. Оно только оседлывает их потоки и отщепляет часть их в свою пользу, а все производственные издержки несут иерократические союзы, один или несколько.

NB! Особенно эффективен опять-таки американский подход, в котором партнером и союзником религиозно нейтральной политической власти является не один и не несколько иерократических союзов, а неопределенно широкий круг конфессий, деноминаций и даже почти не институционализированных движений, отвечающих критерию «минимального монотеизма»⁴⁶.

⁴⁶ Chapp 2012: 53.

В модели политической религии государство полностью перекрывает эти потоки или частично пережимает их, но даже тогда они постепенно истощаются. Достаточно известны и не требуют развернутой экспликации те последствия для массовой религиозности, которые возымело превращение православной Церкви в «Ведомство

православного исповедания» в имперской России или постановка в аналогичное положение католической Церкви в империи Габсбургов. Государство, вступившее на этот путь, вынуждено производить сакральные ресурсы собственными силами, все менее подпитываясь извне, — и, как показывает исторический опыт, со временем надрывается от перенапряжения. Безусловно, на отдельных временных отрезках государство способно таким образом добиться высокого градуса мобилизации, однако периоды «патриотических подъемов» сменяются глубоким разочарованием, за маниакальной фазой следует депрессивная. «Песок — неважная замена овсу» (О.Генри). Поэтому в долгосрочной перспективе модель гражданской религии более продуктивна. Впрочем, эти два концепта все-таки не представляют собой дихотомические полюса, между ними располагается некая шкала, континуум возможностей⁴⁷.

⁴⁷ *Ad hoc* стоит заметить, что пути современной России в этом континууме пролегают хотя и далеко не по самому экстремуму «политической религии», но, пожалуй, ближе к нему — в той степени близости, которую многие наблюдатели считают опасной (подробнее см. Каспэ 2018).

⁴⁸ Что, может быть, заслуживает отдельного анализа с привлечением имитивской «теории партизана».

⁴⁹ Об утверждении 2017.

Еще один способ закрепиться на рынке спасения и даже монополизировать его, то ли придающий политической религии специфически превращенный вид, то ли вообще интенционально снимающий само различие политических и гражданских религий, — установление радикальной светскости государства по французскому или турецкому образцу (последний хотя и заметно деградировал в последнее время, для многих остается привлекательным). Например, в эту сторону быстро продвигается Казахстан. В сентябре 2016 г. в нем было образовано министерство по делам религий и гражданского общества (по распространенному мнению, *mutatis mutandis* копирующее Совет по делам религий при Совете министров СССР), которое возглавил бывший спецназовец, специалист по контрпартизанской борьбе Нурлан Ермакбаев⁴⁸, а в июне 2017 г. президентским указом утверждена «Концепция государственной политики в религиозной сфере»⁴⁹. Среди прочего документ требует воспретить государственным служащим «открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе» (п. 2.2.2.1), исключить освещение в каких-либо СМИ, кроме учрежденных зарегистрированными религиозными объединениями, «канонических вопросов религий» (п. 2.2.2.3), установить «ответственность педагогического состава за навязывание и культивирование религиозного мировоззрения» (п. 2.2.2.4), проводить «обряд бракосочетания по религиозным правилам... исключительно после регистрации брака в уполномоченных органах в установленном законом порядке» (п. 2.2.2.8) etc. — во имя государственного интереса, состоящего в «упрочении светских устоев государства» и «ограничении сферы влияния религий принципами морали и высокой этики» (п. 2.2.2.). Kulturkampf как он есть.

Но на глобальном рынке спасения, кроме государств, идущих этими путями или колеблющихся в выборе того, на какой из них вступить, действуют и акторы иной природы. Во-первых, государство, хотя и ставшее доминирующей формой политических союзов, не вовсе вытеснило другие их формы — прежде всего империи. Об имперской природе Европейского Союза говорилось много⁵⁰, и еще больше — об имперской природе США, мимоходом, как нечто само собой разумеющееся

⁵⁰ См., напр. Zielonka 2006; Behr and Stivachtis (eds.) 2016.

⁵¹ Подробнее см. *Kaspi 2007: 231 ff.*

упомянутой сенатором Альбертом Бевериджем в его цитированной выше речи «В поддержку американской империи»⁵¹. Нынешнее кризисное состояние обоих имперских проектов не должно вводить в заблуждение ни их поборников, ни противников: имперское строительство — игра в долгую, и далеко не всякое затруднение и даже откат в ее ходе означает крах самого начинания. Между прочим, поскольку США являются империей, постольку они не являются государством (или являются не совсем государством) в общепринятом смысле слова — тезис отнюдь не столь экзотический, как может показаться на первый взгляд. Не является обычным государством и Израиль, в котором отсутствие завершенной писаной конституции объясняется, по одной из версий, в том числе нежеланием окончательно, недвусмысленно определить природу этой парадоксальной политики — и не претендующей быть восстановленным Царством, и не способной вовсе избавиться от проецируемых на нее подобных воззрений и ожиданий разного знака. К тому же один из важнейших элементов американской идентичности, равно религиозной и политической, — образ «Нового Израиля»⁵², «избранного народа», также промелькнувший в приведенных выше страстных пассажах сенатора Бевериджа. Вряд ли случайно, что именно США и Израиль, при всех колоссальных различиях между ними сходные этим качеством «не-совсем-государственности», как уже упоминалось, принято рассматривать в качестве наиболее чистых реализаций модели гражданской религии⁵³.

⁵² См. *Cherry (ed.) 1998.*

⁵³ Эта мысль нуждается в отдельном развитии, выходящем за рамки возможного в настоящем тексте.

Во-вторых, оценивая текущую конъюнктуру рынка спасения, преждевременно было бы сбрасывать со счетов традиционные иерократические союзы. Как-никак только христиан в мире почти 2,5 млрд, из них около половины — католики.

В-третьих, на этом рынке все более заметны и нетрадиционные иерократические союзы — прежде всего радикальный ислам, в своих наиболее последовательных изводах вообще отрицающий легитимность политических союзов *per se* и *in toto*, квалифицирующий их примерно как производителей контрафакта. Редко замечается то обстоятельство, что «Исламское государство»⁵⁴, *Islamic state* — никакое не государство, по его собственному самоопределению. Это *الدولة الإسلامية*, *ад-даулят аль-исламийя*; *ад-даулят* же — «богатство, довольство, процветание», а вовсе не автономная политическая форма. Программа радикальных исламистов состоит не в строительстве той или иной версии исламского государства, но в уничтожении всякой государственности, в том числе вполне исламской⁵⁵, самим своим существованием посягающей на целостность и самодостаточность *уммы*⁵⁶. И чаемый радикальными исламистами «Всемирный халифат» мыслится ими опять же не как государство, а как достигшая совершенного развития *умма* — *دار الإسلام*, *дар аль-ислам*, глобальная «обитель покорности». Именно поэтому сколь угодно жесткая военная зачистка тех или иных территорий, подпавших под контроль исламистов подобного толка, весьма мало отражается на общих рыночных позициях этого экстерриториального по своей природе актора.

⁵⁴ *Запрещенное, запрещенное. Но существующее.*

⁵⁵ Ср. заявление самозваного «халифа» *ад-даулят аль-исламийя* Абу Бакра аль-Багдади, датированное августом 2014 г.: «Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Курдистан находятся под властью шайтана» (цит. по: *Строкань 2014*).

⁵⁶ См. *Кузнецов 2015*.

Насколько конкурентоспособными окажутся государства на таком насыщенном и турбулентном рынке? Поддается ли их конкурентоспособность верифицируемой количественной оценке? Гипотетически — да. Для этого может оказаться полезным параметр, измеряемый в некоторых межстрановых социологических исследованиях: «готовность сражаться за свою страну».

В пользу гипотезы говорит то, что категория жертвы так или иначе присутствует в почти любых сакральных дискурсах и символических комплексах — хоть по Рене Жиру⁵⁷, хоть по мнению других, более конвенциональных авторов и авторитетов. Оттуда она перешла и в дискурс, и в механизмы символизации и легитимации современного государства — в виде формулы «умереть за Родину», исследованной Эрнстом Канторовичем⁵⁸, и в других видах. «Именно у теологического дискурса были заимствованы модели идеализации нации и сакрализации государства, которые позволяют установить между гражданами связь, основанную на жертвенности, и наделить положения права признаками „истины“ и „закона“»⁵⁹. Поэтому естественно ожидать, что прочность статуса государства как подателя благ спасения должна как-то коррелировать с готовностью граждан приносить себя и других в жертву во имя этого «бога смертного» и тем самым обретать ту специфическую «жизнь вечную» в составе коллективного тела нации и в памяти благодарных потомков, ту «светскую версию бессмертия», объединяющую «мертвых, живых и еще не родившихся», о которой говорил Смит. Безусловно, жертва — это страдание; но страдание, интерпретированное как жертва, обретает смысл. Сторонники концепций «рынков спасения» тоже не проходят мимо этого обстоятельства: «Специфические традиции, встроенные в религиозные установления, эксплицитно или имплицитно обещают, что вовлеченность в определенные верования, духовные практики, ритуалы и моральные установки обеспечит желаемый результат: достижение такого образа существования, который стоит жертвы (that is worth making sacrifices for). Это достижение обозначается термином спасение»⁶⁰. Для государств такая жертвенность, концентрирующаяся вокруг «алтаря отечества», является важнейшим мобилизационным ресурсом. Боги, как известно, жаждут; «смертные боги» тоже.

Необходимые сведения доступны. Соответствующий вопрос задавался в шестой волне World Values Survey (2010—2014 г.)⁶¹, а также в рамках проекта Global Barometer on Hope and Despair, осуществленного Gallup International⁶² в 2014 г.⁶³ Есть причины, побуждающие остановиться на втором источнике, — несколько более свежие данные, несколько больше стран в выборке (65 против 61), больше уверенности в единстве методологии, особенно процедур сбора первичной информации⁶⁴. Формулировка вопроса: «Would you fight for your country?» В России, где исследование проводил входящий в Gallup International холдинг «Ромир», он звучал так: «Готовы ли вы в случае необходимости воевать за свою страну?»⁶⁵

Однако интуитивно очевидные подтверждения выдвинутой гипотезы в этих материалах отсутствуют. Конечно, кое-что вполне ожидаемо.

⁵⁷ Жиру 2000, 2010, 2015.

⁵⁸ Kantorowicz 1951.

⁵⁹ Балибар 2003: 112.

⁶⁰ Hedge 2014: 15.

⁶¹ World Values s.a.

⁶² Не смешивать с Gallup, Inc. — это разные институты.

⁶³ Stoychev (ed.) 2015: 284.

⁶⁴ Как известно, здесь ахиллесова пята World Values Survey.

⁶⁵ Сражаться за Родину 2015.

Так, в первом десятке стран, ранжированных по убыванию доли утвердительных ответов, четыре исламских; вообще мусульмане выказали заметно повышенную воинственность — 78% против 61% в среднем по генеральной совокупности, а христиане и иудеи — заметно пониженную (чуть выше 50%). Так, замыкают рейтинг Япония (11%) и наиболее секуляризованные, то есть те, где дискредитирована сама инстанция сакрального, а вместе с ней и понятие жертвы, страны Западной Европы — Нидерланды, Германия, Бельгия (от 15 до 19%). Так, значимо выше среднего по Западной Европе уровня (25%) располагаются США (43%) и Израиль (66%).

NB! Последний результат может показаться все равно неожиданно низким, но следует учитывать, что евреи составляют лишь менее 80% населения Израиля, а около 10% из них еще и принадлежат к ортодоксальным течениям иудаизма, так называемым *харедим*, не признают государство Израиль легитимным (именно в связи с сомнительностью его сакральных оснований) и, в частности, отказываются от службы в его вооруженных силах.

Но почему Финляндия дает 74%, а соседняя с ней и тоже лютеранская Швеция — 55% (а Дания — 37%)? Почему вроде бы славящаяся своим всеобщим вооружением народа Швейцария показывает 38%? Почему в постоянно находящейся на грани открытого конфликта с КНДР Южной Кореи готовы сражаться только 41%? Почему, в конце концов, первое место в рейтинге с 94% делят Марокко (что еще можно хоть как-то объяснить) и Фиджи⁶⁶?

⁶⁶ Мы чего-то не знаем о Фиджи. Мы вообще непостоятельно мало знаем о Фиджи.

На самом деле тут не так много удивительного. Помимо всех обычных оговорок относительно социально одобряемых ответов, «спирали молчания» и т.п., нужно учитывать и содержательные различия между религиями и конфессиями, и вообще культурный и исторический бэкграунд, и субъективную оценку вероятности самого возникновения необходимости защищать свою страну с оружием в руках (причем скептическая оценка может как снижать долю положительных ответов, так и, наоборот, повышать ее — почему бы не сказать «да», если речь идет о заведомо фантастическом допущении?). Важно и то, что дело касается предельной, экзистенциально напряженной ситуации. Имеет ли смысл в мирное время спрашивать человека о том, как он поведет себя под бомбами? А особенно — прогнозировать на этой основе его действительное поведение?

Для получения более осмысленных результатов имеющиеся данные надо бы различным образом, по различным основаниям сегментировать, ища кластеры сравнимых случаев. Также полезно было бы строить более плотные и продолжительные временные ряды. То и другое требует специальных усилий. И все-таки на этот барометр — «надежды и отчаяния» — стоит регулярно поглядывать и сейчас, несмотря на его ненадежность. Уж очень похоже, что в нашем дивном постсекулярном мире объемы страдания будут увеличиваться, спрос на блага спасения

возрастать, а конкуренция сотериологических операторов обостряться, отчего искомые корреляции станут более явными. Если нет — что ж, значит, алармистские настроения пока не оправдываются. Но если да, то эта конкуренция с неизбежностью сменит модус, а метафора «рынка спасения», изначально полезная лишь ограниченно, исчерпает себя и самоуничтожится. Потому что тогда взаимодействия между традиционными и нетрадиционными иерократическими и политическими союзами с гораздо большей точностью станут описываться метафорой войны. Или не метафорой. There will be blood; «и будет кровь»⁶⁷.

⁶⁷ Исх. 7:19.

Библиография

- Андерсон Б. (2001) *Воображаемые сообщества*. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле.
- Арон Р. (2015) *Опиум интеллектуалов*. М.: АСТ.
- Балибар Э. (2003) «Нация как форма: история и идеология» // Балибар Э. и И.Валлерстайн. *Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности*. — М.: Логос-Альтера, Ессе homo: 102—124.
- Бек У. (2000) *Общество риска: На пути к другому модерну*. М.: Прогресс-Традиция.
- Берман Г.Дж. (1998) *Западная традиция права: эпоха формирования*. М.: Изд-во МГУ, Инфра-М — Норма.
- Вебер М. (2016) *Хозяйство и общество: Очерки понимающей социологии. Т. 1: Социология*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики.
- Вебер М. (2017) *Хозяйство и общество: Очерки понимающей социологии. Т. 2: Общности*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики.
- Вилисов В. (2016) «Без обид: Как американские студенты борются против свободы слова» // *FURFUR*, 06.05. URL: http://www.furfur.me/furfur/freedom/freedom/217587-campus_wars (проверено 19.05.2018).
- Гирц К. (2004) *Интерпретация культур*. М.: РОССПЭН.
- Жирар Р. (2000) *Насилие и священное*. М.: НЛО.
- Жирар Р. (2010) *Козел отпущения*. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха.
- Жирар Р. (2015) *Я вижу Сатану, падающего, как молния*. М.: Изд-во Библейско-богословского института.
- Зубжицки Ж. (2016) «Polonia semper fidelis? Национальная мифология, религия и политика в Польше» // *Государство, религия, церковь в России и за рубежом*, № 3 (34): 44—78.
- Инглхарт Р. (1997) «Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества» // *Полис. Политические исследования*, № 4: 6—32.
- Каспэ С.И. (2007) *Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая форма*. М.: Московская школа политических исследований.
- Каспэ С.И. (2018) «Заговор молчания: сопряжения сакрального и политического в дискурсивных практиках современной России» // *Социологическое обозрение*, т. 17, № 2: 9—38.

Кейган Р. (2004) *О рае и силе: Америка и Европа в новом мировом порядке*. М.: Дом интеллектуальной книги, РОССПЭН.

Киселева М. (2015) «„Я не хочу жить в такой Европе, которая ведет к новой холодной войне с Россией“. Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал „Ъ“, как ему удается балансировать между Россией и ЕС» // *Коммерсантъ*, 20.02. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2671144> (проверено 19.05.2018).

Кузнецов В.А. (2015) «ИГ — альтернативная государственность? Чем объясняется притягательность радикалов для жителей арабского Востока» // *Россия в глобальной политике*, № 5: 8—17.

Манен Б. (2008) *Принципы представительного правления*. СПб.: Издательство Европейского университета.

Об утверждении Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017—2020 годы. Указ Президента Республики Казахстан от 20 июня 2017 г. URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1700000500#z11> (проверено 19.05.2018).

Руссо Ж.-Ж. (2000) «Об общественном договоре, или Принципы политического права» // Руссо Ж.-Ж. *Об общественном договоре*. М.: ТЕРРА—Книжный клуб, КАНОН-пресс-Ц: 195—322.

Скиннер К. (2002) «The State» // Хархордин О.В., ред. *Понятие государства в четырех языках*. СПб., М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, Летний сад: 12—74.

Смит Э. (2004) *Национализм и модернизм*. М.: Праксис.

Сражаться за Родину. (2015) URL: http://romir.ru/studies/665_1430773200/ (проверено 19.05.2018).

Строкань С. (2014) «Связанные халифатом» // *Коммерсантъ-Власть*, 01.09. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2553934> (проверено 19.05.2018).

Токвиль А. де. (2000) *Демократия в Америке*. М.: Весь Мир.

Хархордин О.В. (2002) «Предисловие редактора» // Хархордин О.В., ред. *Понятие государства в четырех языках*. СПб., М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, Летний сад: 5—11.

Шмитт К. (2000) «Политическая теология» // Шмитт К. *Политическая теология: Сборник*. М.: КАНОН-Пресс-Ц: 7—98.

Шумпетер Й. (1995) *Капитализм, социализм и демократия*. М.: Экономика.

Энциклопедический словарь. (1900) Т. XXX. СПб.: Типография акц. общ. «Издательское дело», Брокгауз-Ефрон.

Balibar E. (1992) «Nation, cité, empire (La problème de la forme politique bourgeoise)» // Balibar E. *Les frontières de la démocratie*. Paris: La Découverte: 151—166.

Behr H. and J.P.Stivachtis, eds. (2016) *Revisiting the European Union as Empire*. London, New York: Routledge.

Bellah R.N. (1967) «Civil Religion in America» // *Daedalus*, vol. 96, no. 1: 1—21.

Bellah R.N. (1992) *The Broken Covenant: American Civil Religion in a Time of Trial*. Chicago: University of Chicago Press.

- Beveridge A. (1900) «In Support of American Empire» // *Congressional Record (56th Cong., 1st Session)*, vol. XXXIII: 704—712.
- Brandt P.-Y. (2008) «Integration or Individuation: Are the Salvation Goods Promised by First-Century Christian Preaching Still Attractive?» // Stolz J., ed. *Salvation Goods and Religious Markets: Theory and Applications*. Bern, New York: Peter Lang: 101—126.
- Campbell B. and J.Manning. (2014) «Microaggression and Moral Cultures» // *Comparative Sociology*, vol. 13, no. 6: 692—726.
- Campbell B. and J.Manning. (2016) «Campus Culture Wars and the Sociology of Morality» // *Comparative Sociology*, vol. 15, no. 2: 147—178.
- Chapp Ch.B. (2012) *Religious Rhetoric and American Politics: The Endurance of Civil Religion in Electoral Campaigns*. Ithaca, London: Cornell University Press.
- Cherry C., ed. (1998) *God's New Israel: Religious Interpretations of American Culture*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Cristi M. (2001) *From Civil to Political Religion: The Intersection of Culture, Religion and Politics*. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press.
- Cristi M. and L.L.Dawson. (1996) «Civil Religion in Comparative Perspective: Chile Under Pinochet (1973—1989)» // *Social Compass*, vol. 43, no. 3: 319—338.
- Demerath III N.J. (2001) *Crossing the Gods: World Religions and Worldly Politics*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Demerath III N.J. and R.H.Williams. (1985) «Civil Religion in an Uncivil Society» // *Annals of the American Academy*, vol. 480: 154—165.
- Dogan M. (1998) «The Decline of Traditional Values in Western Europe» // *International Journal of Comparative Sociology*, vol. 39, no. 3: 77—90.
- Dumont L. (1985) «A Modified View of Our Origins: The Christian Beginnings of Modern Individualism» // Carrithers M., S.Collins, and S.Lukes, eds. *The Category of the Person: Anthropology, Philosophy, History*. Cambridge: Cambridge University Press: 93—122.
- Friedersdorf C. (2016) «The Perils of Writing a Provocative Email at Yale» // *The Atlantic*, 26.05. URL: <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/05/the-peril-of-writing-a-provocative-email-at-yale/484418> (accessed 19.05.2018).
- Garbowski Ch. (2014) *Religious Life in Poland: History, Diversity and Modern Issues*. Jefferson: McFarland.
- Gentile E. (2005) «Political Religion: A Concept and Its Critics. A Critical Survey» // *Totalitarian Movements and Political Religions*, vol. 6, no. 1: 19—32.
- George B. (2010) *Until All Have Heard: The Centennial History of Church of God World Missions*. Cleveland: Pathway Press.
- Harding A. (1994) «The Origins of the Concept of the State» // *History of Political Thought*, vol. 15, no. 1: 57—72.
- Hedge A.S. and M.Paleologou. (2014) «Modeling Salvation at the Crossroads of Philosophy and Economics» // *International Journal of Business and Social Science*, vol. 5, no. 3: 15—22.

Inglehart R. (1997) *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. Princeton: Princeton University Press.

Kantorowicz E. (1951) «Pro Patria Mori in Medieval Political Thought» // *The American Historical Review*, vol. 56, no. 3: 472—492.

Jelen T.G., ed. (2002) *Sacred Markets, Sacred Canopies: Essays on Religious Markets and Religious Pluralism*. Lanham: Rowman and Littlefield.

Lechner F.J. (2007) «Rational Choice and Religious Economies» // Beckford J.A. and N.J.Demerath III, eds. *The SAGE Handbook of the Sociology of Religion*. Los Angeles: SAGE Publications: 81—97.

Liebman Ch.S. and E.Don-Yihya. (1983) *Civil Religion in Israel: Traditional Judaism and Political Culture in the Jewish State*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Merk F. (1995) *Manifest Destiny and Mission in American History: A Reinterpretation*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

Merz-Benz P.-U. (2008) «Salvation Goods and Culture Goods: An Interpretation of Max Weber» // Stolz J., ed. *Salvation Goods and Religious Markets: Theory and Applications*. Bern, New York: Peter Lang: 19—30.

Orban V. (2014) *Speech at the XXV Bálványos Free Summer University and Youth Camp*. URL: <https://budapestbeacon.com/full-text-of-viktor-orbans-speech-at-baile-tusnad-tusnadfurdo-of-26-july-2014/> (accessed 19.05.2018).

O’Sullivan J. (1845) «Annexation» // *United States Magazine and Democratic Review*, vol. 17, no. 1: 5. URL: <https://pdicrodas.webs.ull.es/anglo/OsullivanAnnexation.pdf> (accessed 19.05.2018).

Pap A.L. (2018) *Democratic Decline in Hungary: Law and Society in an Illiberal Democracy*. Abingdon, New York: Routledge.

Pocock J.G.A. (1975) *The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*. Princeton: Princeton University Press.

Shils E. (1975) *Center and Periphery: Essays in Macrosociology*. Chicago: University of Chicago Press.

Shils E. (1988) «Center and Periphery: An Idea and Its Career, 1935—1987» // Greenfield L. and M.Martin, eds. *Center: Ideas and Institutions*. Chicago, London: University of Chicago Press: 250—282.

Stephanson A. (1995) *Manifest Destiny: American Expansion and the Empire of Right*. New York: Hill and Wang.

Stolz J., ed. (2008) *Salvation Goods and Religious Markets: Theory and Applications*. Bern, New York: Peter Lang.

Stolz J. (2008) «Salvation Goods and Religious Markets: Integrating Rational Choice and Weberian Perspectives» // Stolz J., ed. *Salvation Goods and Religious Markets: Theory and Applications*. Bern, New York: Peter Lang: 51—80.

Stoychev K., ed. (2015) *Voice of the People 2015*. Zurich: WIN/Gallup International. URL: <http://www.gallup-international.com/wp-content/uploads/2017/10/GIA-Book-2015.pdf> (accessed 19.05.2018).

Voegelin E. (1986) *Political Religions*. Lewiston, New York: E.Mellen Press.

Warner S.R. (1993) «Work in Progress Toward a New Paradigm for the Sociological Study of Religion in the United States» // *American Journal of Sociology*, vol. 98, no. 5: 1044–1093.

World Values Survey Data Analysis Tool. URL: <http://www.worldvaluesurvey.org/WVSONline.jsp> (accessed 19.05.2018).

Young L.A., ed. (1997) *Rational Choice Theory and Religion: Summary and Assessment*. New York: Routledge.

Zakaria F. (1996) «The Rise of Illiberal Democracy» // *Foreign Affairs*, vol. 76, no. 6: 22–43.

Zielonka J. (2006) *Europe as Empire: The Nature of the Enlarged European Union*. Oxford, New York: Oxford University Press.



S.I.Kaspe

IN WHAT DOES LEVIATHAN DEAL? EVALUATION CRITERIA FOR STATES' COMPETITIVENESS ON "SALVATION MARKETS"

Svyatoslav I. Kaspe — Doctor of Political Science; Professor at the National Research University *Higher School of Economics* (Department of Political Science, Faculty of Social Sciences); Editor-in-Chief of the Journal *Politeia*. Email: kaspe@politeia.ru.

Abstract. The metaphor “salvation markets” can be to some extent useful for understanding behavior of those actors who operate at the intersection of sacral and political fields, guided by their own rational logic, for example, states. The weakening of their soteriological function in the last decades can be explained by the contraction of “salvation market” itself due to the reduction of the amount of human suffering. However, this contraction turned out to be only temporary. The restoration of demand for salvation forces states to re-define their strategies, oscillating between various versions of “civil religion”, “political religion”, radical laicism etc. At the same time, there is a toughening competition between states and other operators of salvation — other forms of political groups (Verbände), as well as traditional and non-traditional hierocratic groups (Verbände).

Hypothetically, the degree to which citizens are ready “to fight for their country” can serve as the evaluation criterion for states’ competitiveness on “salvation markets”. The hypothesis is supported by the fact that the category of the

victim, which is present in one way or another in almost any sacral discourses and symbolical complexes, penetrated both discourses and mechanisms of symbolization and legitimation of the modern state. However, there are no intuitively obvious confirmations of this hypothesis in the sociological data. Meanwhile, a deeper analysis might help to reveal the supporting evidence of the hypothesis. Alternatively, there are grounds to suggest that further course of events will undermine altogether the efficiency of the “market” metaphor in this context — and will call for a different metaphor. Most likely, it would be the metaphor of “war”.

Keywords: salvation markets, political groups (Verbände), hierocratic groups (Verbände), civil religion, political religion, “fight for the country”

References

- Anderson B. (2001) *Voobrazhaemye soobshchestva* [Imagined Communities]. Moscow: KANON-press-TS, Kuchkovo pole. (In Russ.)
- Aron R. (2015) *Opium intelektualov* [L’Opium des intellectuals]. Moscow: AST. (In Russ.)
- Balibar E. (1992) “Nation, cité, empire (La probl me de la forme politique bourgeoise)” // Balibar E. *Les fronti res de la d mocratie*. Paris: La Decouverte: 151–166.
- Balibar E. (2003) “Natsija kak forma: istorija i ideologija” [The Nation Form: History and Ideology] // Balibar E. and I.Wallerstein. *Rasa, natsiia, klass. Dvumyslennye identichnosti* [Race, Nation, Class: Ambiguous Identities]. Moscow: Logos-Al’tera, Ecce homo: 102–124. (In Russ.)
- Beck U. (2000) *Obshchestvo riska: Na puti k drugomu modernu* [Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne]. Moscow: Progress-Traditsija. (In Russ.)
- Behr H. and J.P.Stivachtis, eds. (2016) *Revisiting the European Union as Empire*. London, New York: Routledge.
- Bellah R.N. (1967) “Civil Religion in America” // *Daedalus*, vol. 96, no. 1: 1–21.
- Bellah R.N. (1992) *The Broken Covenant: American Civil Religion in a Time of Trial*. Chicago: University of Chicago Press.
- Berman H.J. (1998) *Zapadnaia traditsija prava: epokha formirovaniia* [Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition]. Moscow: Izd-vo MGU, Infra-M — Norma. (In Russ.)
- Beveridge A. (1900) “In Support of American Empire” // *Congressional Record (56th Cong., 1st Session)*, vol. XXXIII: 704–712.
- Brandt P.-Y. (2008) “Integration or Individuation: Are the Salvation Goods Promised by First-Century Christian Preaching Still Attractive?” // Stolz J., ed. *Salvation Goods and Religious Markets: Theory and Applications*. Bern, New York: Peter Lang: 101–126.
- Campbell B. and J.Manning. (2014) “Microaggression and Moral Cultures” // *Comparative Sociology*, vol. 13, no. 6: 692–726.
- Campbell B. and J.Manning. (2016) “Campus Culture Wars and the Sociology of Morality” // *Comparative Sociology*, vol. 15, no. 2: 147–178.

- Chapp C.B. (2012) *Religious Rhetoric and American Politics: The Endurance of Civil Religion in Electoral Campaigns*. Ithaca, London: Cornell University Press.
- Cherry C., ed. (1998) *God's New Israel: Religious Interpretations of American Culture*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Cristi M. (2001) *From Civil to Political Religion: The Intersection of Culture, Religion and Politics*. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press.
- Cristi M. and L.L.Dawson. (1996) "Civil Religion in Comparative Perspective: Chile Under Pinochet (1973—1989)" // *Social Compass*, vol. 43, no. 3: 319—338.
- Demerath III N.J. (2001) *Crossing the Gods: World Religions and Worldly Politics*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Demerath III N.J. and R.H.Williams. (1985) "Civil Religion in an Uncivil Society" // *Annals of the American Academy*, vol. 480: 154—165.
- Dogan M. (1998) "The Decline of Traditional Values in Western Europe" // *International Journal of Comparative Sociology*, vol. 39, no. 3: 77—90.
- Dumont L. (1985) "A Modified View of Our Origins: The Christian Beginnings of Modern Individualism" // Carrithers M., S.Collins, and S.Lukes, eds. *The Category of the Person: Anthropology, Philosophy, History*. Cambridge: Cambridge University Press: 93—122.
- Entsiklopedicheskij slovar'* [Encyclopedic Dictionary]. (1900) Vol. XXX. St Petersburg: Tipografiia akts. obshch. "Izdatel'skoe delo", Brockhaus-Efron. (In Russ.)
- Friedersdorf C. (2016) "The Perils of Writing a Provocative Email at Yale" // *The Atlantic*, 26.05. URL: <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/05/the-peril-of-writing-a-provocative-email-at-yale/484418> (accessed 19.05.2018).
- Garbowski Ch. (2014) *Religious Life in Poland: History, Diversity and Modern Issues*. Jefferson: McFarland.
- Geertz C. (2004) *Interpretatsija kul'tur* [The Interpretation of Cultures]. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)
- Gentile E. (2005) "Political Religion: A Concept and Its Critics. A Critical Survey" // *Totalitarian Movements and Political Religions*, vol. 6, no. 1: 19—32.
- George B. (2010) *Until All Have Heard: The Centennial History of Church of God World Missions*. Cleveland: Pathway Press.
- Girard R. (2000) *Nasilie i svjashchenoe* [La violence et le sacré]. Moscow: NLO. (In Russ.)
- Girard R. (2010) *Kozel otpushchenija* [Le bouc émissaire]. St Petersburg: Izd-vo Ivana Limbakha. (In Russ.)
- Girard R. (2015) *Ia vizhu Satanu, padajushchego, kak molnija* [Je vois Satan tomber comme l'éclair]. Moscow: Izd-vo Biblejsko-bogoslovskogo instituta. (In Russ.)
- Harding A. (1994) "The Origins of the Concept of the State" // *History of Political Thought*, vol. 15, no. 1: 57—72.

Hedge A.S. and M.Paleologou. (2014) “Modeling Salvation at the Crossroads of Philosophy and Economics” // *International Journal of Business and Social Science*, vol. 5, no. 3: 15–22.

Inglehart R. (1997) *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. Princeton: Princeton University Press.

Inglehart R. (1997) Postmodern: menjajushchiesja tsennosti i izmenjajushchiesja obshchestva [Postmodern: Changing Values, Changing Societies] // *Polis. Politicheskie issledovanija* [Polis. Political Studies], no. 4: 6–32. (In Russ.)

Jelen T.G., ed. (2002) *Sacred Markets, Sacred Canopies: Essays on Religious Markets and Religious Pluralism*. Lanham: Rowman and Littlefield.

Kagan R. (2004) *O rae i sile: Amerika i Evropa v novom mirovom porjadke* [Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order]. Moscow: Dom intellektual’noi knigi, ROSSPEN. (In Russ.)

Kantorowicz E. (1951) “Pro Patria Mori in Medieval Political Thought” // *The American Historical Review*, vol. 56, no. 3: 472–492.

Kaspe S.I. (2007) *Tsentry i ierarkhii: prostranstvennyye metafory vlasti i zapadnaja politicheskaja forma* [Centers and Hierarchies: The Spatial Metaphors of Power and the Western Political Form]. Moscow: Moskovskaja shkola politicheskikh issledovanij. (In Russ.)

Kaspe S.I. (2018) “Zagovor molchanija: soprjazhenija sakral’nogo i politicheskogo v diskursivnykh praktikakh sovremennoj Rossii” [Conspiracy of Silence: Interfaces of Sacred and Political in the Discursive Practices of Modern Russia] // *Sotsiologicheskoe obozrenie* [The Russian Sociological Review], vol. 17, no. 2: 9–38. (In Russ.)

Kharkhordin O.V. (2002) “Predislovie redaktora” [Editor’s Preface] // Kharkhordin O.V., ed. *Ponjatie gosudarstva v chetyrekh iazykakh* [The Notion of State in Four Languages]. St Petersburg, Moscow: Evropeiskii universitet v Sankt-Peterburge, Letnii sad: 5–11. (In Russ.)

Kiseleva M. (2015) “„Ja ne khochu zhit’ v takoj Evrope, kotoraja vedet k novoj kholodnoj vojne s Rossiej“. Prem’er Vengrii Viktor Orbán rasskazal, kak emu udaetsja balansirovat’ mezhdru Rossiej i ES” [“I Don’t Want to Live in Such Europe That Leads to the New Cold War with Russia”. Prime Minister of Hungary Viktor Orbán Described How’s He Keep the Balance between Russian and EU] // *Kommersant*”, 20.02. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2671144> (accessed 19.05.2018).

Kuznetsov V.A. (2015) “IG — al’ternativnaja gosudarstvennost’? Chem ob’jasnjaetsja pritjagatel’nost’ radikalov dlja zhitelej arabskogo Vostoka [The Islamic State: Alternative Statehood? Why Radicals’ Policies Are Attractive for the Middle East Arabs] // *Rossija v global’noj politike* [Russia in Global Affairs], no. 5: 8–17. (In Russ.)

Lechner F.J. (2007) “Rational Choice and Religious Economies” // Beckford J.A. and N.J.Demerath III, eds. *The SAGE Handbook of the Sociology of Religion*. Los Angeles: SAGE Publications: 81–97.

Liebman Ch.S. and E.Don-Yihya. (1983) *Civil Religion in Israel: Traditional Judaism and Political Culture in the Jewish State*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Manin B. (2008) *Printsipy predstavitel'nogo pravlenija* [The Principles of Representative Government]. St Petersburg: Izd-vo Evropejskogo universiteta. (In Russ.)

Merk F. (1995) *Manifest Destiny and Mission in American History: A Reinterpretation*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

Merz-Benz P.-U. (2008) "Salvation Goods and Culture Goods: An Interpretation of Max Weber" // Stolz J., ed. *Salvation Goods and Religious Markets: Theory and Applications*. Bern, New York: Peter Lang: 19–30.

O'Sullivan J. (1845) "Annexation" // *United States Magazine and Democratic Review*, vol. 17, no. 1: 5. URL: <https://pdcrodas.webs.ull.es/anglo/OsullivanAnnexation.pdf> (accessed 19.05.2018).

Ob utverzhenii Kontseptsii gosudarstvennoj politiki v religioznoj sfere Respubliki Kazakhstan na 2017–2020 gody. Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 20 ijunja 2017 g. № 500 [About the Approval of the Conception of State Policy in Religious Domain of the Republic Kazakstan for 2017–2020. The Decree of President of the Republic Kazakstan from June 20, 2017 № 500]. URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1700000500#z11> (accessed 19.05.2018). (In Russ.)

Orban V. (2014) *Speech at the XXV Bálványos Free Summer University and Youth Camp*. URL: <https://budapestbeacon.com/full-text-of-viktor-orbans-speech-at-baile-tusnad-tusnadfurdo-of-26-july-2014/> (accessed 19.05.2018).

Pap A.L. (2018) *Democratic Decline in Hungary: Law and Society in an Illiberal Democracy*. Abingdon, New York: Routledge.

Pocock J.G.A. (1975) *The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*. Princeton: Princeton University Press.

Rousseau J.-J. (2000) "Ob obshchestvennom dogovore, ili Printsipy politicheskogo prava" [Du contrat social ou Principes du droit politique] // Rousseau J.-J. *Ob obshchestvennom dogovore* [Du contrat social]. Moscow: TERRA—Knizhnyj klub, KANON—press-TS: 195–322. (In Russ.)

Schmitt C. (2000) "Politicheskaja teologija" [Politische Theologie] // Schmitt C. *Politicheskaja teologija: Sbornik* [Political Theology: Collected Works]. Moscow: KANON—Press-TS: 7–98. (In Russ.)

Schumpeter J. (1995) *Kapitalizm, sotsializm i demokratija* [Capitalism, Socialism, and Democracy]. Moscow: Ekonomika. (In Russ.)

Shils E. (1975) *Center and Periphery: Essays in Macrosociology*. Chicago: University of Chicago Press.

Shils E. (1988) "Center and Periphery: An Idea and Its Career, 1935–1987" // Greenfeld L. and M.Martin, eds. *Center: Ideas and Institutions*. Chicago, London: University of Chicago Press: 250–282.

Skinner Q. (2002) "The State" // Kharkhordin O.V., ed. *Poniatie gosudarstva v chetyrekh jazykakh* [The Notion of State in Four Languages]. St Petersburg, Moscow: Evropejskij universitet v Sankt-Peterburge, Letnii sad: 12–74. (In Russ.)

Smith A. (2004) *Natsionalizm i modernizm* [Nationalism and Modernism]. Moscow: Praxis. (In Russ.)

Srazhat'sja za Rodinu [Fight for the Country]. (2015) URL: http://romir.ru/studies/665_1430773200/ (accessed 19.05.2018). (In Russ.)

Stephanson A. (1995) *Manifest Destiny: American Expansion and the Empire of Right*. New York: Hill and Wang.

Stolz J. (2008) “Salvation Goods and Religious Markets: Integrating Rational Choice and Weberian Perspectives” // Stolz J., ed. *Salvation Goods and Religious Markets: Theory and Applications*. Bern, New York: Peter Lang: 51—80.

Stolz J., ed. (2008) *Salvation Goods and Religious Markets: Theory and Applications*. Bern, New York: Peter Lang.

Stoychev K., ed. (2015) *Voice of the People 2015*. Zurich: WIN/Gallup International. URL: <http://www.gallup-international.com/wp-content/uploads/2017/10/GIA-Book-2015.pdf> (accessed 19.05.2018).

Strokan’ S. (2014) “Svjazannye khalifatom” [Bound by Caliphate] // *Kommersant’-Vlast’* [Kommersant-Power], 01.09. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2553934> (accessed 19.05.2018). (In Russ.)

Tocqueville A. de. (2000) *Demokratija v Amerike* [De la démocratie en Amérique]. Moscow: Ves’ Mir. (In Russ.)

Vilisov V. (2016) “Bez obid: Kak amerikanske studenty borjutsja protiv svobody slova” [No Offense: How American Students Fought Against Freedom of Expression] // *FURFUR*, 06.05. URL: http://www.furfur.me/furfur/freedom/freedom/217587-campus_wars (accessed 19.05.2018). (In Russ.)

Voegelin E. (1986) *Political Religions*. Lewiston, New York: E. Mellen Press.

Warner S.R. (1993) “Work in Progress Toward a New Paradigm for the Sociological Study of Religion in the United States” // *American Journal of Sociology*, vol. 98, no. 5: 1044—1093.

Weber M. (2016) *Khozjaistvo i obshchestvo: Oчерki ponimajushchej sotsiologii* [Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie]. T. 1: Sotsiologija [Sociology]. Moscow: Izdatel’skij dom Vyshej shkoly ekonomiki. (In Russ.)

Weber M. (2017) *Khozjaistvo i obshchestvo: Oчерki ponimajushchej sotsiologii* [Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie]. T. 2: Obshchnosti [Communities]. Moscow: Izdatel’skij dom Vyshej shkoly ekonomiki. (In Russ.)

World Values Survey Data Analysis Tool. URL: <http://www.worldvaluessurvey.org/WVSONline.jsp> (accessed 19.05.2018).

Young L.A., ed. (1997) *Rational Choice Theory and Religion: Summary and Assessment*. New York: Routledge.

Zakaria F. (1996) “The Rise of Illiberal Democracy” // *Foreign Affairs*, vol. 76, no. 6: 22—43.

Zielonka J. (2006) *Europe as Empire: The Nature of the Enlarged European Union*. Oxford, New York: Oxford University Press.

Zubrzycki G. (2016) “Polonia semper fidelis? Natsional’naja mifologija, religija i politika v Pol’she [Polonia semper fidelis? National Mythology, Religion and Politics in Poland] // *Gosudarstvo, religija, tserkov’ v Rossii i za rubezhom* [State, Religion and Church in Russia and Worldwide], no. 3 (34): 44—78. (In Russ.)



ПОЛИТИЯ

С.Т.Золян

ЯЗЫК ПОЛИТИКИ ИЛИ ЯЗЫК В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ?¹

¹ Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 18-18-00442 «Механизмы смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках») в Балтийском федеральном университете им. И.Канта.

Сурен Тигранович Золян — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института философии, социологии и права Национальной академии наук Армении (Ереван), профессор Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (Калининград). Для связи с автором: surenzolyan@gmail.com.

Аннотация. В статье предпринята попытка разграничить понятия «язык политики» и «язык в политической функции». Под «языком политики» обычно понимают языковые средства, используемые в политической коммуникации или в политических целях, что, по мнению автора, точнее было бы назвать «языком в политической функции».

Политику можно рассматривать как некий коммуникативный модус человеческой деятельности, в котором языку принадлежит роль инструмента или даже инструмента всех политических инструментов. Нарастающее воздействие на политические процессы коммуникативных и семантических факторов влечет за собой еще большее повышение значимости семиотических характеристик. При этом возможна и обратная перспектива: рассмотрение политики как специфической формы языковой деятельности — *производимого посредством институционализированных речевых актов приспособления мира к словам*. Перформативность и автореферентность институциональных фактов, конституирующих социальную онтологию, приводят к тому, что под видом репрезентации реальности текст ее же и формирует.

Лингвосемиотические характеристики языка в политической функции могут быть дополнены лингвокоммуникативными, если в схему языковых функций Р.Якобсона ввести еще одну, политическую. Она может трактоваться как перевернутая магическая функция, когда «отсутствующее или неодушевленное „третье лицо“» превращается не только в адресата, но и в отправителя сообщения. При политической коммуникации происходит институционализация не только адресата и адресанта, но и самой коммуникации, реальная коммуникация формализуется как ее семиотический аналог. Как и в случае с магической функцией языка, предполагается, что речевой акт приведет к изменению мира, и участники этого акта наделяются соответствующей силой, но источником этой силы здесь выступает не мифология, а социальная структура общества.

Ключевые слова: язык, политическая функция, речевые акты, политическая коммуникация, политическая реальность

В настоящей статье предпринята попытка разграничить понятия «язык политики» и «язык в политической функции». Противоречия и неясности, возникающие при их применении, проистекают из-за принципиальной неопределенности, во-первых, того, что такое «язык политики» и что может выступать по отношению к нему метаязыком, а во-вторых, того, что следует считать «политической функцией» языка или же «языком в политической функции». Нетрудно заметить, что при употреблении словосочетаний «политический язык» или «язык политики» обычно имеют в виду языковые средства, используемые в политической коммуникации или в политических целях, что точнее было бы называть «языком в политической функции». Наконец, существует множество толкований того, что есть политика и политическое. Разнообразие подходов к этим базовым концептам открывает возможность построения самых разных теорий. Очевидно, однако, что любая теория будет обречена двигаться по кругу и не приведет к каким-либо содержательным объяснениям, если не будет проведено разграничение между самой субстанцией языка, используемого в политике, и теми социальными и коммуникативными функциями, которые выполняет язык. В связи с этим, настаивая на единственности своего подхода, мы попробуем предложить некоторый концептуальный каркас, основанный на идеях, достаточно продуктивно разработанных в лингвистике и семиотике.

Поскольку язык политики — это тот же естественный язык, в нем могут встречаться те же явления, что и в других модусах употребления языка, а значит, будут адекватными и все применимые к ним лингво-семиотические характеристики. Но это уведет нас от рассмотрения собственно проблемы — *языка политики* — и вернет в область стилистики, то есть варьирования общезыковой системы в различных функциональных стилях, где речь идет не о структурных, а о количественных различиях (чуть больше метафор и меньше терминов, чем в научном языке; больше иностранных слов, чем в поэтической речи, и т.п.). При всей практической ценности такого рода анализа для некоторых сфер (теория перевода, риторика и проч.) в теоретическом плане данный подход кажется нам малопродуктивным. Основанные на нем исследования, несмотря на их многочисленность, по сути, не внесли ничего нового по сравнению с эпохой Квинтилиана. В свое время он доминировал в теории художественной речи, породив бесчисленное множество работ на тему «язык и стиль писателя». Ситуация изменилась, когда объектом изучения стал не язык поэзии (например, «творительный падеж в творчестве Пушкина»), а язык в поэтической функции — функционально-обусловленные трансформации естественного языка в поэзии. Единицы языка остаются теми же, поэтому их описание не в состоянии выявить что-либо новое. Меняется система отношений, в которой они функционируют, — а тем самым и их характеристики в этой системе.

С учетом вышесказанного мы считаем целесообразным отталкиваться от инструментального подхода к языку: *«Язык — это инструмент. Его понятия суть инструменты»*². Это не отменяет рассмотрения

² «*Language is an instrument. Its concepts are instruments*» (Wittgenstein 1958: 291).

языка как системы и структуры, однако соответствующие характеристики будут рассмотрены в соотнесении с функциональными, или инструментальными. Разумеется, приведенное определение требует продолжения (в виде указания на ту или иную функциональную сферу): язык — это инструмент, но инструмент чего? Один из вариантов ответа на этот вопрос был предложен еще Платоном, который в «Кратиле» назвал имя «орудием, инструментом», *органом* (в русских переводах эти понятия оказались разведены): «Имя есть некое орудие обучения и распределения сущностей, как, скажем, челнок — орудие распределения нити»³. Это изречение принято понимать так, что для Платона язык есть инструмент обучения и познания. Возможны, конечно, и другие варианты. Наиболее распространенными являются интерпретации языка как средства коммуникации, мышления, поэтического творчества и проч., что находит выражение в многообразии, с одной стороны, языковых функций, с другой — *языковых игр* (в том смысле, который вкладывал в это понятие Людвиг Витгенштейн, обозначавший им «единое целое: язык и действия, с которыми он переплетен»⁴). К примеру, для Бронислава Малиновского коммуникативная функция языка была далеко не определяющей.

³ Платон 2006: 603.

⁴ Wittgenstein 1958: 5.

NB! «...Рассмотрение того, как используется язык в связи с каким-либо практическим делом, — отмечал он, — ведет к заключению, что язык в своих примитивных формах должен рассматриваться и изучаться на фоне человеческой деятельности и как форма человеческого поведения в практических делах. <...> ...Язык в своей примитивной функции и первоначальной форме имеет существенно прагматический характер... он есть форма поведения — необходимый элемент согласованных человеческих действий. ...Рассматривать язык как некое средство выражения и передачи мысли — значит занять одностороннюю позицию, абсолютизируя одну из самых производных и специальных его функций <...> Такой подход позволяет отнести речь к активным формам человеческого поведения, а не к рефлексивным и когнитивным»⁵.

⁵ Малиновский 2005: 211, 216.

Именно в таком аспекте язык может быть рассмотрен как *инструмент политики* (что адекватнее, нежели рассмотрение языка политики, как будет показано ниже). Так трактовал язык еще Гарольд Лассвелл, озаглавивший одну из главок своей статьи о языке власти «Язык как инструмент власти»: «Изучение процессов ограничения и распространения требует обращения к общей теории языка и к языку как фактору, определяющему состояние власти и фиксирующему различные политические тенденции. Определенная часть реформ, осуществляемых властью, вызвана языковыми причинами, в связи с этим одной из наших задач является установление соотношения между специальной теорией языка, политикой и общей теорией власти»⁶.

⁶ Лассвелл 2006: 278—279.

Безусловно, политика — как бы мы ее ни понимали — для своей реализации нуждается в языковых средствах. Более того, нельзя

обойтись без языка и при использовании любых политических инструментов. Но язык при этом обычно трактуется лишь как некий необходимый канал коммуникации, сам по себе не влияющий существенно на суть политических процессов (что позволяет им пренебречь). Так, язык, на котором написаны законы, никак не отражается на их содержании, и его воздействие ограничивается сферой стилистики (требования ясности, однозначности, лаконичности и т.п.).

В XX в., однако, оформляется противоположная точка зрения (получившая наиболее выпуклое выражение в романе Джорджа Оруэлла «1984»), в соответствии с которой именно язык является основным инструментом осуществления политики. Нарастающее воздействие на политические процессы коммуникативных и семантических факторов ведет к еще большему повышению значимости семиотических характеристик. Становится все очевиднее, что, поскольку политика есть некий коммуникативный модус человеческой деятельности, неотделимые от коммуникации семиотические аспекты в ней играют ключевую роль. Язык — это не внешняя по отношению к собственно политике система выражения некоей деятельности, а один из инструментов политики или даже инструмент всех политических инструментов (в некоторых случаях вместе с иными знаковыми системами). Но даже такого широкого понимания недостаточно, ибо оно предполагает, что возможна некая сфера политики, для осуществления которой затем потребуется некий внеположный ей лингвосемиотический инструментарий. Между тем разграничение этих двух сфер — собственно политической и обслуживающей ее семиотической инструментальной — вряд ли целесообразно, если вообще представимо. Дело в том, что сфера политики — это не физическая реальность, а социальная (институциональная), которая если и не является лингвистической по своей сути, может быть создана только посредством языковых или каких-либо других символических форм и без них и вне них не может существовать⁷.

⁷ См. Бергер и Луман 1995; Searle 1995.

Рассмотрим умозрительную ситуацию с аграрной реформой. Проведение этой реформы потребует создания множества текстов — аналитических, законодательных, пояснительных, пропагандистских и т.п. В этом смысле реформа невозможна без языковых средств, однако определяется не ими. Все эти тексты есть лишь внешний по отношению к ее содержанию способ выражения. Но это лишь на первый взгляд: как показал в свое время Джон Сёрль, существует куда более глубокая зависимость политического процесса от языковых средств⁸. Так, рассматриваемая нами реформа будет базироваться не на каких-либо физических обстоятельствах и объектах (Сёрль называет последние *грубыми фактами*), а на таких закрепленных нормативными текстами и описывающих их социальных институтах и концептах, как «собственность», «границы», «деньги», «гражданство», «наследство» и проч. Например, предложение «Это моя земля» может быть понято только посредством интерпретирующих его социальных установлений, от которых и будет зависеть его ложность или истинность, что далеко не всегда очевидно

⁸ См. Searle 1995.

(поэтому и семантическую оценку — ложное оно или истинное — в конечном счете может дать лишь еще один специализированный социальный институт — суд, причем сам суд и его деятельность тоже суть порождение и реализация некоторого свода описывающих его текстов). Любой социальный институт может функционировать только приобретя семиотическую форму и в соответствии с определенными прагмасемантическими правилами. Более того, сам этот институт и институциональный факт создаются неким речевым актом (Сёрль называет его декларацией): «Эта бумажка есть средство платежа»; «Этот человек — президент США»; «С этого момента это мой дом»; «Этот человек виновен».

Отношение между языком и политикой может быть рассмотрено и в обратной перспективе. Можно трактовать политику как деятельность, которая для своего осуществления нуждается в языке, но можно трактовать ее и как специфическую форму языковой деятельности, или, в более общей перспективе, как определенный модус коммуникации, или как особую языковую игру (так же как, например, поэзию или отдачу приказов). Если предположить, что политика есть некая целенаправленная деятельность по изменению мира в соответствии с некоторым текстом («программой») или недопущению подобного изменения опять-таки в соответствии с некоторым текстом («каноном»), то тогда сама политика окажется реализацией одной из инструментальных функций языка — *производимым посредством институционализованных речевых актов приспособлением мира к словам*⁹. Традиционно лингвистика занималась тем, что описывала приспособление слов к миру. Однако после появления работ Витгенштейна, Джона Остина и Сёрля наряду с хрестоматийным утверждением, согласно которому «язык — это отражение действительности», столь же весомым стало и обратное: язык есть средство создания или преобразования действительности. Перефразируя «Тезисы о Фейербахе» Карла Маркса, можно сказать: если раньше считалось, что язык лишь различным образом *объясняет* мир, то теперь требуется *показать*, как он может *изменить* его. При таком широком понимании уже сама политика предстает одной из инструментальных функций языка — механизмом приспособления мира к словам. Здесь язык выступает и как форма конструирования и интерпретации действительности, и как особый тип социального (речевого) поведения и взаимодействия¹⁰.

Как и в лингвистике, в политической науке исследователь не может обойти двойственность естественного языка, который включает в себя в том числе и свой метаязык. Слова и другие языковые средства, *благодаря* которым *говорят на языке*, являются и *единицами языка*, на котором *говорят о языке*. Смешение этих уровней приводит к появлению двусмысленностей и парадоксов, подобных парадоксу лжеца.

NB! Сошлемся на любопытный документ — подготовленный Центром общественно-политических проектов и коммуникаций доклад «Перспективы и механизмы консолидации экспертного сообщества: к российской версии политического языка», демонстрирующий,

⁹ «Некоторые иллокуции в качестве части своей иллокутивной цели имеют стремление сделать так, чтобы слова (а точнее — пропозициональное содержание речи) соответствовали миру; другие иллокуции связаны с целью сделать так, чтобы мир соответствовал словам. Утверждения попадают в первую категорию, обещания и просьбы — во вторую» (Сёрль 1986: 172).

¹⁰ Подробнее см. Золян 2016.

с одной стороны, актуальность проблематики, с другой — полное непонимание разницы между языком политики и языком политической науки со всеми вытекающими отсюда методологическими последствиями. «Политический язык» определяется в докладе как «знаковая система, связывающая сигналы и сообщения (слова и выражения) с политическими понятиями (смыслами)»¹¹, но в то же время утверждается, что «русский политический язык был и остается языком международного общения»¹², и при этом ставится задача выработать единую версию *российского* политического языка («общий язык интеллектуально-политического сообщества должен быть российским»¹³ — sic!), для чего, в качестве первоочередной меры, предлагается... *создать Академию общественных наук при Президенте РФ*.

¹¹ *Перспективы 2015: 4.*

¹² *Там же: 60.*

¹³ *Там же.*

Вместе с тем выработаны средства описания и экспликации этих парадоксов — они не исчезают на уровне наблюдения, но элиминируются при переходе на более высокий уровень описания (как в предложенном Альфредом Тарским решении парадокса лжеца¹⁴). Так, добавление кавычек позволяет разграничить случаи, когда слово используется как *имя объекта* (знак) и когда оно используется как *имя имени (мета-знак)*: *роза увяла* и *«роза» — существительное*. Но такое разграничение не всегда возможно или же лишает словоупотребление требуемой многозначности (например: *роза — символ красоты*, где имя *роза* обозначает и знак, и цветок и не может быть помещено в кавычки). Возникает двойственность, которую Ролан Барт квалифицирует как обращение знака в политический миф: «Миф — это двойная система; в нем обнаруживается своего рода вездесущность: пункт прибытия смысла образует отправную точку мифа... Можно сказать, что значение мифа представляет собой некий непрерывно вращающийся турникет, чередование смысла означающего и его формы, языка-объекта и метаязыка... Миф же представляет собой значимость и не может рассматриваться с точки зрения истины; ничто не мешает ему сохранять вечное алиби; наличие двух сторон у означающего всегда позволяет ему находиться в другом месте, смысл всегда здесь, чтобы манифестировать форму; форма всегда здесь, чтобы заслонить смысл»¹⁵. Суть этого процесса раскрывается Бартом на примере фотографии чернокожего солдата во французском военном мундире, салютующего французскому флагу. Реальный солдат и абстрактная идея французской государственности взаимно интерпретируют друг друга и тем самым оказываются связаны в единый комплекс метазнаками. Идея государственности наделяет смыслом фотографию чернокожего солдата, а та, в свою очередь, наделяет реальностью абстракцию. Солдат становится столь же символичен, как и государственность, государственность — столь же реальна, как и солдат. Фотография — знак-икон, который в нашей культуре, в отличие от картины, служит также знаком достоверности,

¹⁴ Согласно Тарскому, истинность и ложность — это характеристики высказывания, его соответствие или несоответствие некоторому положению дел. Поэтому при разграничении описания высказывания (в кавычках) и описываемого состояния дел (без кавычек) парадокса не возникает: «Высказывание „Я лгу“ истинно, если и только если я лгу, и ложно, если и только если я не лгу» (Tarski 1944: 347—348).

¹⁵ *Барт 1994: 88—89.*

факта. Однако все последующие семантические операции над знаком-иконом осуществляются уже посредством естественного языка.

Проблема осложняется тем, что, будучи определенной формой поведения, политика предполагает как рефлексии над своими и чужими действиями, так и «публикацию», публичную текстуализацию этого поведения. В этом смысле политик предстает одновременно и «политологом» — наблюдателем, описывающим политические процессы. Возможны разграничения этих ролей, но это не влияет на используемый язык. Политика и осуществляется, и описывается (по крайней мере, ее «первичными» участниками-«политологами», то есть самими политиками, журналистами, аналитиками, политическими обозревателями, вплоть до политтехнологов) на обыденном языке. Над этими описаниями могут надстраиваться описания описаний, сделанные уже наблюдателями данных процессов. Описания и самоописания участников процессов и наблюдателей обязательно пересекаются — происходит постоянное изменение функций и позиций, поэтому язык-объект и метаязык неизбежно переплетаются, порождая при этом парадоксы и противоречия. Одновременно идет своеобразная лексикологическая работа по «правильному» толкованию ключевых единиц, например: «Кто такие „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов», «О лозунге Соединенных Штатов Европы» и т.п. Постановка этих выражений в кавычки призвана показать, что (как и в приводимом ниже «толковании» Ноама Хомского) речь якобы идет об уточнении смысла слов русского языка, а не о деконструкции Владимиром Лениным некоторых политических концептов. Разумеется, эти квазилингвистические определения служат конкретным политическим целям (созданию соответствующих институциональных фактов или некоей социальной реальности). Весьма показательны в этом плане теледебаты президентской кампании 2017 г. во Франции, в ходе которых кандидаты использовали почти идентичные выражения, но в совершенно разных смыслах, настаивая на «правильности» своей интерпретации¹⁶. Было бы абсурдным, если бы ведущий выступил в роли арбитра и, открыв «Larousse», установил, чье понимание «правильно», поскольку соответствует нормам французского языка. «Правильность» в подобных ситуациях определяется особыми процедурами (в данном случае — голосованием).

¹⁶ О них рассказал нам в личной коммуникации один из пионеров лингвистического анализа политического дискурса Патрик Серрио.

Разница между политическим и «обычным» языком — не в языковых средствах (поэтому нет никакой нужды придумывать «новояз»; множество «новоязов» заключено в самом естественном языке, «староязе»), а в правилах интерпретации (референции). В отличие от мира романа Оруэлла, в «нашем» мире политики используют «обычный язык» в расчете на то, что адресат послания не заметит, что его семантика, маскируясь под «обычное» словоупотребление, предполагает отличные правила интерпретации.

В качестве иллюстрации приведем предложенную Хомским экпликацию подобной «двойной» интерпретации («нормальной» и «пропагандистской») словосочетания *rogue state*: «В политическом дискурсе

чуть ли не каждый термин имеет как буквальный смысл, так и его пропагандистскую версию... Пропагандистская версия, как правило, превагирует; она представлена теми, кто имеет власть над дискурсом... В случае использования Соединенными Штатами термин „изгой“ относится ко всем, кто вне их контроля. Так, Куба — „государство-изгой“, поскольку не подчиняется господству США. В моем употреблении этого термина главным „изгоем“ в мире являются Соединенные Штаты». Такое употребление Хомский называет «нейтральным», доказывая, что под «изгоем» следует понимать «государство, которое игнорирует международное право, не соблюдает основополагающие договоры и конвенции, решения Международного суда»¹⁷. Как видим, Хомский тоже пытается выдать свое политизированное понимание за обусловленное самим языком, а не политической позицией. В политическом дискурсе требуется представить «пропагандистское» значение как «правильное», вытекающее из норм языка. *Власть над дискурсом* приводит к желаемой лексической интерпретации. Меняя значение, слово должно пониматься адресатом в необходимом для «власти» смысле, но это изменение должно носить завуалированный характер, создавая иллюзию обычного словоупотребления. Как правило, для того чтобы описать этот лингвистический трюк, «лексикографического» толкования бывает недостаточно; здесь нужны более тонкие механизмы модальной семантики.

¹⁷ *Rogue States* 2001.

Язык, на котором говорят о политических процессах, тем не менее может быть обособлен от самих политических процессов. Однако здесь возникает вопрос: не заменяется ли в этом случае присущий политической науке подход методом какой-либо из смежных дисциплин, чей аппарат она использует в качестве метаязыка? Не становится ли прибегающая к метаописанию политология не-политологией (семиотикой, демографией, историей, философией и проч. — возможно, с дополняющим эпитетом «политическая»)? Дело в том, что подобное обособление меняет статус исследуемого явления (поскольку речь идет о языке, для простоты и наглядности будем называть это явление текстом или дискурсом). Обособляя некоторый текст от политического процесса, мы тем самым меняем его функцию, и из политического документа он превращается в памятник истории, литературы, риторики и т.п. (как это произошло с речами Цицерона, Декларацией независимости, «Русской Правдой» и др.). Скажем, так и не вступивший в силу договор Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г. — ценный памятник древнерусского языка, истории, права, экономических и дипломатических отношений, но в качестве политического документа он сможет выступить, только если обретет соответствующий статус (например — представим абсурдное, — для обоснования претензий Смоленской области на автономию). Из безмолвного памятника истории он тогда станет говорящим актантом и будет описан уже как событие текущей политики на ее же языке. Сам документ не изменится — изменится его функция и функционирование. Он приобретет политическую функцию.

Приведенные рассуждения позволяют нам точнее определить, что такое политическая функция языка — это условия, при которых язык приобретает политическую функцию. Тавтологичность данной дефиниции не случайна — она есть отражение автореферентности и перформативности институциональных фактов, которые и конституируют социальную онтологию. В развитие идеи Сёрля о статусных функциях языка как о генераторе институциональных фактов можно определить политическое как то, что обретает *статус* политического, но только *при некоторых удачных условиях*. Чтобы текст *заговорил*, необходим подходящий контекст, — это возможно только при соблюдении неких конвенций, также создаваемых институциональными фактами-текстами¹⁸.

¹⁸ См. Searle and Smith 2003.

При рассмотрении политического текста в комплексе с выполняемой им функцией меняются его семантические характеристики. Отмеченные выше перформативность и автореферентность приводят к тому, что под видом репрезентации реальности текст ее же и формирует. Как задолго до Сёрля заметил Мюррей Эдельман, «политический язык и есть политическая реальность; нет никакого другого смысла событий для вовлеченных в него участников и наблюдателей»¹⁹. Текст сам творит то, что призван отражать. Реальность не просто заменяется ее описанием, что происходит при функционировании любого текста, а выступает в форме своего отражения, уже структурированного в соответствии с некоторой концептуальной схемой, и имплицитно предполагает схему ожидаемого адресантом поведения адресата. В качестве аналогии можно представить себе зеркало, которое само не способно отражать, но наделено механизмом, воссоздающим в реальности некое изображение, которое видит наблюдатель (современные технологии создали множество подобных «зеркал»). Для более точной аналогии следует предусмотреть и наличие корректирующего механизма — обычного зеркала, которое в данной системе уже перестанет отражать «то, что есть на самом деле», а превратится в еще один источник производства двусмысленности. Такое «креативное зеркало» похоже на характерные для политического дискурса механизмы двоемыслия²⁰, описанного Оруэллом: «Даже пользуясь словом „двоемыслие“, необходимо прибегать к двоемыслию... И так до бесконечности, причем ложь все время на шаг впереди истины»²¹. К этому можно добавить предложенную Бартом метафору постоянно вращающегося турникета, позволяющего сохранять «вечное алиби»²²: истинностная оценка оказывается невозможна либо потому, что неясно, относительно чего (какой «действительности») оценивается истинность высказывания, либо оттого, что высказывание оценивается применительно к той концептуальной системе, которая им же и порождена.

¹⁹ Edelman 1985: 10.

²⁰ Подробнее см. Zolyan 2015; Золян 2018.

²¹ Оруэлл 1989: 148.

²² Барт 1994: 88—89.

NB! Данная ситуация описана Джорджем Лэкоффом и Марком Джонсоном на примере концептуальных метафор: «Новые метафоры, как и конвенциональные метафоры, могут обладать способностью определять действительность. Они осуществляют это посредством

связной сети следствий, высвечивающих одни свойства реальности и скрывающих другие. Принятие метафоры, заставляющей нас фиксировать внимание только на тех сторонах опыта, которые она высвечивает, приводит нас к суждению об истинности ее следствий. Такие „истины“, конечно, могут быть истинными только относительно той реальности, которая определяется этой метафорой»²³.

²³ Лэкофф и Джонсон 2004: 27.

Наличие особых механизмов семантизации политического дискурса интуитивно ощущается как отклонение от обычного употребления. Поскольку же обычное (и основное) — это соответствие высказываний действительности (по крайней мере, это касается утверждений, то есть высказываний в изъявительном наклонении), то, как правило, фиксируется отклонение именно этой фундаментальной характеристики. Несответствие действительности квалифицируется в семантических теориях как ложность или бессмысленность высказывания. Отсюда и расхожее представление о языке политики как о бессмыслице («пустословии») или лжи. Интуитивное ощущение того, что при использовании языка в политической функции высказывания могут не иметь референциального измерения, находит отражение в распространенном мнении, что политики — лгуны. Так расценивал политиков и их язык, в частности, Оруэлл: «Политический язык — и это относится ко всем политическим партиям, от консерваторов до анархистов, — предназначен для того, чтобы ложь выглядела правдой, убийство — достойным делом, а пустословие звучало солидно»²⁴. Но такое положение вещей может восприниматься и без оруэлловского сарказма. Мысль о том, что критерием приемлемости высказывания является не истинность, а политическая целесообразность (действия «для пользы своего государства»), эксплицитно выражена уже у Платона: «Уж кому-кому, а правителям государства надлежит применять ложь как против неприятеля, так и ради своих граждан для пользы своего государства, но всем остальным к ней нельзя прибегать... Если правитель уличит во лжи какого-нибудь гражданина, он подвергнет его наказанию за то, что тот вводит гибельный обычай, переворачивающий государство, как корабль»²⁵. Однако это сугубо негативная характеристика — в противном случае политикам бы никто не верил, и их высказывания толковались бы с точностью до наоборот (как это и в самом деле иногда бывает при тоталитарных порядках).

²⁴ Оруэлл 2003: 356.

²⁵ Платон 1994: 152.

NB! Прекрасное описание подобной ситуации дано в детской повести Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов». В этой стране запрещено говорить правду, и, чтобы адекватно интерпретировать новости, которые публикуют газеты «Образцовый лжец» или «Вечерняя ложь», ее жители просто меняют высказывания на противоположные.

Между тем особенность политического дискурса заключается не во лжи (несоответствии действительности), а в множественной

референции, одновременной (или «турникетной») интерпретации высказывания как минимум в двух интерпретационных областях («мирах»). Целеполагание и целесообразность становятся модальностью, то есть семантической характеристикой, определяющей межмировые отношения. При этом различие в модальностях может быть зафиксировано посредством определенных семиотических процедур интерпретации, позволяющих разграничивать эти модальности и соответствующие им области референции (миры). Нагляднее всего это проявляется в описывающих нормы поведения деонтических текстах (кодексах, регламентах, уставах и т.п.) — должное состояние дел там имплицитно противопоставляется наличествующему, но не смешивается с ним. Так, статьи конституции того или иного государства не становятся ложными, если они не выполняются: их цель не описание «имеющего быть», а соотнесение «имеющего быть» с «должным». Однако лингвистическая форма этих статей — индикатив, описание существующего положения вещей. Смешение двух модальностей встречается и вне политического дискурса, например, в обобщающих суждениях типа: «Судьи справедливы», «Врачи добры», «Злоупотребление служебным положением карается законом»; индикатив в данном случае описывает не состояние дел, а некую норму, эксплицитное выражение которой потребует введения соответствующего модального оператора — «должны», «обязаны» и т.п. Язык в политической функции использует и такую форму создания двусмысленности. Речь идет, как отмечает Лассвелл, о сочетании дескриптивного и прескриптивного: «Политическая формула носит одновременно прескриптивный и дескриптивный характер — ее характерной чертой является двойное толкование в соответствии с общепринятыми нормами... Она прескриптивна, так как предполагает соответствие определенной спецификации и содержит в себе символы, нацеленные на аргументированное оправдание или осуждение данных политических практик. Но ее также можно назвать дескриптивной, поскольку... в ней присутствует соответствие предъявляемым требованиям и, предположительно... данная формула принимается большинством людей как корректно описывающая модели и практики власти»²⁶. Но действует тот же принцип «*постоянно вращающегося турникета*»: дескрипция легитимируется нормой, норма мотивируется дескрипцией. Отношение истинности или ложности перестает быть релевантной семантической характеристикой.

²⁶ Лассвелл 2006: 273—274.

Указанную двойственность можно проиллюстрировать следующим примером. Ст. 8 Конституции Армении гласит: «*В Республике Армения гарантируются свобода экономической деятельности и свободная экономическая конкуренция*». Здесь соотнесены между собой две разных реальности, две области референции, два мира. Первый из них — это Республика Армения как она есть с ее сверхмонополизированной экономикой, второй — *Республика Армения* как некий лингвоправовой конструкт, некий институциональный объект. Такие объекты, в отличие от физических, создаются знаковыми средствами

(правилами, перформативами) и не могут существовать вне системы знаков и текстов, одним из которых и является цитируемая Конституция. Так, если семантику слова «Армения» можно свести к некоторому набору характеристик, независимых от его языкового выражения, то «Республика Армения» может быть определена лишь посредством текстов и процедур. Но утверждение, что приведенное выше высказывание не имеет отношения к реальности, абсурдно — оно равнозначно утверждению, что имя собственное «Республика Армения» не имеет отношения к Республике Армении. Столь же абсурдным будет и утверждение, что это ложное высказывание; статьи конституции могут не выполняться на практике, но не могут быть ложными — именно потому, что являются статьями конституции (их «ложность» или «недействительность» может быть следствием лишь несоблюдения процедуры их принятия, например фальсификации результатов голосования). Это вновь наводит на мысль, что, будучи рассмотрены как политический дискурс, статьи конституции уподобляются перформативам и представляют собой обязательства (то есть обещания государства, которые оно может и не выполнять, но которые от этого не перестают быть обещаниями). При этом место говорящего, того, кто берет на себя обязательство, занимает неодушевленный адресант, тем самым порождая еще одну лингвистическую фикцию — государство (или какой-то иной политический институт) выступает не только в качестве институционального факта, но и в качестве субъекта речевого акта, что тоже можно считать типичным проявлением языка в политической функции.

²⁷ Заметим, что возможна и персонализованная трактовка «авторства» подобных текстов, но она опять-таки будет соотносена не с физическим автором («работчиком»), а с лицом, на которое возлагается ответственность за текст как речевой акт. Так, конституции Армении неформально именуется по фамилиям иницировавших их президентов — Тер-Петросяновская, Кочарьяновская и Саргсяновская. Применительно к советскому прошлому говорят о Сталинской и Брежневской конституциях.

Кто автор приведенного высказывания? Разумеется, работающий в архивах историк в состоянии выяснить, кто из разработчиков Конституции написал соответствующее предложение, но не он явится говорящим. В данном случае *говорящим* будет сама Республика Армения, декларирующая свое существование и описывающая сама себя как некоторую систему норм и благих пожеланий²⁷. Соответственно, вся семантическая система, относительно которой интерпретируется это высказывание, становится ориентированной не на мир-контекст некоего конкретного говорящего, а на определенный лингвополитический конструкт, создаваемый данным институтом — субъектом речевого акта. Это и самописание Республики Армении — как она видит себя, и ее обещание быть такой, какой она себя описала. Сами по себе, вне контекста, высказывания «В Республике Армения гарантируется свобода экономической деятельности» и «Неверно, что в Республике Армения гарантируется свобода экономической деятельности» не противоречат друг другу, поскольку они могут относиться к разным референтам и разным мирам. Рассматриваемые вне сферы действия политической функции языка, они лишаются двойственности. Например, в нашей работе они приводятся как иллюстрации к определенным лингвосемиотическим положениям и не выполняют какой-либо политической функции. Только в конкретном

тексте будет возможно установить их референцию — к какой системе миров они относятся и какой мир в данной системе фигурирует как центральный, применительно к которому определены модальные отношения межмировой достижимости. Эти высказывания могут быть отнесены к политическому дискурсу, если, по Лассвеллу, будут затрагивать систему властных отношений в Армении, упрочивая позиции правящего режима или же противостоя ему. Встретившись же в экономическом обзоре или в диссертации по конституционному праву, они перестанут относиться к политическому дискурсу и должны будут оцениваться уже по иным основаниям. Задаваемая текстом институциональная реальность может рассматриваться как тот предел, к которому стремится «очищенная» от физических реалий («грубых» фактов) область референции языка в политической функции. Так, Армения и ее жители превращаются в Республику Армению, ее граждан и резидентов, то есть в некий конструкт, определяемый прескриптивными текстами, которые под видом дескриптивных описывают ту самую реальность, которую сами же и создают. Реальный человек заменяется знаком самого себя — паспортом, то есть неким перформативным текстом, отсутствие которого превращает человека в «не-людь» (вольный перевод оруэлловского *non-person*).

Лингвосемиотические характеристики языка в политической функции могут быть дополнены лингвокоммуникативными, если расширить схему языковых функций Романа Якобсона путем включения в нее политической функции. Поскольку это тема нуждается в особом рассмотрении, мы ограничимся здесь лишь основными тезисами.

Схема Якобсона опирается на модель коммуникации Клода Элвуда Шеннона; каждый из шести ее компонентов (адресат, адресант, код, канал, контекст, сообщение) может стать в коммуникации доминирующим, реализуя ту или иную функцию из шести базовых. В концепции оговорена возможность появления новых функций путем совмещения как самих базовых функций, так и критериев их выделения. В качестве примера Якобсон приводит магическую функцию: «Из этой триады функций можно легко вывести некоторые добавочные функции. Так, магическая, заклинательная функция — это как бы превращение отсутствующего или неодушевленного „третьего лица“ в адресата сообщения»²⁸. Не предусмотренная им политическая функция может быть истолкована как перевернутая магическая, когда «отсутствующее или неодушевленное „третье лицо“ превращается не только в адресата, но и в адресанта, отправителя сообщения»²⁹. Так представляют себя власть и ее институты: «Мы, народ»; «Мы, Объединенные Нации». В подобных именовании установкой является именно деперсонификация реальных адресантов в лице носителей власти; власть стремится эксплицитировать себя в квазиодушевленном субъекте. Взаимозаменяемость местоимений «я» и «мы», а также замена их именем неодушевленного субъекта-института — характерные признаки того, что язык в данном случае выступает в политической функции.

²⁸ Якобсон 1974: 200.

²⁹ Об этом см. Золян: 1999.

Даже если речь предельно, чуть ли не биографически персонифицирована, персону говорящего приобретает мифологические левиафановские черты. Так, первые строки изданного императором Францем-Иосифом Манифеста, официально оформившего начало величайшей трагедии, Первой мировой войны, напоминают скорее выдержку из дневника, а его продолжение — это речь от лица не 83-летнего старца, а сказочного исполина, своим мечом защищающего *верно толпящиеся у его престола народы* от врага: «Моим искреннейшим желанием было посвятить те годы, которые мне еще будут предоставлены Божиею милостью, делам мира и охранить мои народы от тяжелых жертв и тягот войны. Провидение судило иначе. Происки преисполненного ненавистью противника вынуждают меня ради охранения чести моей монархии, для защиты ее престижа и ее державного положения, а равно для охранения ее достоинства после долгих лет мира взяться за меч... Ввиду этого я вынужден приступить к тому, чтобы силою оружия создать необходимые гарантии, которые должны обеспечить моим государствам внутреннее спокойствие и длительный мир извне»³⁰. Сам Манифест был назван «Моим народам!» и издан на всех языках Австро-Венгерской империи — чтобы каждый из народов-адресатов мог адекватно его понять. Персонифицированность не отменяет левиафановских характеристик адресанта, затемняющих реального (одушевленного) говорящего. Напротив, последний и не должен фигурировать при контекстуализации текста, ибо несоответствие между этими двумя ипостасями говорящего создаст лишь трагикомический эффект (подобный эффекту от сочиненных Ярославом Гашеком образчиков австро-венгерского имперского официоза из «Похождений бравого солдата Швейка»).

³⁰ Франц-Иосиф 1914. Нетрудно убедиться, что в большинстве случаев «я» может быть заменено здесь множественным «мы» или неодушевленным «Австро-Венгрия».

Как видим, связь политического действия и ритуала проявляется как возможность трансформации магической функции в политическую³¹, левиафановскую. Как магическая, так и политическая функции метафоризируют обычную схему коммуникации — от субъекта-адресанта к субъекту-адресату, обратимость которых создает симметрию между ними: в процессе коммуникации адресат становится адресантом, и наоборот. Но при этом в обычной вербальной коммуникации предполагается, что говорить и слушать могут только существа одушевленные. Согласно языковому синтаксису, любой объект, занимающий позицию говорящего и слушающего, обязан быть одушевленным (священное дерево, говорящий камень, внимающая молитве икона и т.п.) и наделяется квазисубъектностью. Помещение некоторого института в позицию адресата или адресанта наделяет его мифологическим существованием в пределах данного дискурса.

³¹ Из многочисленных уподоблений магии и политики упомянем главу «Политическая магия и язык» из уже цитированной статьи Лассвелла (Лассвелл 2006: 267—269).

NB! «Политический документ, — отмечает Святослав Каспэ, — представляет собой магическое действие, инкантаментум, предназначенный не просто донести тот или иной месседж до его непосредственных адресатов, но изменить самоё действительность,

в которой и адресант, и адресаты находятся и над которой (которыми) властвует генеральная референтная инстанция — безымянный „дух государства“»³².

³² Каспэ 2010: 22.

При политической коммуникации происходит институционализация не только адресата и адресанта, но и самой коммуникации, реальная коммуникация формализуется как ее семиотический аналог (так, письма друг другу двух действующих президентов — это уже коммуникация между государствами-Левиафанами³³). Возможны различные комбинации, и один и тот же текст может выполнять разные функции. Неодушевленными адресата и адресанта делает институциональный контекст, благодаря которому выбирается нужная интерпретация — описывает ли текст действия одушевленного лица (скажем, взявшего в руки меч и ополчившегося на вражеские армии императора-великана) или же вербализированные процедуры некоторого политического субъекта, в данном случае государства. Трансформация адресата и адресанта в неодушевленный субъект — пожалуй, наиболее очевидное проявление языка в его политической функции с соответствующим семантическим преобразованием текста в целом. При этом, будучи превращены в неодушевленный институт, адресат и адресант обретают надлежащую институциональную силу — менять мир сообразно данным им социумом полномочиям монарха, президента, судьи, взводного и т.п. Их слово, поддержанное институциональной силой, становится воплощенным в некое состояние мира делом. И здесь отчетливо видно как сходство магической и политической функций языка, так и различие между ними: в обоих случаях предполагается, что речевой акт приведет к изменению мира, и участники этого акта наделяются подобающей силой, но в одном случае источник этой силы — мифология, в другом — социальная структура общества.

³³ Ср. «Политический документ, по крайней мере интенционально, вызывает к самому „духу государства“, а вовсе не к президенту, губернатору, депутатам, партии или народу; напротив, его интенция состоит в том, чтобы использовать президентов, губернаторов, депутатов, партии или народы как посредников в разговоре с этим духом и тем самым склонить их к тому или иному способу служения ему» (Каспэ 2010: 20).

Библиография

- Барт Р. (1983) «Нулевая степень письма» // Степанов Ю.С., ред. *Семиотика*. М.: Радуга: 306—349.
- Бергер П. и Т.Лукман. (1995) *Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания*. М.: Медиум.
- Витгенштейн Л. (1958) *Логико-философский трактат*. М.: Наука.
- Золян С.Т. (1999) «Языковые функции: возможные расширения модели Р.Якобсона» // Баран Х. и С.И.Гиндин, ред. *Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования*. М.: РГГУ: 638—648.
- Золян С.Т. (2016) «Семиотика и прагмасемантика политического дискурса» // *Политическая наука*, № 3: 47—75.
- Золян С.Т. (2018) «„Двоемыслие“ и семиотика политического дискурса» // *Полис. Политические исследования*, № 3: 93—109.
- Каспэ С.И. (2010) «„Отразить суть“: к онтологии политического документа» // *Полития*, № 3—4 (58—59): 7—24.

Лакофф Дж. и М.Джонсон. (2004) *Метафоры, которыми мы живем*. М.: Едиториал УРСС.

Лассвелл Г. (2006) «Язык власти» // *Политическая лингвистика*. Вып. 20. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет: 264—279. URL: <http://politlinguist.ru/materials/pl/20.pdf> (проверено 29.06.2018).

Малиновский Б. (2005) «Проблема значения в примитивных языках» // *Эпистемология и философия науки*, Т. 5, № 3: 199—233.

Оруэлл Дж. (1989) «1984» // Оруэлл Дж. *«1984» и эссе разных лет*. М.: Прогресс.

Оруэлл Дж. (2003) «Политика и английский язык» // Оруэлл Дж. *Лев и Единорог: Эссе, статьи, рецензии*. М.: Московская школа политических исследований: 341—356.

Перспективы и механизмы консолидации экспертного сообщества: к российской версии политического языка. Аналитический доклад. (2015) М.: Центр общественно-политических проектов и коммуникаций. URL: [https://www.rea.ru/ru/org/managements/Nauchnaja-shkola-Vyshshaja-shkola-publichnojj-politiki/SiteAssets/Pages/subordinateunits/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20\(1\).pdf](https://www.rea.ru/ru/org/managements/Nauchnaja-shkola-Vyshshaja-shkola-publichnojj-politiki/SiteAssets/Pages/subordinateunits/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20(1).pdf) (проверено 24.06.2018).

Платон. (1994) «Государство» // Платон. *Собрание сочинений: В 4-х т.* Т. 3. М.: Мысль: 79—420.

Платон. (2006) «Кратил» // Платон. *Сочинения: В 4-х т.* Т. 1. СПб.: Изд-во СПбГУ; Изд-во Олега Абышко: 421—502. URL: <http://pavgoz.ru/files/plato1.pdf> (проверено 24.06.2018).

Серль Дж.Р. (1986) «Классификация иллокутивных актов» // *Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII: Теория речевых актов*. М.: Прогресс: 170—194.

Франц-Иосиф. (1914) «Моим народам!» // *Правительственный вестник*, 17(30).07: 4.

Якобсон Р. (1975) «Лингвистика и поэтика» // Басин Е.Я. и М.Я.Поляков, ред. *Структурализм: «за» и «против»*. М. Прогресс: 193—230.

Edelman M. (1985) «Political Language and Political Reality» // *Political Science & Politics*, vol. 18, no. 1: 10—19.

Searle J. (1995) *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press.

Smith B. and J.Searle. (2003) «The Construction of Social Reality: An Exchange» // *American Journal of Economics and Sociology*, vol. 62, no. 2: 285—309.

«Rogue States Draw the Usual Line: Noam Chomsky interviewed by Christopher Gunness». (2001) // *Agenda*, May. URL: <https://ru.scribd.com/document/227607292/Noam-Chomsky-Rogue-States-Draw-the-Usual-Line> (accessed 21.06.2018).

Tarski A. (1944) «The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics» // *Philosophy and Phenomenological Research*, vol. 4, no. 3: 341—376.

Wittgenstein L. (1958). *Philosophical Investigations*. London: Basil Blackwell.

Zolyan S. (2015) «Language and Political Reality: George Orwell Re-considered» // *Sign System Studies*, vol. 43, no. 1: 131–149.



ՊՈԼԻՏԻՔ

S.T.Zolyan

LANGUAGE OF POLITICS OR LANGUAGE IN POLITICAL FUNCTION?

Suren T. Zolyan — Doctor of Philology; Leading Researcher at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the National Academy of Sciences of Armenia (Yerevan); Professor at the Institute of Humanities of the Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad). Email: surenzolyan@gmail.com.

Abstract. The article attempts to distinguish between the notions of “language of politics” and “language in political function”. The “language of politics” is usually defined as language means used in political communication or for political purposes. The author suggests that “language in political function” would be a more appropriate term for such definition.

Politics can be viewed as a communicative modus of human activity, in which language plays the role of an instrument or even an instrument of all political instruments. The growing influence of communicative and semantic factors upon the political processes entails an even greater increase in the importance of semiotic characteristics. However, the reverse perspective can also be true: interpreting politics as a special form of linguistic activity — accommodation of the world to words produced through the institutionalized speech acts. Performativity and autoreferentiality of institutional facts that constitute social ontology imply that under the guise of representing reality the text actually forms reality.

The linguistic and semiotic characteristics of language in political function can be supplemented by communicative ones through introducing a political function into R.Jakobson’s pattern of language functions. It can be interpreted as an inverted magical function, when “an absent or inanimate „third person“” turns into not only an addressee, but also a sender of the message. In the process of the political communication, not only an addressee and an addresser, but also communication itself, are institutionalized. The real communication is formalized as its semiotic analogue. As in the case with the magic function of language, a speech act is assumed to lead to a change of the world, and the participants of this act are endowed with

the appropriate power, but the source of this power is not mythology, but rather the social structure of society.

Keywords: language, political function, speech acts, political communication, political reality

References

- Barthes R. (1983) “Nulevaja stepen’ pis’ma” [Le degré zéro de l’écriture] // Stepanov Yu.S., ed. *Semiotika* [Semiotics]. Moscow: Raduga: 306–349. (In Russ.)
- Berger P.L. and T. Luckmann. (1995) *Sotsial’noe konstruirovanie real’nosti: Traktat po sotsiologii znaniya* [The Social Construction of Reality. A Treatise on Sociology of Knowledge]. Moscow: Medium. (In Russ.)
- Edelman M. (1985) “Political Language and Political Reality” // *Political Science & Politics*, vol. 18, no. 1: 10–19.
- Franz Joseph. (1914) “Moim narodam!” [An meine Völker!] // *Pravitel’stvennyj vestnik* [Official Gazette], 17(30).07: 4. (In Russ.)
- Jakobson R. (1975) “Lingvistika i poetika” [Linguistics and Poetics] // Basin E.Ya. and M.Ya.Poliakov, eds. *Strukturalizm: “za” i “protiv”* [Structuralism: Pro et Contra]. Moscow: Progress: 193–230. (In Russ.)
- Kaspe S.I. (2010) “„Otrazit’ sut’“: k ontologii politicheskogo dokumenta” [“To the Essence”: Ontology of Political Document] // *Politeia*, no. 3–4 (58–59): 7–24. (In Russ.)
- Lakoff G. and M. Johnson. (2004) *Metafori, kotorymi my zhivem* [Metaphors We Live by]. Moscow: Editorial URSS. (In Russ.)
- Lasswell H. (2006) “Iazyk vlasti” [The Language of Power] // *Politicheskaja lingvistika* [Political Linguistics], vyp. 20. Ekaterinburg: Ural’skij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet: 264–279. URL: <http://politlinguist.ru/materials/pl/20.pdf> (accessed 29.06.2018). (In Russ.)
- Malinowski B. (2005) “Problema znachenija v primitivnykh jazykakh” [The Problem of Meaning in Primitive Languages] // *Epistemologija i filosofija nauki* [Epistemology & Philosophy of Science], vol. 5, no. 3: 199–233. (In Russ.)
- Orwell G. (1989) “1984” // Orwell G. *“1984” i esse raznykh let* [“1984” and Essays of Different Years]. Moscow: Progress. (In Russ.)
- Orwell G. (2003) “Politika i anglijskij jazyk” [Politics and the English Language] // Orwell G. *Lev i Edinorog: Esse, stat’i, rensenzii* [The Lion and the Unicorn: Essays, Articles, Reviews]. Moscow: Moskovskaja shkola politicheskikh issledovanij: 341–356. (In Russ.)
- Perspektivy i mekhanizmy konsolidatsii ekspertnogo soobshchestva: k rossijskoj versii politicheskogo jazyka. Analiticheskij doklad* [Perspectives and Mechanisms of Consolidation of the Expert Community: to the Russian Version of Political Language. Analytical Report]. (2015) Moscow: Tsentr obshchestvenno-politicheskikh proektov i kommunikatsij. URL: <https://www.rea.ru/ru/org/managements/Nauchnaja-shkola-Vyshshaja-shkola-publichnojj-politiki/SiteAssets/Pages/subordinateunits/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D>

0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20(1).pdf (accessed 24.06.2018). (In Russ.)

Plato. (1994) “Gosudarstvo” [The Republic] // Plato. *Sobranie sochinenii: V 4-kh t.* [Works in Four Volumes]. Vol. 3. Moscow: Mysl': 79—420. (In Russ.)

Plato. (2006) “Kratyl” [Cratylus] // Plato. *Sochinenija: V 4-kh t.* [Works in Four Volumes]. Vol. 1. St Petersburg: Izd-vo SPbGU; Izd-vo Olega Abyshko: 421—502. URL: <http://pavroz.ru/files/plato1.pdf> (accessed 24.06.2018). (In Russ.)

“Rogue States Draw the Usual Line: Noam Chomsky interviewed by Christopher Gunness”. (2001) // *Agenda*, May. URL: <https://ru.scribd.com/document/227607292/Noam-Chomsky-Rogue-States-Draw-the-Usual-Line> (accessed 21.06.2018).

Searle J. (1986) “Klassifikatsija illokutivnykh aktov” [A Classification of Illocutionary Acts] // *Novoe v zarubezhnoj lingvistike. Vyp. 17: Teorija rechevykh aktov* [Foreign Linguistic News. Vol. 1: Speech Act Theory]. Moscow: Progress: 170—194. (In Russ.)

Searle J. (1995) *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press.

Smith B. and J.Searle. (2003) “The Construction of Social Reality: An Exchange” // *American Journal of Economics and Sociology*, vol. 62, no. 2: 285—309.

Tarski A. (1944) “The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics” // *Philosophy and Phenomenological Research*, vol. 4, no. 3: 341—376.

Wittgenstein L. (1958) *Logiko-filosofskij traktat* [Logisch-philosophische Abhandlung]. Moscow: Nauka. (In Russ.)

Wittgenstein L. (1958). *Philosophical Investigations*. London: Basil Blackwell.

Zolyan S.T. (1999) “Iazykovye funktsii: vozmozhnye rasshirenija modeli R.Jakobsona” [Language Functions: The Possible Extensions of R.Jacobson’s Model] // Baran H. and S.I.Gindin, eds. *Roman Jakobson: Teksty, dokumenty, issledovanija* [Roman Jakobson: Texts, Documents, Studies]. Moscow: RGGU: 638—648. (In Russ.)

Zolyan S. (2015) “Language and Political Reality: George Orwell Reconsidered” // *Sign System Studies*, vol. 43, no. 1: 131—149.

Zolyan S.T. (2016) “Semiotika i pragmasemantika politicheskogo diskursa” [Semiotics and Pragmasemantics of Political Discourse] // *Politicheskaja nauka* [Political Science], no. 3: 47—75. (In Russ.)

Zolyan S.T. (2018) “„Dvoemyslie“ i semiotika politicheskogo diskursa” [“Doublethink” and Semiotics of Political Discourse] // *Polis. Politicheskie issledovanija* [Polis. Political Studies], no. 3: 93—109. (In Russ.)



политика

¹ Исследование выполнено при поддержке гранта НИУ ВШЭ (индивидуальный исследовательский проект 16-01-0059 «„Зерцала правителей“ в политико-правовой культуре королевства Кастилии XIII — первой половины XIV веков»). Автор выражает признательность своим коллегам Михаилу Киселеву (УрО РАН), Кириллу Осповату (ун-т Висконсин-Мэдисон, США), Андрею Тесле (БФУ им. И. Канта) и Святославу Каспэ (НИУ ВШЭ) за консультации, представленные ими в ходе подготовки этой статьи.

А.В.Марей

О КНЯЗЬЯХ И ГОСУДАРЯХ¹

Александр Владимирович Марей — кандидат юридических наук, доцент Школы философии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Для связи с автором: fijodalgo@gmail.com.

Аннотация. В статье ставится масштабная проблема содержания политических понятий и, в частности, адекватного перевода на русский язык политического языка европейского Средневековья. На примере понятия *princeps* автор демонстрирует, что, в отличие от текстов Нового и Новейшего времени, к которым применимы техники, разработанные различными теоретиками перевода, средневековые тексты нуждаются в ином подходе. Помимо прояснения концептуального остова переводимого текста, здесь требуется прояснить и понятийный аппарат самого переводчика.

Опираясь на анализ политико-теологического дискурса Фомы Аквинского и Птолемея Луккского, автор приходит к выводу о превалировании в средневековой языковой модели языка Священного Писания, где понятие *princeps*, как правило, использовалось для обозначения руководителя второго звена, непосредственно подчиняющегося *государю* (*dominus*). В тех же редких случаях, когда этим понятием описывался самовластный правитель, над этим правителем ставился Бог, по отношению к которому *princeps* представлял лишь одним из служителей. Сходным образом обстояло дело и в русском политическом языке, где понятие «государь» стало использоваться для перевода латинского *princeps* лишь в XVIII—XIX вв. Закрепление данного варианта как основного автор связывает с утверждением традиции, подразумевающей единство политического субъекта и политического же господства, в рамках которой была лишь одна форма правления — *государство* — и лишь один образ политического руководителя — *государь*.

В завершающей части статьи автор рассматривает эволюцию понятия «принцепс» в современном русском политическом языке, где этим словом часто обозначают действующего президента РФ, показывая, как неадекватное его использование приводит к формированию абсурдного концепта: мудрый и справедливый правитель, строящий свое правление на лжи и лицемерии.

Ключевые слова: принцепс, князь, государь, *princeps*, теория перевода, средневековые тексты, политическая теология

Почти 30 лет тому назад, в далеком 1990 г., был создан первый русский перевод одного из трактатов Фомы Аквинского. Латинское название этого трактата — *De regno ad regem Cypri sive De regimine principum*.

² *Срединская 1990.*

На русском языке оно, с легкой руки переводчика, великолепного специалиста по средневековому итальянскому нотариату Наталии Срединской, стало звучать «О государстве к королю Кипра, или О правлении государей» или же просто «О правлении государей». Перевод, к сожалению, подвергся сильному сокращению и был опубликован в хрестоматии «Политические структуры эпохи феодализма» в виде нескольких, хотя и достаточных пространных фрагментов². Но даже в таком неоправданно порезанном виде текст оказался чрезвычайно востребован. До сих пор трудно найти исследователя или студента, который бы, обратившись к сюжетам средневековой европейской политической мысли, не цитировал «О правлении государей» Фомы Аквинского. И практически никому из них не приходит в голову, что ни о каких «государях» Аквинат не писал. Называть тех *principes*, о правлении которых говорил великий доминиканец, «государями» — значит, по моему мнению, модернизировать мысль Фомы, наполняя ее чуждыми ему смыслами. Иными словами, это означает исказить исходный текст, создав не перевод *stricto sensu*, а авторскую вариацию на тему. Далее я попробую обосновать свою позицию и предложить альтернативу переводу данного термина, принятому в издании 1990 г. Моя задача, равно как и мои амбиции в отношении Фомы Аквинского, разумеется, не ограничиваются переводом понятия *princeps* на русский язык. В начале лета 2019 г. в издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге в свет выйдет сделанный мной полный перевод трактата «De regimine principum» и его продолжения, написанного секретарем Фомы Птоломеем Луккским. Издание будет снабжено подробным комментарием. Эта же статья выступает своего рода оселком для моей концепции перевода средневековых политических текстов.

Но сначала необходимо объяснить. Автор этих строк не только не ставит под сомнение профессиональное мастерство Срединской, но, напротив, искренне восхищается ей как исследователем. Проблема здесь кроется в другом и имеет не столько практико-прикладной, сколько теоретико-методологический характер.

Несколько слов о методологии

Русская или, немного шире, русскоязычная интеллектуальная культура есть прежде всего культура переводная, результатом чего является ее зависимость от переводов и почти болезненная чувствительность к ним³. В этой ситуации одним из ключевых становится вопрос об онтологическом статусе переводчика и, как следствие, о выборе им той или иной стратегии перевода. Усложняется все тем, что русский язык не состоит в отношениях близкого родства с основными языками европейской культуры, а потому перевод, тем более перевод философского текста, каждый раз превращается в увлекательный сложнейший квест. Впрочем, двойственность потенциального статуса переводчика и соответствующих ему стратегий перевода была подмечена еще более 2 тыс. лет назад Марком Туллем Цицероном.

В речи «О наилучшем роде ораторов», известной также как речь «О переводчиках», Цицерон сообщает, что переводил с греческого

³ Об этом см. Куренной 2005, основной опорой для которого в этом утверждении служит знаменитая книга Густава Шпета 1922 г. «Очерк развития русской философии» (Шпет 2008—2009); гораздо более многословно, но о той же проблеме пишет Наталья Автономова (Автономова 2008).

речи Эсхина и Демосфена «не как толмач, а как оратор», полагая, «что читатель будет требовать от меня точности не по счету, а — если можно так выразиться — по весу» («*Converti enim ex Atticis duorum eloquentissimorum nobilissimas orationes inter seque contrarias, Aeschinis et Demosthenis; nec converti ut interpres, sed ut orator, sententiis isdem et earum formis tamquam figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus non verbum pro verbo necesse habui reddere, sed genus omne verborum vimque servavi. Non enim ea me adnumerare lectori putavi oportere, sed tamquam appendere*»)⁴. Тем самым прославленный оратор выделяет два типа переводчиков. Один из них, обозначенный латинским понятием *interpretes*, включает в себя тех, для кого перевод есть буквальная передача оригинального текста на родном языке, с максимально возможным сохранением его ритмики, грамматической и морфологической структуры, а также лексического багажа. Второй тип переводчика, к которому, собственно, и причисляет себя Цицерон, ориентирован на схватывание и передачу духа и смысла, иногда, возможно, в ущерб форме. В этом случае переводчик предстает скорее самостоятельным автором, нежели простым посредником между читателем и исходным текстом. Весьма показательна в данном случае ошибка цитирования, допущенная Инес Озеки-Депре в ее статье, посвященной соотношению между герменевтикой и переводом. Разбирая приведенную выше цитату, она подменяет в латинском тексте «оратора» «автором» (*auctor*), строя на этой подмене свои последующие рассуждения⁵.

Ту же формулу перевода смысла, а не буквы взял на вооружение один из наиболее знаменитых переводчиков всего христианского мира, провозглашенный святым покровителем этой профессии, — Евсевий Иероним (ок. 342—420). В одном из писем к Паммахию, озаглавленном «О наилучшем роде перевода» (*De optimo genere interpretandi*), он формулирует свое переводческое кредо следующим образом: «Я передаю не слово в слово, но мысль в мысль» («*profiteor me <...> non verbum e verbo sed sensum exprimere de sensu*»)⁶. Правда, тут же Иероним делает важную оговорку, подчеркивая, что подобный перевод применим для любых текстов, кроме Священного Писания, «где и расположение слов — тайна»⁷. Наконец, Леонардо Бруни, через тысячу лет после Иеронима размышляя о критериях правильного перевода, замечает, что переводчик должен обладать тремя качествами: во-первых, он должен в совершенстве владеть языком переводимого им текста; во-вторых, он должен уметь передать в точности как смысл этого текста, так и его стилистику; наконец, в-третьих, он обязан по возможности сохранить его ритмику, поэтику и образную систему⁸.

Сказанное пока вполне применимо к любому переводу. Переводчик («оратор», а не «толмач», в терминологии Цицерона) выступает не просто человеком, говорящим и читающим на двух языках, но своеобразным мостом между двумя культурами. Тем, кто способен эти культуры сблизить и помочь им заговорить на одном языке, либо заставляя читателя идти к писателю, либо, наоборот, вынуждая писателя

⁴ Cic. *De optimo genere oratorum*. V.14. Русские цитаты из этой речи приводятся в переводе Фаддея Зелинского (Цицерон 1901). Любопытно, что Зелинский намеренно следует той же стратегии, что и Цицерон, то есть переводит не дословно, но передавая смысл. Перевод этой фразы, выполненный в альтернативной стратегии, i.e. дословно, см. Иероним 1894: 115.

⁵ Озеки-Депре 2011: 50.

⁶ Hier. *Epist.* 57 (русский перевод — Иероним 1894: 114).

⁷ *Ibidem*.

⁸ Шабига 2010.

⁹ Куренной 2005: 74.

двигаться к читателю (если использовать образ, предложенный Фридрихом Шлейермахером⁹). Но перевод философского или теологического текста обладает выраженной спецификой, связанной с наличием разработанного терминологического аппарата, своеобразного «скелета», на котором выстраивается вся авторская концепция. Потому переводчик, работающий с такого рода текстами, должен помнить приведенную выше оговорку Иеронима о переводе Писания и быть особенно осторожен со словами. По сути, подобному переводу должна предшествовать длительная и кропотливая работа по расчистке и прояснению терминологического или, шире, концептуального остова переводимого текста, результатом которой должен быть глоссарий.

Разумеется, предваряющее перевод составление глоссария — это идеал, чаще всего недостижимый. Но прояснение концептуального остова текста все равно необходимо. Для этой операции оптимальными представляются две техники, разработанные в русле методологии истории понятий. Можно либо, следуя традиции школы *Begriffsgeschichte* и Райнхарта Козеллека, заняться археологией основных понятий, либо, напротив, попытаться поместить их в максимально широкий контекст, как было предложено Квентином Скиннером. Первая из этих техник дает возможность встроить переводимый текст в культурную традицию, установить тексты, авторитетные для его автора, идентифицировать его предшественников и высветить ориентиры. Вторая позволяет достичь похожих результатов, но другим путем — через выявление круга чтения автора переводимого текста, а также круга его знакомств и общения зафиксировав его место в интеллектуальном поле эпохи. Однако этих двух стратегий, а также третьей, основанной на их синтезе, оказывается достаточно, лишь если переводимый текст создан в одну историческую эпоху с нами, то есть в эпоху позднего Модерна. В этом случае и переводчик, и переводимый текст находятся в относительно легко совместимых понятийных рамках, и после определения и расчистки концептуального остова оригинального текста можно перейти к подбору терминов, с максимальной полнотой и аккуратностью передающих содержание оригинала на языке перевода¹⁰.

¹⁰ О требованиях к подбираемой терминологии см., напр. Куренной 2005: 80.

Когда же речь идет о тексте, созданном до эпохи европейского Модерна (в случае с Фомой Аквинским — в период Высокого Средневековья), подобной операции мало. Может понадобиться, а при переводе теолого-политического текста понадобится обязательно, дополнительная работа по прояснению концептуального остова языка переводчика. Необходимо проверить используемые им понятия на историческое соответствие, очистить от более поздних, наносных значений, отшлифовать контекстуальные связи с иными, соседствующими с ними концептами. В итоге слова, выбранные для перевода тех или иных философских, теологических или политических понятий домодерновой культуры, должны отвечать двум основным требованиям. С одной стороны, они не должны быть анахронизмами по отношению к переводимому тексту, с другой — должны быть максимально прояснены и понятны для читателя

перевода. Возвращаясь к формуле Шлейермахера, можно сказать, что переводчик своими усилиями должен максимально сблизить читателя и автора, сократить тот путь, который один из них должен проделать по направлению к другому. Побочным результатом такой работы становятся как минимум подробные комментарии переводчика к переведенному им тексту, как максимум же — ряд научных статей, раскрывающих те или иные позиции его языка.

**Princeps:
князь
или государь?**

Если начать разговор с происхождения слова, то можно вспомнить, что латинское *princeps* восходит к эпохе Римской республики, когда этим словом обозначали сенатора, имевшего право первой речи в Сенате. Впоследствии этот титул взял себе Октавиан Август, первый император Рима, носили его и все его преемники, что позволило называть эпоху ранней Римской империи принципатом. Таким образом, одна из семантических линий, образующих каркас понятия *princeps*, восходит к имперскому, а через него — к республиканскому прошлому Рима. Республиканский момент здесь играет решающую роль, так как римские *principes* на уровне идеологии всегда обозначали себя как правителей свободных граждан — римского народа. Собственно, вся римская политическая общность продолжала определяться знаменитой формулой *SPQR*, то есть *Senatus Populusque Romanus*, «Сенат и римский народ», и в этом контексте *princeps* смотрелся естественно и органично, как первый среди равных. Это соотношение сената и *принцепса* прослеживается и в сочинениях некоторых средневековых авторов, особенно тех, для кого античные тексты были наиболее важны. Ярким примером подобной политической метафоры может служить «Поликратик» Иоанна Солсберийского, где правитель (*princeps*) уподобляется голове политической общности (*res publica*), сенат же — сердцу («*Dictum est autem principem locum obtinere capitis, et qui solius mentis regatur arbitrio <...> Cordis locum, auctore Plutarco, senatus optinet*»¹¹). Однако даже для этих авторов имперско-республиканский дискурс имел вторичное, вспомогательное, пусть и важное значение. Основным же, формирующим картину мира и определяющим способ мировосприятия, несомненно, был теологический дискурс, ибо интеллектуальная культура Средних веков — это прежде всего культура христианская¹².

К этому добавлю и еще одно, вполне очевидное соображение, часто игнорируемое именно в силу своей очевидности. Фома Аквинский имел университетскую степень доктора богословия и принадлежал к ордену проповедников, известному также как орден доминиканцев¹³. Да, он знал и многократно использовал тексты Аристотеля, был знаком с достаточно большим числом римских авторов, но текстом, определявшим основное направление и содержание его мысли, оставалось, несмотря ни на что, Священное Писание. Более того, даже помянутые труды Аристотеля переводились на латынь в XIII в. богословами, зачастую представителями новых орденов Церкви: так, «Этику» переводил

¹¹ *Policraticus*, V.6, V.9.

¹² Об этом написано и сказано очень много. Из недавних книг сошлюсь на монографию Олега Воскобойникова (Воскобойников 2014) и коллективную монографию «Теология и политика» (Ауров и Марей 2017), из классики — на работы Петра Бицилли, Арона Гуревича и Жака Ле Гоффа. О значении Священного Писания для формирования политической теории Средних веков см., напр. Вис 1994.

¹³ О биографии Фомы см. блестящий очерк в первой главе книги Татьяны Стецюры (Стецюра 2010).

¹⁴ О Птолемея см. прежде всего работы Джеймса Блайта (Blythe 2009a, 2009b; Blythe and La Salle 2005).

францисканец Роберто Гроссетеста, а перевод «Политики» был выполнен собратом Фомы по ордену, доминиканцем Вильгельмом из Мёрбеке. Соответственно, и латынь, применявшаяся при переводе Аристотеля, была в первую очередь латынью университетской теологии, латынью Библии и богословских трактатов. Наконец, продолжателем Фомы в трактате «De regimine principum» тоже был член ордена доминиканцев, секретарь и ученик Аквината Птолемей Луккский¹⁴. Раз так, то все ключевые понятия и термины, использованные в трудах Фомы и иных современных ему авторов, с весьма высокой степенью вероятности принадлежат к богословскому лексикону, а значит, расчистку концептуального остова нужно проводить именно в этом направлении. Применительно к рассматриваемой в данной статье теме это означает, что наиболее интересной является парадигма употребления понятия *princeps* в Священном Писании.

В тексте Библии слово *princeps* в различных падежных формах единственного и множественного числа встречается более 800 раз, уступая в частотности употреблению таким словам «властного круга», как *dominus* (только в именительном падеже единственного числа — свыше 3,5 тыс. употреблений) и *rex* (около 2 тыс. употреблений), но, безусловно, опережая термины *iudex*, *dux* и т.д. За небольшими исключениями, о которых будет сказано чуть ниже, слово *princeps* в Библии всегда требует после себя определения — как правило, существительного, стоящего в родительном падеже. Наиболее часто встречаются словосочетания *princeps exercitus*, *princeps militiae*, *princeps sacerdotum*, то есть «военачальник» и «первосвященник» (дословно «первый над войском / воинством» и «первый среди священников»). Этим трем уступают в частотности, хотя и не сильно, *princeps in tribu*, *princeps filiorum* и *princeps domus / familiae* («вождь племени», «первый среди сынов / вождь сынов» и «глава дома / семьи»). Реже, но все же попадаются словосочетания *princeps populi* и *princeps populorum* («начальник народа / народов»). Несколько особняком стоит ряд контекстов из пророческих книг Ветхого Завета и богословских — Нового, в которых понятие *princeps* используется для характеристики либо Иисуса Христа (Ис.9:6, где он назван «князем мира» («*parvulus enim natus est nobis filius datus est nobis et factus est principatus super umerum eius et vocabitur nomen eius Admirabilis consiliarius Deus fortis Pater futuri saeculi Princeps pacis*»)) и Откр.1:5, где фигурирует титул «князь царей земных» («*et ab Iesu Christo qui est testis fidelis primogenitus mortuorum et princeps regum terrae qui dilexit nos et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo*»)), либо, напротив, его противника, сатаны («*princeps huius mundi*»)¹⁵. Наконец, относительно небольшую группу составляют контексты, в которых слова *princeps / principes* употреблены без определения¹⁶.

У значительной части перечисленных контекстов есть одна общая особенность. *Princeps*, упомянутый в них, выступает вторым лицом, так сказать, руководителем второго звена. Это либо полководцы, которых куда-то посылает царь (например, в книге Юдифи словом *princeps*

¹⁵ Ин.12:31, 14:30, 16:11.

¹⁶ Лев.4:22; Суд.11:6; 2 Царств 23:8, 23:18-19; Притч.25:15, 28:15, 29:12 и т.д.

Классическим и, пожалуй, наиболее известным фрагментом из этой группы является: «*nam principes non sunt timori boni operis sed mali vis autem non timere potestatem bonum fac et habebis laudem ex illa*» (Рим.13:3).

¹⁷ *Юдифь* 2:4. назван полководец царя Навуходоносора Олоферн¹⁷), либо начальники и вельможи разного уровня, над которыми также стоит царь (2 Пар.12:6; 1 Ездра 8:56; Эккл.10:16, Наум 3:18 и т.д.). Вариантом того же выгладит *princeps* как глава рода или племени, входящего в состав народа, которым опять-таки правит царь, начальник округа или даже полу-

¹⁸ *Неем.* 3:9 ff. группа контекстов однотипна и в основном сосредоточена в трех новозаветных текстах — Евангелиях от Матфея и от Луки и Деяниях апостолов, тоже составленных ап. Лукой. Всю эту группу, по сути, образуют случаи употребления одного словосочетания — *princeps / principes sacerdotum*, то есть «первосвященник» или «первосвященники». Здесь стоит отметить коллегиальность руководящей позиции. Первосвященник выступает именно в качестве первого среди равных, одного из многих.

Крайне немногочисленны контексты, в которых *princeps* означает самостоятельного правителя (пожалуй, только Притч.25:15, 28:15, 29:12 и Рим.13:3). Но в этих случаях подразумевается, что над ним стоит Бог. Наиболее внятно это проговорено в Послании Павла к Римлянам, где *principes* названы *ministri Dei*, то есть служителями Божьими. Даже в знаменитом стихе из книги пророка Исайи: «*младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира*»¹⁹, — речь идет о Сыне Господа (*Dominus*), который поэтому и назван *Princeps pacis*. Что же касается трех стихов из Евангелия от Иоанна, где описывается пришествие и низвержение сатаны, его титул *princeps huius mundi* лишь подчеркивает преходящий характер его власти, его временность и, кстати, вторичность. Ведь, титулуя сатану таким образом, его, по сути, приравнивают к человеческим властителям (*principes terrae, principes / rectores / reges mundi* etc.) — по крайней мере, на уровне языковой дефиниции.

¹⁹ *Ис.* 9:6.

Любопытные результаты дает и сопоставление латинских фрагментов, в которых употребляется понятие *princeps*, с параллельным им греческим текстом, а затем с соответствующими местами Библии на церковнославянском языке. Наиболее распространенной парой к латинскому *princeps* окажется греческое *ἄρχων*, латинскому *princeps sacerdotum* будет соответствовать греческое *ἄρχιερεὺς*, латинскому *princeps exercitus* — греческое *ἀρχιστράτηγος*. Лишь в единичных случаях (Притч.25:15 и 29:12) латинским *princeps* переведено греческое *βασιλεὺς*, то есть «царь». Стоит отметить, что в греческом *ἄρχων* есть идея старшинства, верховенства (она же считывается в приставке *ἀρχι*), но нет идеи властвования и подчинения. Речь идет о первенстве среди равных, о руководстве в политическом коллективе, но ни в коем случае не о собственности и не о распоряжении рабами. Иначе говоря, слово *ἄρχων* содержит идею *первенства*, но не *господства*.

В церковнославянском тексте на месте *princeps exercitus* и, соответственно, *ἀρχιστράτηγος* оказывается «воевода», замененный позже, в Синодальном переводе, «военачальником»; в местах, параллельных

princeps sacerdotum, в церковнославянском тексте ожидаемо стоит «архиерей», а в Синодальном переводе — «первосвященник». Но наиболее распространенным вариантом перевода греческого *ἀρχων* в церковнославянском тексте является «князь» и, изредка, «начальник». В Синодальном переводе частотность употребления этих двух слов поменяется на обратную: «князь» будет встречаться разве что изредка, тогда как «начальник» — регулярно.

Здесь самое время перейти ко второй половине терминологического расследования, а именно к государю. С одной стороны, принимая во внимание все сказанное выше о принадлежности Фомы к богословской традиции, можно просто постулировать, что перевод *princeps* как «государь» неверен, ибо стоит вне традиции. С другой стороны, такое заявление будет лишь уходом от проблемы — оно не прояснит причин, по которым переводчик выбрал для перевода данное слово, а значит, не откроет никаких возможностей для продвижения вперед. Следовательно, нам прежде всего надо разобраться в том, почему для перевода латинского *princeps* было выбрано русское слово *государь* и чем этот перевод был обусловлен.

Этимологически понятие «государь» восходит к слову «господин» через южнорусскую форму «господарь». Истории появления и закрепления этого понятия в русском политическом языке посвящено немало исследований²⁰, так что я позволю себе на этом не останавливаться. В центре моего внимания будет другой вопрос: насколько «государь» может рассматриваться в качестве языкового эквивалента понятия «князь», которому, как было показано выше, наиболее соответствует латинское *princeps*? Начать следует с рассмотрения все того же языка Священного Писания. В Синодальном переводе Библии термин «государь» встречается, хотя и не часто, в общей сложности не больше 30 раз. Гораздо больше там распространен, что естественно, этимологически родственный ему «господин», который достаточно широко представлен и в церковнославянском тексте. В том же церковнославянском тексте, кстати сказать, «государь» отсутствует полностью, что заставляет предположить, что это слово в русскоязычном пространстве не относится к богословской лексике.

Тем не менее в тех случаях, когда «государь» или «господин» встречаются в русском тексте Библии, они последовательно соответствуют греческому *κύριος* и латинскому *dominus*. Это, в свою очередь, позволяет сделать некоторые выводы о семантике данного понятия в контексте Писания. И греческий, и латинский термины (особенно латинский) подразумевают, во-первых, полное подчинение подвластных своему господину, во-вторых, наличие у него прав обладания, владения подвластными людьми. Подразумевается также наличие у *господина* (или у *государя*) полной, безотносительной власти над подвластными, граничащей опять-таки с правом собственности на них. Власть *господина* или *государя* подобна власти Господа, на что указывает и терминологическое единство.

²⁰ См., напр. Золтан 2002; Толстиков 2002; Хархордин (ред.) 2002; Ingerflom 2015, 2016.

Если в текстах богословской традиции нет прецедентов перевода латинского понятия *princeps* русским «государь», значит, нужно искать где-то еще. Первая область поисков, приходящая на ум, — это, конечно, дипломатическая документация максимально раннего периода, где имеет смысл попытаться найти двуязычные пары нужных нам терминов. Однако, как показывает Андраш Золтан, в литовских, польских и западнорусских грамотах второй половины XIV — начала XV в. присутствует вполне четкий лексический параллелизм: латинское *dominus Russiae* передается как «господарь русской земли»²¹, тогда как русское «князь» служит аналогом латинских *princeps* или *dux*. О параллелях между *господарем*, *государем* и *dominus* в середине XV — начале XVI в. пишет и Клаудио Ингерфлом²². Михаил Киселев, напротив, утверждает, что слово «государь» могло служить обобщающим обозначением любого самовластного правителя, будь то царь или князь, поскольку «государь — это не про титул, это про характер власти»²³. Этому, как представляется, несколько противоречит мнение того же исследователя, согласно которому понятие «государь» имеет оттенок частной собственности, тогда как *царь* (и, добавлю, *князь*) изначально выступает публично-правовой фигурой²⁴. Таким образом, сфера дипломатии и связанных с ней дипломатических переводов тоже остается за бортом принятого исследования.

Остается лишь вслед за Киселевым и рядом других авторов обратиться к переводам теоретических трактатов о правлении, политике и праве, выполненным в России на протяжении XVI—XIX вв. Здесь очень многое зависело от того, во-первых, с какого языка переводился текст и, во-вторых, какая культурная традиция стояла за переводимым текстом. Как правило, в XVI—XVII вв. термин *princeps* устойчиво передавался на московском русском языке понятием «князь», однако бывали и интересные исключения. Так, в 1663 г. в переводе ответов четырех вселенских патриархов на вопросы о царской власти и власти патриарха был приведен перевод известной фразы римского юриста Домиция Ульпиана: «то, что было угодно принцепсу, имеет силу закона»²⁵. В русской версии она превратилась в утверждение: «Царю угодное, закон и устав есть»²⁶. Конечно, здесь мы имеем дело не с прямым переводом с латыни на русский, а с опосредованным греческим языком, что и обусловило появление «царя» — прямого перевода греческого βασιλεύς. Но, в свою очередь, употребление этого греческого слова для перевода рассматриваемого латинского термина можно объяснить лишь тем, что исходный текст относился к правовой традиции Римской империи, а соответственно, *princeps* в нем означал императора.

Перемены начинают потихоньку накапливаться с начала XVIII в., когда в поле возможных переводных значений для *princeps* попадает уже не только «князь», но и «властелин», а иногда «царь» и даже «государь». Впрочем, как было отмечено, это был первый этап долгого и неторопливого процесса. Так, в «Лексиконе трехязычном...» Федора Поликарпова-Орлова²⁷, опубликованном в Москве в 1704 г., понятию «князь»

²¹ Золтан 2002: 558—562.

²² Ingerflom 2013.

²³ Данная точка зрения была высказана Киселевым в ходе обсуждения, развернувшегося на моей странице в социальной сети Facebook. См. https://www.facebook.com/alexander.marey/posts/2099676410049598?comment_id=2099731346710771&reply_comment_id=2100068566677049&comment_tracking=%7B%22in%22%3A%22R9%22%7D.

²⁴ Киселев 2013: 28.

²⁵ D.I.4.1 Ulp.

²⁶ Киселев 2012: 58.

²⁷ Орлов 1704.

сопоставлено не только уже привычное *princeps*, но еще *dux* и отчего-то *tribunus plebis*. Понятию «господин» сопоставлено латинское *dominus*, зато слову «господарь» («государь» в «Лексиконе...» отсутствует) соответствует относительно редкая латинская словоформа *dominator*, вызывающая не самые приятные ассоциации. Аналогичную тенденцию к смешению понятий можно обнаружить и в анонимном рукописном переводе одного из наиболее известных антимакиавеллистских трактатов — «Commentariorum de regno libri tres» Инносана Жантйе, — осуществленном около 1710 г.²⁸ Буквально на соседних страницах неизвестный переводчик передает понятие *princeps* то как «князь», то как «властелин» («Principio igitur summi Principis duplicē esse potestatem vel ex ipsis Iurisconsultis constat. Unam Absolutam, sive Solutam, alteram Civilem appellant» = «Во первых убо превысочайшего кн[я]з[я] две власти от самих советников позноватся. Едину свободную вторую гражданскую именуют»; «Principi quoque fundamentales principatus sui leges antiquare minime licet» = «Кн[я]з[я] такожде утвержденного княжения устави всячески забывати неподобает»; но: «Nas ambage significantes, Principem hominis & bestiae natura[m] simul induere debere» = «Тими притчами знаменовали иже должен властелин облектиса купно в ч[е]л[о]веческое и скотское естество»). То же самое смешение «князя» и «властелина» можно найти и в переводе еще одного политического бестселлера той эпохи. Трактат Диего де Сааведры Фахардо «Idea de principe político» на русский переводился дважды — Андре Дикенсоном в 1690-х годах и Феофаном Прокоповичем около 1709 г. В первом варианте *princeps* передано русским «князь», во втором — «властелин»²⁹. Наконец, Симон Кохановский, сделавший к 1721 г. два рукописных перевода — трактата «О праве естественном и международном» Самуила Пуфендорфа и «Политики» Юста Липсия, — тоже переводит слово *princeps* по-разному («князь», «царь», «государь»), отдавая, впрочем, предпочтение термину «князь»³⁰.

Тогда же, в первой половине XVIII в., на русский язык впервые было переведено сочинение Никколо Макиавелли «Il Principe». Рукописный перевод был сделан, по всей видимости, по заказу еще Петра I и хранился в личной библиотеке князя Дмитрия Голицына³¹. Забегая вперед, можно с известной долей уверенности утверждать, что именно этот трактат и оказал наибольшее влияние на существующую и поныне традицию перевода *princeps* как «государь». Будучи поначалу лишь одним из многих текстов, переведенных на русский язык (ведь существовали рукописные или даже печатные переводы Траяно Боккалини, Липсия, Пуфендорфа, Сааведры Фахардо, Жантйе и других авторов), к середине XIX в. он стал если и не единственным, то, бесспорно, наиболее заметным. Из многочисленных переводов XVIII столетия в следующий век перешли, увы, далеко не все.

Тогда же, в середине и второй половине XVIII в., трактат Макиавелли хотя и был, несомненно, значим, общего направления переводческой мысли не определял. Даже в переводе его названия не было

²⁸ За приведенные ниже цитаты я благодарен Сергею Польскому, щедро поделившемуся со мной материалами своего проекта «Трансфер европейских общественно-политических идей и переводческие практики в России XVIII в.», реализуемого в Германском историческом институте (Москва).

²⁹ Алексеев 1964.

³⁰ За информацию о терминологии перевода Кохановского я благодарен моим коллегам Андрею Костину (ИРЛИ РАН, НИУ ВШЭ СПб) и Сергею Польскому (НИУ ВШЭ).

³¹ Юсим 2011: 306.

единства. Упомянутый перевод из библиотеки Голицына был озаглавлен «Государь». Аналогичное название фигурирует в переводе знаменитого «Анти-Макьявелли» Фридриха II, сделанном в 1779 г. Яковом Хорошкевичем. Однако тот же Хорошкевич в подстрочных примечаниях к названиям глав трактата глоссирует понятия «государь» и «государство» через соответственно «князь» и «княжество»³². А несколькими годами ранее, в 1770 г., Яков Козельский, переводя статьи из Энциклопедии на этико-политические темы, передает заглавие трактата Макиавелли как «Принц»³³. Еще чуть раньше, но, безусловно, в ту же эпоху, в 1761 г., анонимный переводчик «Писем о России» (или «Руссиянских писем») Фридриха Генриха Штрубе использует для передачи французского *prince* два понятия: «монарх» и «князь». При этом примечательно, что, подбирая слова для перевода, он категорически воздерживается от *государя*. Этим словом он передает латинское *dominus*, а также французские *maitre* и *seigneur*, которыми Штрубе, в свою очередь, описывает господина над рабами³⁴. Это наблюдение возвращает нас к приведенному выше мнению Киселева о преимущественно частноправовых коннотациях понятия «государь» — в противовес публично-правовым понятию «царь»³⁵.

В XIX в. ситуация в области теоретико-политического перевода заметно изменилась. Подавляющая часть текстов, переведенных в предыдущем столетии, там и осталась, не перейдя в новый век. Один из немногих политических трактатов, не только переиздававшийся и переводившийся снова и снова, но и постоянно возбуждавший споры и обсуждения, — это, безусловно, «Il Principe» Макиавелли. Его судьба в интеллектуальной культуре России была подробно и в деталях проанализирована и описана Марком Юсимом³⁶, поэтому я позволю себе не останавливаться на ней дольше необходимого. Отмечу лишь, что в XIX в. на русский язык «Il Principe» переводился дважды, причем оба перевода вышли в 1869 г. Один из них, сделанный с итальянского оригинала Николаем Курочкиным, был озаглавлен «Государь», второй, выполненный Федором Затлером с немецкого перевода, получил в русской версии название «Монарх»³⁷. Переводу Курочкина была суждена долгая и счастливая жизнь, так как до 2002 г. он оставался, по сути, единственным переводом «Государя» на русский язык с языка оригинала. Только в начале нынешнего столетия появился новый аналогичный перевод, сделанный Юсимом. Впрочем, и в переводе Юсима трактат сохранил название «Государь», закрепившееся за ним, по-видимому, уже окончательно.

³² См., напр. Фридрих II 1779: 1—3.

³³ Козельский 1770: 228.

³⁴ Бугров и Киселев 2016: 360; Strube de Piemont 1760: 96—97, *infra a.*

³⁵ Киселев 2013: 28.

³⁶ Юсим 2011.

³⁷ Разбор обоих переводов см. Там же: 395—397.

И все-таки князь!

Примеры из переводных текстов можно было бы множить и дальше, но, думаю, в этом нет необходимости. Базируясь на приведенных аргументах, можно с уверенностью утверждать, что в XVIII в. традиция переводить *princeps* как «князь» пошатнулась, но в целом устояла. Ослабление ее может быть связано с рядом обстоятельств. С одной стороны, с установлением в России абсолютной монархии, а с 1721 г. — и империи само слово «князь» претерпело существенные изменения.

Из обозначения реального политического лидера оно превратилось в один из титулов высшей аристократии империи, причем зачастую никак не соотносившийся с подлинным политическим влиянием и властью. С другой стороны (и это, на мой взгляд, стало ключевым фактором для закрепления в переводных политических трактатах связки *princeps — государь*), само понятие «князь» не предполагает единственности. Князь, как правило, представляет собой лишь один из множества возможных локусов власти и политического господства, в то время как *государь* тяготеет к безусловному единству. Иначе говоря, князей может быть много, тогда как государь должен быть один.

XIX столетие принесло с собой глубокие перемены в политической культуре, усугубившие ситуацию, сложившуюся к середине екатерининского царствования. Прежде всего, как уже отмечалось, в XIX в. попали совсем не все переводные тексты из века XVIII-го. Что-то, разумеется, переиздавалось, что-то читали в старых изданиях, но основной их массив остался невостребованным. Одну из основных причин этого следует искать, разумеется, в серьезнейших изменениях в сфере языка, особенно литературного, датируемых первой третью XIX в. Написанные тяжелым, неповоротливым, во многом неумелым слогом, переводные трактаты XVIII столетия не имели никаких шансов выжить на книжном рынке нового века. Кроме того, образованные люди читали многие трактаты на языках оригиналов, что, безусловно, обогащая их лично, обедняло отечественную политическую культуру в целом.

Сыграло свою роль и еще одно обстоятельство, настолько очевидное, что о нем редко говорят и вспоминают. Среди читавшихся и переведившихся как в XVIII, так и в XIX в. политических трактатов практически не было текстов, созданных в эпоху Средних веков. По большей части читали и переводили если и не современников (что было предпочтительнее всего), то недавних предшественников. В результате сложилась довольно странная и противоречивая ситуация. У нас были известны классические труды по теории политики и права Нового времени, но зияла огромная лакуна в области знаний о Средних веках. Единственным исключением (да и исключением ли?) был поминавшийся выше Макиавелли. Взяв «вершки» европейской политико-правовой культуры и приспособив их в меру сил и возможностей к своим нуждам, мы не взяли себе ее «корешков». И то знание, которое европейским авторам представлялось само собой разумеющимся (кто такие *principes*, было прекрасно известно практически любому европейцу, писавшему об этом в XVI—XVIII вв.), для нас оставалось *terra incognita*.

Соответственно, когда в конце уже XX столетия был предпринят перевод на русский язык трактата «De regimine principum», переводчик, что называется, по умолчанию воспринял единственную существовавшую у нас традицию перевода. Традицию, подразумевавшую единство политического субъекта и политического же господства, традицию, в рамках которой была лишь одна форма правления — *государство*³⁸ — и лишь один образ политического руководителя — *государь*. Мне

³⁸ Киселев 2013: 26.

представляется, что от этой традиции пора отказываться — хотя бы потому, что она уже сильно устарела. Мы не можем вернуться в Средние века и посмотреть, как оно там все было, но мы можем понять средневековую культуру и постараться адекватно отразить ее в наших текстах. Множественность юрисдикций, множественность политических субъектов, отсутствие между ними четкой, институционально закрепленной иерархии и, наоборот, наличие развитой системы связей личной верности и преданности, не предполагавшей при этом подхода к управляемым сообществам как к своей собственности, — все это ясно указывает на то, что перед нами не государи. Перед нами мир князей, над которыми в перспективе можно вообразить себе и фигуру *государя*.

**Лицемерный
государь.
Вместо
заклучения**

Неожиданно остро вопрос о том, кто такой и что такое *princeps*, считать ли его государем, а если нет, то почему, встал в последние полтора десятилетия в отечественном информационном пространстве. Практически ровно 15 лет назад, в конце октября 2003 г., в своем выступлении на заседании клуба «Открытый форум» Глеб Павловский, тогда — главный редактор «Русского журнала», назвал Владимира Путина «демократическим принцепсом»³⁹. Буквально в следующем предложении он продолжил метафору, заявив: «Выйдя за конституционные пределы, его принципат потеряет свою легитимность, а тем самым и свое доминирование»⁴⁰. Отмечу, прежде чем продолжать, что Павловский по праву считается одним из наиболее образованных и ярких политических теоретиков в России. В отличие от многих других подвизающихся на ниве политического анализа, он тщательно следит за языком и говорит, как правило, именно то, что хочет сказать, и теми словами, которыми хочет, чтобы это было сказано. В данном случае Павловский совершенно четко выстраивает образ Путина по аналогии с образом Октавиана Августа — пожалуй, единственного «демократического принцепса» в истории Рима.

³⁹ Павловский 2003.

⁴⁰ Там же.

«Чудовищная популярность» путинской власти (напомню, что разбираемое выступление относится к первому сроку Путина) выводится Павловским из «демократического взрыва, взрыва общественного доверия»⁴¹. Он рисует образ президента, выдвинувшегося вперед за счет собственной *auctoritas*, тогда как в *potestas* он пока еще равен своим коллегам по власти. Видно в выступлении Павловского и понимание того, чем кончится подобное возвышение, если общество не возьмет «процесс демократии в свои руки, вежливо объяснив своему лидеру Путину, что именно ему надо делать»⁴².

⁴¹ Там же.

⁴² Там же.

Использованная Павловским метафора оказалась очень популярной и даже прилипчивой. На протяжении последующих 15 лет Путина принцепсом не называл только ленивый, причем зачастую этот образ заимствовали те люди, которых Павловский, полагаю, не воспринимал даже как потенциальную свою аудиторию. Но, прежде чем переходить к обсуждению подобных высказываний, позволю себе еще одно

короткое замечание об этом выступлении. Павловский, и это очевидно, берет термин «принцепс» из римской республиканско-имперской парадигмы (потому он его, кстати, и не переводит). То есть принцепс предстает выборным правителем, вознесенным к вершинам власти по воле народа и удерживающимся там в силу своего личного авторитета. Когда же десятью годами позже, в 2014 г., Павловский опубликует небольшую, но важную книжечку с подзаголовком «De principatu debili»⁴³, он уже будет использовать понятия *princeps* и *principatus* в парадигме Макиавелли, передавая их на русском языке понятиями «князь / принц» и «княжество».

⁴³ Павловский
2014.

Образ Путина как Октавиана Августа, отца-основателя Принципата, приобрел, как уже говорилось, чрезвычайную популярность в общественном сознании. Сопоставимой популярности сумело добиться разве что сравнение Путина с Наполеоном III, хотя оно, по понятным причинам, чаще использовалось в ругательных или уничижительных контекстах. Тем интереснее посмотреть, какие перемены в отечественном узусе претерпел этот образ *принцепса* в применении его к действующему главе государства. Приступая к краткому обзору высказываний о Путине как о принцепсе, сделаю лишь одну вполне очевидную оговорку. Эта метафора живет в режиме «мерцания», активизируясь сначала раз в четыре года, а затем раз в шесть лет, либо накануне очередных президентских выборов, либо сразу после них. Единственной выпадающей точкой стали события 2014 г., тоже породившие волну «исторических» сопоставлений.

Так, в 2006 г. на портале «Правая.ру» вышел важный текст Алексея Чеснокова и Михаила Тюренкова, озаглавленный «Президент Путин как Принцип». Слоганом статьи выступила фраза: «Либо Путин уйдет в никуда, либо, совершив Поступок и реализовавшись как Принцип, станет Принцепсом»⁴⁴. Статья была написана незадолго до старта предвыборной кампании президента, и основным тезисом, муссировавшимся в ней, был тезис о третьем сроке Путина, а точнее, о «Принципе Президента Путина». Дабы не пересказывать весь текст, скажу сразу, что принцип этот виделся авторам в том, что, поскольку Россия представляет собой православную империю, более того, Катехон, Путин должен переступить через собственные чисто человеческие качества и пристрастия и принять свое предназначение, то есть императорскую корону.

⁴⁴ Чесноков
и Тюренков 2006.

Как и в случае с выступлением Павловского, для авторов данного текста аналог Путина — это Октавиан Август. Однако в трактовке самого этого образа они с Павловским расходятся, и расходятся сильно. Не углубляясь в детали (крайне спорное отождествление преторианцев со спецслужбами, апология силовых ведомств и т.д.), отмечу, что если Павловский воспринимает понятие «принцепс» как часть республиканско-имперской римской традиции, то Чесноков с Тюренковым считают «принцепса» как элемент христианской богословской парадигмы, то есть как строителя вертикали власти и, еще сильнее, Катехона, Удерживающего (ср.: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь»⁴⁵). Это, что естественно, приводит к все большему расхождению в интерпретации

⁴⁵ 2 Фес. 2:7

исходного понятия: там, где с одной стороны оказывается республиканский лидер, принимающий на себя полномочия от имени народа (или «общества», если угодно), с другой встает сакральная фигура правителя — предстоятеля за свой народ.

Помимо этого, безусловно, яркого высказывания, упомяну еще два, совпадающих по времени со статьей Чеснокова и Тюренкова. В 2007 г. на сайте радио «Свобода» было опубликовано интервью петербургского политолога и журналиста Валерия Островского, посвященное Анатолию Собчаку и Путину как его преемнику. В этом тексте, отвечая на вопрос интервьюера, Островский утверждал, что «если проводить исторические аналогии, то <...> Собчак — это своего рода Кай Юлий Цезарь, а Путин — это своего рода Октавиан Август, наследник Цезаря, но установивший иную систему правления, уже не столько республиканскую, сколько близкую принципату такому»⁴⁶. Здесь обращает на себя внимание, конечно, не столько уже привычное отождествление Путина и Октавиана, сколько выбор Собчака как человека, передавшего Путину власть. Вообще, в метафоре «Путин — Август» место Цезаря, как правило, оставляют вакантным, что, как мне кажется, не случайно. Акцент что в «республиканской», что в «сакральной» трактовке делается не на преемстве убитому Цезарю (иначе придется вспоминать много неприятного), а на деятельности самого Октавиана, точнее даже, на его политическом строительстве. Фигура же Юлия Цезаря не вписывается во в целом положительный образ Октавиана Августа, поскольку, повторю, тянет за собой неоднозначный и довольно кровавый шлейф ассоциаций.

⁴⁶ Собчак 2007.

Наконец, еще одно высказывание 2007 г. принадлежит достаточно известному левому экономисту и политологу Василию Колташову, в своем тексте «Президентский принципат: унитарная монархия в России» тоже сравнившему режим Путина с Принципатом Августа⁴⁷. Безнадежно модернизируя картину Римской империи (в частности, постулируя наличие там разделения властей, институтов государства и т.д.), Колташов прямо отождествляет современную Россию с Римом времен Августа и усматривает корень зла нашего политического устройства в унитарной форме как таковой. Заканчивается текст то ли лозунгом, то ли пророчеством: «Политический строй России — Президентский принципат — неминуемо рухнет, опрокинутый снизу»⁴⁸.

⁴⁷ Колташов 2007.

⁴⁸ Там же.

Таким образом, если в исходной метафоре, предложенной Павловским в 2003 г., основной акцент делался на республиканской сущности принципата и необходимости ограничения власти принцепса народным (общественным) контролем, то в текстах 2006—2007 гг. наблюдается иная расстановка акцентов. Принцепс воспринимается уже непосредственно как император, дальнейший взгляд на которого зависит от точки зрения смотрящего: либо мы видим перед собой предстоятеля-катехона, либо фактически узурпировавшего власть авторитарного правителя, чей режим обречен на падение.

В следующий блок я позволю себе объединить несколько высказываний 2011—2014 гг., поскольку они в основном не противоречат

друг другу, а структурных перемен в восприятии понятия «принцепс» в этот период не замечено. Для анализа выбраны редакционная колонка «Независимой газеты» от 29.01.2011 под названием «Принципат Путина»⁴⁹, запись «Паханат Путина» в блоге Юрия Магаршака от 18.05.2012⁵⁰ и три материала 2014 г.: запись «Принципат Владимира Путина» в ЖЖ блогера BoomZoomer⁵¹, статья Антона Черного (user Мухомор) «Принципат Путина», опубликованная на портале Aftershock⁵², и запись в ЖЖ Александра Зотова «Октавиан — Путин: Аве Цезарь! Уроки истории...»⁵³.

Всем перечисленным текстам присуще несколько общих моментов. Прежде всего, все отобранные авторы режим Владимира Путина оценивают как авторитарный и, соответственно, выстраивают аналогии с Римом. О том, что Октавиан получает власть из рук народа и Сената, уже не вспоминает практически никто. Напротив, сразу в нескольких текстах даже не сквозит, а напрямую звучит тема политической лжи в эпоху Принципата. Такое совпадение не может не обращать на себя внимание.

Например, вот выдержка из редакционной колонки «Независимой газеты»: *«Молодой благополучный римский военачальник Октавиан в 27 году до н.э. приходит к руководству страной, которая устала от гражданских войн, от проблем. И вскоре становится императором Цезарем Августом — как бы первым среди равных. Он говорит, что надо прекратить разврат. А разврат в империи процветает. Он говорит о свободе. А никакой свободы нет. Говорит о демократии. А на самом деле строит диктатуру. Цезарь Август оставался фактическим вождем Рима, Отцом Отечества в течение десятилетий, несмотря на то что занимаемые им формальные должности менялись в соответствии с процедурами демократии и сроками полномочий»*⁵⁴. Вот — из статьи Черного: *«Принципат можно описать кратко так: монарх делает вид, что он не монарх, сенат делает вид, что он сенат, и только народ все еще искренне верит, что он народ и что-то решает»*⁵⁵. А вот — из записи Зотова: *«Октавиан будет на людях благосклонно кивать оппонентам. А ночью — они станут исчезать. Исчезнут и многие олигархи — в дальних провинциях: без состояния и возможности возвратиться. Зачем свободным римлянам диктат олигархии? Он станет устраивать бутафорские выборы, получать пышные титулы „трибуна“, „отца отечества“. Но власть сосредоточит только в своих руках. Зато народное представительство обретет вполне законный вид: голосование, конституция, отчеты и народные собрания. И — никаких потрясений и гражданских войн. „Спокойствие и стабильность.“ — вот главный лозунг Октавиана Августа»*⁵⁶.

В последнем тексте, как мы видим, выдвигается обвинение не только во лжи, но и в истреблении политических оппонентов. В целом же все три текста характеризуют режим Августа как основанный

⁴⁹ *Принципат 2011.*

⁵⁰ <https://echo.msk.ru/blog/ym4/889978-echo>.

⁵¹ <https://boomzoomer.livejournal.com/167942.html>.

⁵² *Черный 2014.*

⁵³ <https://o-alexandr75.livejournal.com/146058.html>.

⁵⁴ *Принципат 2011.*

⁵⁵ *Черный 2014.*

⁵⁶ <https://o-alexandr75.livejournal.com/146058.html>.

на обмане и подмене понятий. При этом, и это еще одна любопытная черта, общая для всех рассматриваемых текстов, аналогия Путина и Октавиана даже не рефлексируется. Она постулируется как очевидная, без пояснений, почему она вообще возможна, без анализа фактов. Пара «Путин — Октавиан Август» уже прочно закреплена в сознании авторов, а значит, можно предположить, что и в сознании их читателей.

Любопытно и использование здесь понятия «принцепс». Этим словом обозначается авторитарный правитель, присвоивший себе (как правило, ложью) огромный спектр полномочий и распоряжающийся ими по своему усмотрению и в собственных целях. В качестве ключевых особенностей подобного строя — и это тоже кочует из текста в текст — называются проблема преемства, зачистка политического поля, устранение неугодных, политическая стабильность. То есть перед нами уже не республиканский лидер, выдвинувшийся вперед благодаря своему авторитету, и не предстоятель за свой народ перед Богом. Можно с уверенностью утверждать, что аналогия с Октавианом нужна авторам лишь потому, что этот персонаж римской истории известен, пожалуй, всем без исключения. Вместе с тем знания о его эпохе на обыденном уровне обрывочные, фрагментарные, легко поддающиеся «доработке» и «достройке» в нужном направлении. За счет этого страдает и понятие «принцепс»: оно переходит из политического языка в обыденный, теряет фиксированные значения, размывается. Основной же его чертой, опять же кочующей из текста в текст, становятся лицемерие и ложь⁵⁷.

⁵⁷ *Здесь не место и не время подробно говорить об авторитете как об одном из структурирующих понятий политического поля. Поэтому скажу лишь, что появление «лицемерия» как политической характеристики Принципата становится возможным лишь вследствие абберации концепта авторитета, потери им подобающих ему позиций.*

⁵⁸ Сурков 2017.

Эта же характеристика Принципата и, следовательно, принцепса оказывается базовой для Владислава Суркова в его нашумевшей статье «Кризис лицемерия», опубликованной в начале ноября 2017 г. на портале RT⁵⁸. По его утверждению, *«императоры не называли себя царями, не желая оскорблять память о республике, но они были царями. И это обновленное лицемерие еще на несколько веков продлило жизнь римскому миру»*. Применительно к данному тексту любопытными кажутся два момента. Во-первых, очевидно, что в глазах бывшего первого заместителя руководителя Администрации Президента лицемерие не является пороком. Напротив, оно является необходимым качеством для политика, желающего добиться успеха. При этом он совершенно неверно трактует этот термин в русском языке и, похоже, плохо представляет себе его понятийное поле в английском, откуда его и берет. Во-вторых, Сурков по-прежнему выступает апологетом вертикали власти, противопоставляя ее «цветущей сложности» режимов республиканских и демократических. Именно «сильная рука», с его точки зрения, способна вывести «растерянные толпы» из хаоса. Соответственно сказанному трансформируется и фигура принцепса. Сурков, по сути, окончательно срывает флер республиканизма с фигуры правителя: тот не называется царем, но является им *de facto*. Понятие «принцепс» тем самым приравнивается в тексте к понятию «царь». Ну что же, этот ход мы уже видели — примерно в XVIII в.

Завершить этот разговор я хочу образом из того же текста Суркова. Апеллируя к «общественному договору», Сурков презрительно замечает, что тот был написан «распадающимся политическим языком». Я не уверен, что общественный договор пора уже хоронить, но речь сейчас не о нем, а о нашем политическом языке, точнее, о том, каким ему следует быть.

Очевидно, что политический язык служит конституирующим элементом (или, по крайней мере, одним из таких элементов) политического сообщества. Очевидно также, что язык, в том числе политический, представляет собой живой, развивающийся и растущий организм. Можно пренебрегать заботой о нем, пользоваться им бездумно, но тогда не нужно удивляться тем уродливым формам, которые принимает наша политическая культура. Можно же, напротив, пестовать его, работать над ним, выращивать его основные понятия и окружать их не дикой порослью бездумного говорения, но тщательно отобранными побегами вспомогательных, боковых понятий и терминов. Покажу это на примере понятия, выбранного для исследования в данной статье. Если собрать воедино все значения понятия «принцепс», существующие в сегодняшнем политическом дискурсе, то мы получим *государя*, который живет главным образом за счет лицемерия и обмана, но при этом мудро и справедливо руководит своим народом. Иначе говоря, мы получим бессмыслицу. Для того же, чтобы избежать ее, нужна долгая и тщательная работа над нашим политическим языком, собирающая и отстраивающая его.

Библиография

Автономова Н.С. (2008) *Познание и перевод: Опыт философии языка*. М.: РОССПЭН.

Алексеев М.П. (1964) *Очерк истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв.* Л.: ЛГУ.

Ауров О.В. и Е.С.Марей, ред. (2017) *Теология и политика. Власть, Церковь и текст в королевствах вестготов (V — начало VIII в.): Исследования и переводы*. М.: Дело.

Бугров К.Д. и М.А.Киселев. (2016) *Естественное право и добродетель: Интеграция европейского влияния в российскую политическую культуру XVIII века*. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета.

Воскобойников О.С. (2014) *Тысячелетнее царство (300—300): Очерк христианской культуры Запада*. М.: Новое литературное обозрение.

Золтан А.К. (2002) «К предыстории русск. „государь“» // Литвина А.Ф. и Ф.Б.Успенский, сост. *Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1: Киевская и Московская Русь*. М.: Языки славянской культуры: 554—590.

Иероним Стридонский. (1894) *Творения блаженного Иеронима Стридонского. Т. 2: Письма Иеронима*. Киев: Киевская духовная академия.

Киселев М.А. (2012) «Правда и закон во второй половине XVII — первой четверти XVIII века: От монарха-судьи к монарху-законодателю» // *«Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода*. Т. I. М.: Новое литературное обозрение: 49—65.

Киселев М.А. (2013) «Форма правления и социальная иерархия в российской политической мысли XVII — первой четверти XVIII века» // *Исторический вестник*, № 6: 18—53.

Козельский Я. (1770). *Статьи о нравоучительной философии и частях ея: Из Энциклопедии перевел коллежской советникъ Яковъ Козельской*. Ч. II. СПб.: При императорской Академии наук.

Колташов В.Г. (2007) *Президентский принципат: унитарная монархия в России*. URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/102380/Koltashov_-_Prezidentskii_principat__unitarnaya_monarhiya_v_Rossii.html (проверено 03.05.2018).

Куренной В.А. (2005) «Как сделать наши переводы ясными» // *Логос*, № 2 (47): 72—82.

Озеки-Депре И. (2011) «О соотношении между герменевтикой и переводом» // *Логос*, № 5—6 (84): 50—60.

Орлов Ф.П. (1704) *Лексикон трехязычный, сиречь речений славянских, эллино-греческих и латинских сокровищ из различных древних и новых книг собранное и по славянскому алфавиту в чин расположенное*. М.: Царская типография.

Павловский Г.О. (2003) «Путин — демократический принцип: Выступление на заседании клуба „Открытый форум“» // *Русский журнал*, 26.10. URL: http://old.russ.ru/politics/20031029_pavlovsk.html (проверено 03.05.2018).

Павловский Г.О. (2014) *Система РФ в войне 2014 года: De Principatu Debili*. М.: Европа.

«Принципат Путина». (2011) // *Независимая газета*, 29.01. URL: http://www.ng.ru/tenyears/2011-01-29/100_putin.html (проверено 03.05.2018).

«Собчак — это Кай Юлий Цезарь, а Путин — это Октавиан Август, наследник Цезаря». (2007) // *Радио Свобода*, 11.08. URL: <https://www.svoboda.org/a/406636.html> (проверено 03.05.2018).

Срединская Н.Б. (1990) «Трактат Фомы Аквинского „О правлении государей“» // *Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI—XVII вв.)*. Л.: Наука: 217—243.

Стецюра Т.Д. (2010). *Хозяйственная этика Фомы Аквинского*. М.: РОССПЭН.

Сурков В. (2017) «Кризис лицемерия. „I hear America singing“» // *RT*, 7.11. URL: <https://russian.rt.com/world/article/446944-surkov-krisis-licemeriya> (проверено 03.05.2018).

Толстикова А.В. (2002) Представления о государе и государстве в России второй половины XVI — первой половины XVII века // *Одиссей: Человек в истории*. М.: Наука: 294—310.

Фридрих П. (1779) *Анти-Макиавель, или Опыт возражения на Макиавелеву науку о образе государственного правления, сочинень*

ныне славно владеющимъ королем прусским Фридрикомъ II / Пер. Я.Хорошкевича. СПб.: Типография Государственной военной коллегии. Хархордин О.В., ред. (2002). *Понятие государства в четырех языках*. СПб: Европейский университет в Санкт-Петербурге.

Черный А. (2014) «Принципат Путина» // *Aftershock*, 9.09. URL: <https://aftershock.news/?q=node/256384&full> (проверено 03.05.2018).

Чесноков А. и М.Тюренов. (2006) «Президент Путин как Принцип» // *Правый взгляд*, 29.09. URL: <http://pravaya.ru/look/9095> (проверено 03.05.2018).

Цицерон М.Т. (1901) *Полное собрание речей в русском переводе (отчасти В.А.Алексеева, отчасти Ф.Ф. Зелинского): В 2 т. Т. 1* / Ред., введ. и примеч. Ф.Зелинского. СПб: А.Я.Либерман.

Шабига И.Ю. (2010) «Трактат Леонардо Бруни „О правильном переводе“» // *Вестник Московского университета. Сер. 22: Теория перевода*, № 1: 27–65.

Шпет Г.Г. (2008–2009) [1922] *Очерк развития русской философии. Ч. 1–2*. М.: РОССПЭН.

Юсим М.А. (2011). *Макиавелли: Мораль, политика, фортуна*. М.: Канон+.

Blythe J.M. (2009a) *The Life and Works of Tolomeo Fiadoni (Ptolemy of Lucca)*. Turnhout: Brepols.

Blythe J.M. (2009b) *The Worldview and Thought of Tolomeo Fiadoni (Ptolemy of Lucca)*. Turnhout: Brepols.

Blythe J.M. and J. La Salle. (2005) «Was Ptolemy of Lucca a Civic Humanist? Reflections on a Newly-discovered Manuscript of Hans Baron» // *History of Political Thought*, vol. 26, no. 2: 236–265.

Buc P. (1994) *L'ambiguïté du livre: Prince, pouvoir et peuple dans les commentaires de la Bible au Moyen Age*. Paris: Beauchesne.

Ingerflom C.S. (2013) «„Loyalty to the State“ under Peter the Great? Return to the Sources and the Historicity of Concepts» // Bullock Ph.R. et al., eds. *Loyalties and Solidarities in Russian Society, History and Culture*. London: School of Slavonic and East European Studies: 3–19.

Ingerflom C.S. (2015) *Tsar c'est moi, l'imposture permanente d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine*. Paris: PUF.

Ingerflom C.S. (2016) «Theoretical Premises and Cognitive Distortions from the Uncritical Use of the Concept of „State“: the „Russian“ Case» // Garavaglia J.C., C.Lamouroux, and M.J.Braddick, eds. *Serve the Power(s), Serve the State: America and Eurasia*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Strube de Piermont F.H. (1760) *Lettres Russiennes*. Saint-Pétersbourg: Académie des sciences.



A.V. Marey

ABOUT PRINCES AND SOVEREIGNS

Alexander V. Marey — Ph.D. in Law; Associate Professor at the School of Philosophy, Faculty of Humanities, National Research University *Higher School of Economics*. Email: fijosdalgo@gmail.com.

Abstract. The article deals with a seminal problem of the meaning of political terms, in particular, an adequate translation into Russian of the political language of the European Middle Ages. On the example of the term *princeps*, the author demonstrates that, in contrast to the texts of the Modern and Contemporary History, to which techniques developed by various translation theorists are applicable, medieval texts need a different approach. It should include not only clarification of the conceptual framework of the translated text, but also clarification of the conceptual apparatus of a translator herself.

On the basis of the analysis of the political and theological discourse of Thomas Aquinas and Ptolemy da Lucca, the author comes to the conclusion that the medieval language model was dominated by the language of the Holy Scripture, where the term *princeps* usually referred to a direct subordinate to a *dominus*. In those rare cases, when that concept was used to describe an absolute ruler, God was placed above the ruler, and *princeps* appeared only as one of its subordinates. The situation was similar within the Russian political language, where they started to use the term *sovereign* (*gosudar* in Russian) to translate Latin *princeps* only in the XVIII—XIX centuries. According to the author, such translation became first choice because it was consonant with the establishment of the tradition that implied unity between the political subject and political authority, which allowed for only one form of government — the state (*gosudarstvo* in Russian) — and only one image of the political leader — sovereign (*gosudar*).

In the final part of the article the author examines the evolution of the term *princeps* in the modern Russian political language, where this term is often used to describe the incumbent president of the Russian Federation. The author shows how the inadequate use of the term leads to the formation of an absurd concept: a wise and fair ruler who builds his rule upon lies and hypocrisy.

Keywords: sovereign (*gosudar*), prince (*knyaz*), princeps, theory of translation, medieval texts, political theology

References

Alexeev M.P. (1964) *Ocherk istorii ispano-russkikh literaturnykh otnoshenij XVI—XIX vekov* [The Essay of the History of the Russian-Spanish Literary Relations: 16th — 19th Centuries]. Leningrad: LGU. (In Russ.)

Aurov O.V. and E.S.Marey, eds. *Teologija i politika. Vlast', Tserkov' i tekst v korolevstvah vestgotov V — nachala VIII vekov: Issledovanija i perevody* [Theology and Politics. Authority, Church and the Text in the Visigoth Kingdoms, 5th — the Beginning of 8th Centuries: Essays and Translations]. Moscow: Delo. (In Russ.)

Avtonomova N.S. (2008) *Poznanie i perevod: Opyty filosofii jazyka* [Knowledge and Translation: Experiences of Philosophy of Language]. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)

Blythe J.M. (2009a) *The Life and Works of Tolomeo Fiadoni (Ptolemy of Lucca)*. Turnhout: Brepols.

Blythe J.M. (2009b) *The Worldview and Thought of Tolomeo Fiadoni (Ptolemy of Lucca)*. Turnhout: Brepols.

Blythe J.M. and J. La Salle. (2005) “Was Ptolemy of Lucca a Civic Humanist? Reflections on a Newly-discovered Manuscript of Hans Baron” // *History of Political Thought*, vol. 26, no. 2: 236—265.

Buc P. (1994) *L'ambiguïté du livre: Prince, pouvoir et peuple dans les commentaires de la Bible au Moyen Age*. Paris: Beauchesne.

Bugrov K.D. and M.A.Kiselev. (2016) *Estestvennoe pravo i dobrodetel': Integracija evropejskogo vlijanija v rossijskuju političeskiju kul'turu XVIII veka* [Natural Law and the Virtue: The Integration of the European Influence on the Russian Political Culture of the 18th Century]. Ekaterinburg: Izd-vo Ural'skogo universiteta. (In Russ.)

Chernyj A. (2014) “Prinsipat Putina” [Putin's Principate] // *After-shock*, 9.09. URL: <https://aftershock.news/?q=node/256384&full> (accessed 03.05.2018). (In Russ.)

Chesnokov A. and M.Tyurenkov. (2006) “Prezident Putin kak Printsip” [President Putin as a Principle] // *Pravyj vzgljad* [Right View], 29.09. URL: <http://pravaya.ru/look/9095> (accessed 03.05.2018). (In Russ.)

Cicero. (1901) *Polnoe sobranie rečej v russkom perevode (otchasti V.A.Alexeeva, otchasti F.F.Zelinskogo)* [Speeches (Translated by V.Alexeev and T.Zielinski)]. Vol. 1. St Petersburg: A.Ya.Lieberman. (In Russ.)

Friedrich II. (1779) *Anti-Machiavel' ili opyt vozrazhenija na Mahia-velevu nauku o obraze gosudarstvennago pravlenija, sochinen" nyne slavno vladejushchim" korolem prusskim Friderikhom" II* [The Refutation of Machiavelli's Prince, or Anti-Machiavel / Translated by Ya.Khoroshkevich]. St Petersburg: Tipografija Gosudarstvennoj voennoj kollegii. (In Russ.)

Ingerflom C.S. (2013) “„Loyalty to the State“ under Peter the Great? Return to the Sources and the Historicity of Concepts” // Bullock Ph.R. et al., eds. *Loyalties and Solidarities in Russian Society, History and Culture*. London: School of Slavonic and East European Studies: 3—19.

Ingerflom C.S. (2015) *Tsar c'est moi, l'imposture permanente d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine*. Paris: PUF.

Ingerflom C.S. (2016) “Theoretical Premises and Cognitive Distortions from the Uncritical Use of the Concept of „State“: the „Russian“ Case” // Garavaglia J.C., C.Lamouroux, and M.J.Braddick, eds. *Serve the Power(s), Serve the State: America and Eurasia*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Kharkhordin O.V., ed. (2002) *Ponjatie gosudarstva v chetyrekh jazykakh* [A Notion of the State in Four Languages]. St Petersburg: Evropejskij universitet v Sankt-Peterburge. (In Russ.)

Kiselev M.A. (2012) “Pravda i zakon vo vtoroj polovine XVII — pervoj chetverti XVIII veka: ot monarkha-sud’i k monarkhu-zakonodatelju” [The Truth and the Law at the Second Half of 17th — First Quarter of 18th Century: from the Monarch Judge to the Monarch Legislator] // “*Ponjatija o Rossii*”: *K istoricheskoj semantike imperskogo perioda* [The Russian Grundbegriffe: on the Historic Semantics of Imperial Time]. T. I. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie: 49—65. (In Russ.)

Kiselev M.A. (2013) “Forma pravlenija i social’naja ierarkhija v rossijskoj politicheskoj mysli XVII — pervoj chetverti XVIII veka” [The Form of the Rule and the Social Hierarchy in the Russian Political Thought of 17th — First Quarter of 18th Century] // *Istoricheskij Vestnik* [The Historical Reporter], no. 6: 18—53. (In Russ.)

Koltashov V.G. (2007) *Prezidentskij principat: unitarnaja monarkhija v Rossii* [Presidential Principate: Unitarian Monarchy in Russia]. URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/102380/Koltashov_-_Prezidentskii_principat__unitarnaya_monarhiya_v_Rossii.html (accessed 03.05.2018). (In Russ.)

Kozelsky Ya. (1770) *Stat’i o nrvouchitel’noj filosofii i chastjakh eja: Iz Enciklopedii perevel” kollezhskoj sovetnik” Yakov” Kozel’skoj* [Articles about Moral Philosophy and Its Parts: From Encyclopedia, translated by Yakov Kozelsky, Collegiate Councillor]. Part II. St Petersburg: Pri imperatorskoj Akademii nauk. (In Russ.)

Kurennoj V.A. (2005). “Kak sdelat’ nashi perevody jasnymi” [How to Make Our Translations Clear?] // *Logos*, no. 2 (47): 72—82. (In Russ.)

Orlov F.P. (1704) *Leksikon trejazychnyj, sirech’ rechenij slavyanskikh, ellino-grecheskikh i latinskikh sokrovishch iz razlichnykh drevnykh i novykh knig sobrannoe i po slavyanskomu alfavitu v chin raspolozhennoe* [Three-Language Dictionary: Slavonic, Hellenic-Greek and Latin Treasures from Various Ancient and New Books Arranged According to the Slavic Alphabet]. Moscow: Tsarskaja tipografija. (In Russ.)

Oseki-Dépré I. (2011) “*O sootnoshenii mezhdú germenevtikoj i perevodom*” [Traduction et herméneutique] // *Logos*, no. 5—6 (84): 50—60. (In Russ.)

Pavlovsky G. (2003) “Putin — demokraticeskij printseps: Vystuplenie na zasedanii kluba „Otkrytyj forum“” [Putin as a Democratic Princeps: Presentation at the “Open Forum” Club Meeting] // *Russkij zhurnal* [Russian Journal], 26.10. URL: http://old.russ.ru/politics/20031029_pavlovsk.html (accessed 03.05.2018). (In Russ.)

Pavlovsky G.O. (2014) *Sistema RF v vojne 2014 goda. De Principatu Debili* [A Russian Political System in the War of 2014: De Principatu Debili]. Moscow: Evropa. (In Russ.)

“Prinsipat Putina” [Putin’s Principate]. (2011) // *Nezavisimaya gazeta* [Independent Newspaper], 29.01. URL: http://www.ng.ru/tenyears/2011-01-29/100_putin.html (accessed 03.05.2018). (In Russ.)

- Shabaga I.Yu. (2010). “Traktat Leonardo Bruni „O pravil’nom perevode“” [The Treatise “On Correct Translation” by Leonardo Bruni] // *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Ser. 22: Teorija Perevoda* [The Moscow University Herald. Series 22: Translation Theory], no. 1: 27—65. (In Russ.)
- Shpet G.G. (2008—2009) [1922] *Oчерk razvitiija russkoj filosofii*. [A History of Russian Philosophy]. Parts 1—2. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)
- “Sobchak — eto Kaj Julij Tsezar’, a Putin — eto Oktovian Avgust, naslednik Tsezarja” [Sobchak Is Gaius Iulius Caesar, and Putin Is Gaius Octavius, Caesar’s Heir]. (2007) // *Radio Svoboda* [Radio Liberty], 11.08. URL: <https://www.svoboda.org/a/406636.html> (accessed 03.05.2018). (In Russ.)
- Sredinskaya N.B. (1990) “Taktat Fomy Akvinskogo „O pravlenii gosudarej“” [St Thomas Aquinas’ “De regimine principum”] // *Politicheskie struktury epohi feodalizma v Zapadnoj Evrope (VI—XVII vv.)* [Western European Political Structures during Feudal Times (6th—17th Centuries)]. Leningrad: Nauka: 217—243. (In Russ.)
- St. Jerome. (1894) *Tvorenija blazhennogo Ieronima Stridonskogo. T. 2: Pis’ma Ieronima* [St. Jerome’s Works. Vol. 2: Letters]. Kiev: Kievskaja dukhovnaja akademija. (In Russ.)
- Stetsyura T.D. (2010). *Khozjaistvennaja etika Fomy Akvinskogo* [Economic Ethics of Thomas Aquinas]. M.: ROSSPEN. (In Russ.)
- Strube de Piermont F.H. (1760) *Lettres Russiennes*. Saint-Petersbourg: Académie des sciences.
- Surkov V. (2017) “Krizis litsimerija. „I hear America singing“” // *RT*, 7.11. URL: <https://russian.rt.com/world/article/446944-surkov-krizis-licemeriya> (accessed 03.05.2018). (In Russ.)
- Tolstikov A.V. (2002) “Predstavlenija o gosudare i gosudarstve v Rossii vtoroj poloviny XVI — pervoj poloviny XVII veka” [The Perceptions of a Ruler and a State in Russia at the Second Half of 16th — First Half of 17th Century] // *Odissej: Chelovek v Istorii* [Odysseus: Man in History]. Moscow: Nauka: 294—310. (In Russ.)
- Voskobochnikov O.S. (2014) *Tysjacheletnee tsarstvo (300—1300): Oчерk khristianskoj kul’tury Zapada* [The Millennial Reign (300—1300 A.D.): A History of the Culture of the Christian West]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)
- Yusim M.A. (2011) *Makiavelli: Moral’, politika, fortuna*. [Machiavelli: Moral, Politics, Fortune]. Moscow: Kanon+. (In Russ.)
- Zoltan A.K. (2002) “K predystorii russk. „gosudar“” [A Russian Word “Gosudar”: a History of the Concept] // Litvina A.F. and F.B.Uspensky, eds. *Iz istorii russkoj kul’tury. T. 2. Kn. 1: Kievskaja i Moskovskaya Rus’* [Essays on the Russian Culture’s History. Vol. 2. Book 1: Kievan and Moscovite Rus]. Moscow: Jazyki slavjanskoj kul’tury: 554—590. (In Russ.)



С.А.Кучеренко

РЕЦЕПЦИЯ ФУКИДИДА В ПОЛИТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ: НАУКА И РИТОРИКА

Сергей Анатольевич Кучеренко — аспирант Школы философии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Для связи с автором: sakucherenko@hse.ru.

Аннотация. Статья посвящена рецепции Фукидида в международно-политической науке. На основе сравнительного анализа двух традиций в теории международных отношений — структурного и конструктивного реализма — автор показывает, что обе они в той или иной мере используют афинского историка в качестве «крестного отца» и апеллируют к нему как к авторитету. По его заключению, не только структурные, но и конструктивные реалисты вполне могли бы обойтись без ссылок на «Историю Пелопоннесской войны» для обоснования своих идей. Ключевое различие между ними применительно к рассматриваемой теме он видит в тех задачах, которые решаются через обращение к наследию Фукидида. Если структурные реалисты используют избранные фрагменты из текста «Истории» для подтверждения и легитимации собственных тезисов, то конструктивисты настаивают на необходимости целостного его прочтения. На первый план в их интерпретации выходят нормы, ценности и политическая риторика как самостоятельные элементы международных отношений. Подобный подход оценивается автором не просто как более адекватный источнику, но и как более продуктивный в научном плане. Внимание к таким явлениям, как культура, право и риторика, позволяет создать более сложную, нередукционистскую теорию международных отношений, отвечающую реалиям эпохи медиатизации публичной политики и «новой прозрачности».

Ключевые слова: Фукидид, реализм, правовой нигилизм, международные отношения

Вопрос о рецепции Фукидида в рамках теории международных отношений может показаться если не надуманным, то неактуальным. Неужели в XXI в. действительно важно, что «на самом деле» имел в виду Фукидид, не говоря уже о сомнительности подобного подхода к интерпретации всякого текста? Однако, несмотря на призывы забыть о Фукидиде раз и навсегда¹, специалисты по-прежнему ссылаются на него

¹ Welch 2003.

так, как если бы он был релевантен проблемам сегодняшнего дня и современным международно-политическим теориям. Последним заметным примером такого обращения является работа Грэма Эллисона «Обреченные на войну: Могут ли США и КНР избежать ловушки Фукидида?»². Показателен и интерес к «Истории Пелопоннесской войны» ряда членов администрации президента США Дональда Трампа. Почему же Фукидид остается столь востребованным, вопреки всем изменениям, произошедшим со времен написания «Истории»?

² Allison 2017.

На наш взгляд, неугасающая популярность Фукидида вызвана в первую очередь той ролью, которую играет его имя в структурном реализме. С ним ассоциируется, в частности, «дилемма безопасности» (она же «ловушка Фукидида»), лежащая в основе данного направления в теории международных отношений. Поскольку первую книгу «Истории» можно прочесть как формулирование дилеммы безопасности, структурные реалисты, прежде всего Кеннет Нил Уолц, Роберт Гилпин и Джон Миршаймер, видят в Фукидиде одного из родоначальников соответствующей традиции. Активно обращается к Фукидиду и так называемый конструктивный реализм³, возникший после холодной войны в ходе критики структурного реализма. Конструктивисты стремятся к как можно более полному и целостному истолкованию «Истории» в рамках международно-политической науки, попутно обвиняя структурных реалистов в некорректном ее использовании.

³ Barkin 2003.

Настоящая статья посвящена сравнительному анализу этих двух традиций рецепции Фукидида в теории международных отношений. Но прежде чем приступать к такому анализу, имеет смысл обратиться к тексту самой «Истории», точнее, к тем ее фрагментам, которые по-разному прочитываются структуралистами и конструктивистами.

Наиболее часто к «Истории» прибегают для подтверждения двух тезисов. Первый тезис — это уже упомянутая дилемма безопасности, суть которой заключается в том, что в условиях анархии общественных отношений их участники испытывают постоянный страх. Пытаясь обезопасить себя от возможного нападения, участники отношений лишь усиливают взаимный страх, что ведет к дальнейшему росту напряжения. Второй тезис, связанный с дилеммой безопасности косвенно, можно назвать «неизбежностью войны». В самых общих чертах этот тезис сводится к двум пунктам: а) политика может быть редуцирована к применению и угрозе применения силы; б) такое положение вещей не поддается изменению. Мораль, право, договоренности и обычаи не более чем ширмы, скрывающие грубую реальность силовой политики. Настоящим правом является «право сильного»: могущественный участник международных отношений может действовать как ему заблагорассудится до тех пор, пока не встретит серьезного сопротивления. Следствием подобной ситуации становится международно-правовой нигилизм и постоянная подготовка к войне, которая оказывается всегда вероятной и потому неминуемой.

**Реализм
в тексте
«Истории»**

Фукидида не без оснований называют первым политическим реалистом. При желании в тексте «Истории» легко обнаружить оба приведенных выше тезиса. Во-первых, это констатация того, что у войн есть скрытая причина и этой причиной является страх: *«Истиннейший повод, хотя на словах и наиболее скрытый, состоит, по моему мнению, в том, что афиняне своим усилением стали внушать опасения лакедемонянам и тем вынудили их начать войну»*⁴. В рамках структурного реализма данный фрагмент часто интерпретируется как претензия на создание универсальной теории причин войны: в основе всякой войны лежит либо страх быть уничтоженным, либо страх утратить гегемонию. В пользу такого заключения говорит и ремарка Фукидида, в которой он подчеркивает теоретический характер своей работы: *«[Мой труд] сочтут достаточно полезным все те, которые пожелают иметь ясное представление о минувшем и могущем, по свойству человеческой природы, повториться когда-либо в будущем в том же самом или подобном виде. Мой труд рассчитан не столько на то, чтобы послужить предметом словесного состязания в данный момент, сколько на то, чтобы быть достоянием навеки»*⁵. Во-вторых, это указание на силовой характер политики, отчетливо просматривающееся в так называемом Мелийском диалоге — описании переговоров афинских послов с мелиянами. По убеждению афинских послов, справедливость возможна лишь между равными по силе: *«мы, оставив в стороне... неубедительные речи о том, например, что мы сокрушили персов и потому господствуем по праву... желаем добиться при правдивой оценке с вашей и нашей стороны, возможно при обоюдном убеждении, что на житейском языке право имеет решающее значение только при равенстве сил на обеих сторонах; если же этого нет, то сильный делает то, что может, а слабый терпит то, что должен терпеть»*⁶. Возможность истребить население Мелоса трактуется афинянами как достаточное (и даже правовое!) основание требовать от мелиян отказаться от своей независимости и подчиниться Афинам.

Несколько менее популярны фрагменты, посвященные гражданской войне на Керкире, чуме в Афинах и Митиленскому спору, во многом перекликающемуся с Мелийским диалогом. Гражданская война на Керкире, описанная в третьей книге «Истории», начинается как обычное для того времени противостояние олигархической и демократической партий. Фукидид, однако, использует ее, чтобы продемонстрировать, как подобное противостояние влечет за собой падение нравов и утрату доверия между согражданами, тем самым порождая войну всех против всех: *«Извращено было общепринятое значение слов в применении их к поступкам. Безрассудная отвага считалась храбростью и готовностью к самопожертвованию за друзей, предусмотрительная нерешительность — трусостью под благовидным предлогом, рассудительность — прикрытием малодушия, вдумчивое отношение*

⁴ Фукидид 1.23. Здесь и далее цитаты из «Истории» Фукидида приводятся в переводе Федора Мищенко и Сергея Жебелева (Фукидид 1999).

⁵ Фукидид 1.21.

⁶ Фукидид 5.89.

⁷ Фукидид 3.82. *к каждому делу — неспособностью к какой-либо деятельности»⁷. Сходно по духу и описание афинской чумы, где потрясения приводят к разложению социального порядка. Ниже мы покажем, как первые два фрагмента становятся центральными для рецепции Фукидида в структурном реализме, тогда как описание войны на Керкире задает тон конструктивистской интерпретации.*

Рецепция Фукидида в структурном реализме

⁸ Помимо сочинений Уолца, ключевыми для данной традиции являются работы Роберта Оуэна Кеохейна и Джозефа Ная (Keohane and Nye 1977), Гилпина (Gilpin 1981) и Майкла Дойла (Doyle 1990).

⁹ Behr 2010: 198—210.

Структурный реализм (неореализм), оформившийся в работах Уолца в конце 1970-х годов, претендует на роль метатеории, раскрывающей фундаментальные принципы мировой политики⁸. В основании неореализма лежит представление о природе международных отношений как (1) анархической в правовом аспекте и (2) иерархической в аспекте могущества, понимаемого как способность к экономическому и военному давлению. Могущество связывается прежде всего с объективными материальными ресурсами, то есть с физической возможностью оказывать давление. Отсутствие единого арбитра погружает государства в естественное состояние войны и приводит к появлению дилеммы безопасности («ловушки Фукидида»). Оба этих структурных фактора с необходимостью присутствуют в любой системе суверенных государств и не могут быть устранены из нее ни дипломатией, ни воспитанием людей, ни распространением демократических режимов. Интересы государств в конечном счете определяются их могуществом, и угроза войны есть нечто неизбежное и даже банальное. Как подчеркивает Хартмут Бер, концепция Уолца несет на себе заметный отпечаток идеологии холодной войны, что проявляется в реификации представлений об интересе и могуществе, а также о патриотизме⁹. Другими словами, хотя неореализм и имеет форму научной теории, он содержит в себе элемент милитаристской идеологии, требующей постоянного укрепления обороны и даже превентивных войн. В самом деле, если выживание государства не может быть гарантировано международным правом (что объясняется в первую очередь невозможностью эффективного принуждения), единственным выходом остается либо наращивание оборонительного потенциала, за что ратует так называемый оборонительный реализм, либо аккумуляция силы и расширение сферы влияния, на чем настаивает реализм наступательный. Иначе говоря, неореализм утверждает, что решающим фактором в политике является сила, поэтому задача любого государства — максимизировать свое могущество и влияние.

Какую роль играет Фукидид в обосновании этих тезисов? Хотя Уолц и дедуцирует свои постулаты из самого понятия системы суверенных государств, он посвящает обширные пассажи указаниям на параллели между своими взглядами и взглядами таких мыслителей, как Томас Гоббс, Жан-Жак Руссо и тот же Фукидид. Очевидно, что подобные отсылки к философской традиции призваны легитимировать структурный

реализм как имеющий авторитетных предшественников, представить его как выражение давно известной, хотя и часто игнорируемой истины о жестокой природе международных отношений.

Непосредственно Фукидиду в рамках неореализма отведено место родоначальника всей традиции. Если он и не является прямым «отцом» структурного реализма, то как минимум предвосхищает его. «Окажись Фукидид среди нас, — полагает, в частности, Гилпин, — у него... бы не было ни малейших проблем с пониманием того, из-за чего соперничают державы наших дней»¹⁰. В аналогичном ключе Миршаймер объявляет идентичными идеи Фукидида и Никколо Макиавелли¹¹.

¹⁰ *Gilpin 1981: 211.*

¹¹ *Mearsheimer 2001: 365.*

Необходимо отметить, что у классических реалистов, в том числе у Ганса Моргентау и Эдварда Халлетта Карра, ссылки на Фукидида практически отсутствуют. На регулярной основе они появляются именно у неореалистов, прежде всего у Уолца, причем сразу в том виде, в котором мы к ним привыкли, — как ссылки на основоположника подхода, чья роль ни у кого не вызывает сомнений. По мнению Эдварда Кина, в американскую международно-политическую науку афинский историк, скорее всего, попал через статью Льюиса Холла 1952 г. «Послание от Фукидида», где «История» рассматривалась как предостережение западным участникам холодной войны и указание на необходимость сдерживания Советского Союза. Примечательно, что в той же статье США недвусмысленно соотносились с Афинской демократией¹², что отводило СССР роль Лакедемона, способного развязать войну.

¹² *Keene 2015: 363—364.*

Важной особенностью структурного реализма является избирательность в толковании «Истории». Диалоги и речи, составляющие значительную часть труда Фукидида, в рамках этой традиции почти полностью игнорируются. Внимание уделяется лишь двум рассмотренным выше пассажам — замечанию о страхе Лакедемона как о причине Пелопонесской войны и Мелийскому диалогу, утверждающему силовой характер политики. В работах Уолца «Человек, государство и война» и «Теория мировой политики»¹³, а также в «Войне и изменениях в мировой политике» Гилпина¹⁴ нет ни одной ссылки на диалоги. Миршаймер в «Трагедии великих держав» один раз ссылается, правда, на Мелийский диалог, но при этом, по сути, ставит знак равенства между словами афинских послов и точкой зрения самого Фукидида¹⁵. По мнению Кеохейна, приводимые в «Истории» речи являются не записью реальных высказываний, а попыткой Фукидида истолковать мотивы политиков, принимающих решения. При такой трактовке речи принадлежат не отдельным людям, а политическим сообществам в целом, будь то «афиняне» или «коринфяне»¹⁶. Подобный способ прочтения полностью соответствует установке структурного реализма на разделение внутренней и внешней политики и его акценту на позиции государств как неделимых единиц анализа. Истолкование диалогов в рамках структурного реализма нацелено на демонстрацию вторичности законов и обычаев, равно как и самого содержания выступлений,

¹³ *Waltz 1959, 1979.*

¹⁴ *Gilpin 1981.*

¹⁵ *Mearsheimer 2001: 163.*

¹⁶ *Keohane 1983: 507.*

по отношению к материальному базису. Так, в «Теории мировой политики» Уолц (со ссылкой на Вернера Йегера) прямо утверждает, что содержание речей определялось материальными факторами. Лакедемоняне расценивали силу Афин как тираническую прежде всего из-за своего страха, и, будь у них достаточно сильные армия и флот, они бы сами вели себя подобно Афинам¹⁷.

¹⁷ Waltz 1979: 127.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что ключевые положения неореализма как научной теории не требуют для своего обоснования ни имени Фукидида, ни ссылок на «Историю». Тезис о влиянии международной анархии на мировую политику совершенно внеисторичен и может быть выведен из концепций анархии и иерархии без отсылок к каким-либо авторитетам. Смысл апелляции к афинскому историку заключается в ином — в стремлении продемонстрировать укорененность традиций реализма в глубокой древности и неизменность природы международных отношений. Так, Гилпин видит в Пелопоннесской войне первый пример гегемонистской (hegemonic) войны, теорию которой разрабатывает¹⁸. В свою очередь, Кеохейн рассматривает «Историю» как «куновский образец», на котором можно изучать основные положения неореализма¹⁹. В сфере международных отношений, где господствует сила, не имеют значения никакие изменения в культуре, праве и политических системах. Неореализм же предстает теорией, честно описывающей действующие в ней неизменные принципы.

¹⁸ Gilpin 1981.

¹⁹ Keohane 1983.

Рецепция Фукидида в конструктивном реализме

Иная стратегия интерпретации Фукидида присуща конструктивному реализму, или, в терминологии Самуэля Баркина, «реалистическому конструктивизму»²⁰. Конструктивный реализм, в отличие от структурного, не представляет собой полноценного течения. Конструктивных реалистов объединяет в первую очередь критика структурного реализма как слишком абстрактного и потенциально идеологически ангажированного. Во многом конструктивный реализм строится на переосмыслении того, как классические авторы вроде Моргентау были восприняты в рамках структурного реализма. Для этого подхода характерно большее внимание к сфере социального, прежде всего к нормам и праву, отказ от редукции общественных отношений к материальным факторам. К важнейшим представителям конструктивного реализма относятся Дэниел Гарст, Грегори Крейн и Ричард Нед Лебоу.

²⁰ Barkin 2003.

В интерпретации Фукидида конструктивисты подчеркивают связь между политикой и публичной речью, обвиняя структурных реалистов в избирательности и предвзятости в работе с «Историей». За подобной установкой, как полагает Лебоу, стоит изменение в способе прочтения Фукидида историками и филологами, а именно наметившийся в 1980-е годы поворот от позитивизма к восприятию «Истории» как целостного авторского высказывания²¹.

²¹ Lebow 2001.

В ключевом для конструктивистской традиции интерпретации Фукидида эссе Джеймса Бойда Уайта из работы «Когда слова теряют свое значение»²² акцент сделан на речах и диалогах «Истории», по сути оставшихся вне поля зрения неореалистов. Большое внимание уделено там и описанию гражданской войны на Керкире, где, по словам Фуки-

²² *White 1984.*

²³ *Фукидид 3.82.*

дида, извращено было даже «общепринятое значение слов»²³. Согласно Фукидиду, возникновение двух воюющих альянсов усугубило конфликт олигархической и демократической партий на Керкире, каждая из которых стремилась заручиться поддержкой других полисов. В итоге конфликт быстро перерос в полноценную войну, которая не закончилась в полной мере до окончания Пелопоннесской войны. Хотя этот пассаж может быть истолкован и в пользу примата материальных факторов, поскольку в данном случае изменение культурных норм стало результатом войны других полисов, Уайт подчеркивает одну немаловажную деталь — самостоятельность нормативной сферы и наличие обратной связи. Говоря о значении слов, Фукидид указывает на то, что именно слова во многом определяют, как будут влиять на политические отношения материальные факторы. Когда доверие в разрываемой гражданской войной Керкире упало настолько, что благоразумие стало считаться трусостью, а осмотрительность — ленью, оказалось, что «всего лишь слова» играют не меньшую роль, чем гоплиты и триремы. Изменение в значении повседневных понятий лишило керкирян возможностей для эффективного сотрудничества, заставляя конфликт развиваться по собственным правилам, уже мало зависящим от «объективных» причин²⁴.

²⁴ *White 1984.*

В международно-политической науке подобный способ интерпретации «Истории» используется Гарстом, Крейном, Лебоу и др. В статье «Фукидид и неореализм» Гарст анализирует приведенные Фукидидом речи как части одного целостного высказывания о природе власти, полагая, что в своем труде афинский историк пытается продемонстрировать читателю, как восприятие политических процессов их участниками влияет на сами эти процессы. Могущество и власть у Фукидида — не статичные показатели, определяемые материальными факторами, как утверждают неореалисты. Власть — это всегда социальное взаимодействие, в ходе которого решение может быть принято вопреки распределению материальных ресурсов. Политическая реальность обладает известной самостоятельностью и способна развиваться по своей внутренней логике. В Мелийском диалоге афинские послы вовсе не открывают некую вечную истину, ранее просто скрытую. Они конструируют новую реальность, отрицая значимость договоров и дипломатии в политике. Циничный реализм функционирует как самоисполняющееся пророчество, так что договоры действительно не соблюдаются, а законы нарушаются, и когда в дальнейшем Афины выказывают слабость, их союзники и вассалы покидают их²⁵. В итоге «История» предстает трагическим повествованием о том, как дерзость приводит к краху даже тех, кто располагает военной и экономической мощью.

²⁵ *Garst 1998.*

²⁶ Crane 1998.

Другой масштабной работой в рамках данной традиции является «Фукидид и античная простота» Крейна²⁶, где, несмотря на тяготение автора к структурному реализму с его приматом материальных факторов, делаются выводы, сходные с выводами Гарста. Трактую «Историю» как описание борьбы архаичной спартанской культуры и «современной» афинской, Крейн делает акцент на рефлексивной природе социального. Хотя материальные факторы для него, как и для структуралистов, есть субстрат международных отношений, он указывает на самостоятельное значение законов и культурных норм, которые зачастую определяют, как именно материальные факторы будут задавать ход политики.

Ключевым кейсом в «Истории» для Крейна становится уже упоминавшееся описание смуты на Керкире, где Фукидид рисует картину разложения политической культуры, развивающегося по спирали. Уделяет внимание он и описанию чумы в Афинах, где показывается, как высокая и непредсказуемая смертность делает людей безразличными к законам и обычаям, заставляя их жить одним днем и не бояться расплаты за злодеяния. Разделяя спартанскую и афинскую политические культуры, нетрудно заметить, что черты подхода структурных реалистов в изложении Крейна присущи только афинской культуре. Именно Афины полагаются на силу как на самое верное средство политического убеждения, пригодное к использованию там, где не работают законы и обычаи. По мнению Крейна, «История» демонстрирует несостоятельность этой точки зрения: сам будучи афинянином, Фукидид не находит в себе сил завершить книгу, когда триумф афинского оружия сменяется непредвиденным поражением.

²⁷ Lebow 2001, 2003, 2008.

Наиболее полно конструктивистская интерпретация «Истории» представлена в работах Лебоу²⁷. Исследуя проблему человеческой мотивации применительно к международной политике, Лебоу во многом опирается на классические греческие трагедии. В данном контексте Фукидид тоже выступает как трагик *sui generis*, повествующий в «Истории» о том, как необузданное влечение к власти и дерзость (*ὑβρις*) приводят Афины к военному поражению, которое предстает почти божественным наказанием. На основе анализа приводимых в «Истории» диалогов и речей Лебоу приходит к выводу, что Фукидид артикулирует сразу несколько точек зрения на природу международных отношений и именно столкновение различных систем ценностей образует у него политическую реальность.

²⁸ Lebow 2001.

Сконцентрировавшись на взаимодействии в «Истории» слов (*λόγοι*) и дел (*ἔργοι*), Лебоу призывает обратить внимание на значение слов, недооцениваемое теми, кто пытается смотреть на политику трезво и реалистично. Слова, подчеркивает он, способны создать как общее коммуникативное пространство, так и ситуацию недопонимания, повышающую угрозу войны²⁸. В рамках культурной теории международных отношений он разрабатывает собственную теорию человеческих мотивов, показывая, что жажда признания (*standing*) и материальный

интерес (appetite) могут находиться под контролем разума и норм, но могут и подчинять себе поведение человека. Фукидид, с его точки зрения, описывает то, как распространение циничного взгляда на политику лишает людей способности доверять друг другу и погружает политическое сообщество в состояние бесконечной войны, из которой трудно найти выход. Не будучи единственно возможным, политический порядок, основанный на страхе и недоверии, оказывается наиболее стабильным — в том смысле, что попасть в него легче, чем выбраться²⁹.

²⁹ *Lebow 2008: 88—93.*

³⁰ *Lebow 2001.*

Несмотря на то что Лебоу называет Фукидида «первым конструктивистом»³⁰, конструктивный реализм не преследует цели сделать афинского историка своим родоначальником. «История» Фукидида выступает для конструктивистов скорее как источник идей, помогающих лучше понять текущий момент, а именно то, как связаны в мировой политике материальные и нематериальные факторы. Хотя, подобно структурным реалистам, они тяготеют к небольшому набору показательных фрагментов «Истории», их прочтение все же отличается большей аккуратностью и вниманием к целостности повествования. Подчеркивая важность норм, идей и даже риторики в формировании политической реальности, приверженцы конструктивистской школы критикуют неореализм за поверхностный подход к «Истории», при котором вырванные из контекста фрагменты вроде Мелийского диалога приобретают едва ли не противоположное значение. По мнению конструктивистов, структурный реализм использует текст «Истории» для легитимации идей, которые в ней просто отсутствуют.

Заключение

Подводя итог сравнительному анализу рецепции Фукидида в рамках структурного и конструктивного реализма, отметим, что оба течения в той или иной мере используют афинского историка в качестве «крестного отца» и апеллируют к нему как к авторитету. Не только структурные, но и конструктивные реалисты вполне могли бы обойтись без ссылок на «Историю» для обоснования своих идей. Главное различие между ними применительно к рассматриваемой теме заключается в целях и способах обращения к «Истории». Если структурные реалисты задействуют избранные фрагменты из текста Фукидида для подтверждения собственных тезисов, то конструктивисты настаивают на необходимости целостного его прочтения. Их подход не просто более адекватен источнику, но и более продуктивен с точки зрения международно-политической науки. Внимание к таким явлениям, как культура, нормы и риторика, позволяет создать более сложную, нередукционистскую теорию международных отношений.

В завершение следует подчеркнуть исключительную важность риторического аспекта «Истории». Фукидид не просто демонстрирует, как ценности и нормы влияют на политику. Одна из его задач заключается в том, чтобы показать, как проигранный спор или неверное

слово могут лечь в основу политического решения. Подобное прочтение Фукидида оказывается более чем актуальным в эпоху постправды и «новой прозрачности», когда внешний эффект важнее содержания, а «кухню» принятия политических решений скрыть почти невозможно. Особый интерес здесь представляют приводимые в «Истории» речи и диалоги, прежде всего критика того реализма и правового нигилизма, который выказывают афинские послы в Мелийском диалоге. Развитие массовых коммуникаций, и в первую очередь социальных сетей, в известной мере сближает современные государства с античными Афинами, делая политику более прозрачной и более зависимой от общественного мнения. Современный гражданин требует от политиков, чиновников и дипломатов постоянной обратной связи, что повышает роль риторики. Политики, все чаще прибегающие к популизму, обещают своим избирателям исполнение желаний, подобно тому как Алкивиад обещал афинянам славу и богатство в случае успеха в Сицилии³¹. Своеобразную «кульминацию» этот тренд получил с избранием на пост президента США Трампа, лично общающегося с гражданами через микроблог Twitter, что является серьезным отступлением от традиционного протокола.

³¹ Фукидид 6.8.

В этом контексте риторика, основанная на реалистских установках, будь то реализм афинских послов или наступательный реализм Миршаймера, представляет опасность для международного права и дипломатии. Серьезную угрозу несут в себе, в частности, декларации о возможности применения военной силы, такие как заявление Барака Обамы о пересечении режимом Башара Асада «красной линии» или провозглашение Трампом готовности нанести удар по КНДР. В одном ряду с ними стоит и критика президентом США эффективности международных организаций, в том числе ООН. Хотя новейшая история не знает военных действий, причиной которых было бы исключительно давление общественности или же неверно проведенные переговоры, громкое заявление всякий раз ставит политика перед выбором: выполнить обещание или быть обвиненным в нерешительности и слабости. Нарастающая прозрачность дипломатии требует повышенной ответственности от политиков и экспертов по международным отношениям, которые должны помнить об описанных Фукидидом уроках Пелопоннесской войны.

Библиография

Алексеева Т.А. (2015) «Перечитывая „классиков“: Фукидид и политический реализм» // *Сравнительная политика*, т. 6, № 3(20): 7–20. URL: http://www.intelros.ru/pdf/Sravnitelnaya_politika/2015_3/311-639-1-SM.pdf (проверено 31.05.2018).

Фукидид. (1999) *История* / Пер. с греч. Ф.Г.Мищенко, С.А.Жебелева; под ред. Э.Д. Фролова. СПб.: Наука.

Allison G. (2017) *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

- Barkin S. (2003) «Realist Constructivism» // *International Studies Review*, vol. 5, no. 3: 325—342.
- Behr H. (2010) *A History of International Political Theory: Ontologies of the International*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Connor W.R. (1987) *Thucydides*. Princeton: Princeton University Press.
- Crane G. (1998) *Thucydides and the Ancient Simplicity: The Limits of Political Realism*. Berkeley: University of California Press.
- Doyle M. (1990) «Thucydidean Realism» // *Review of International Studies*, vol. 16, no. 3: 223—237.
- Garst D. (1998) «Thucydides and Neorealism» // *International Studies Quarterly*, vol. 33, no. 1: 3—27.
- Gilpin R. (1981) *War and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Keene E. (2015) «The Reception of Thucydides in the History of International Relations» // Lee C. and N.Morley, eds. *A Handbook to the Reception of Thucydides*. Chichester: Wiley-Blackwell: 355—372.
- Keohane R.O. (1983) «Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond» // Finifter A., ed. *Political Science: The State of the Discipline*. Washington: American Political Science Association: 503—540.
- Keohane R.O. and J.S.Nye. (1977) *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston: Little, Brown.
- Lebow R.N. (2001) «Thucydides the Constructivist» // *The American Political Science Review*, vol. 95, no. 3: 547—560.
- Lebow R.N. (2003) *The Tragic Vision of Politics Ethics, Interests and Orders*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lebow R.N. (2008) *A Cultural Theory of International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mearsheimer J. (2001) *The Tragedy of Great Power Politics*. New York, London: W.W.Norton & Company.
- Waltz K. (1959) *Man, the State, and War*. New York: Columbia University Press.
- Waltz K. (1979) *Theory of International Politics*. Reading (MA): Addison-Wesley.
- Welch D.A. (2003) «Why International Relations Theorists Should Stop Reading Thucydides» // *Review of International Studies*, vol. 29, no. 3: 301—319. URL: <https://people.ucsc.edu/~rripsch/migrated/Pol272/Welch.Thucydides.pdf> (accessed 31.05.2018).
- White J.B. (1984) *When Words Lose Their Meaning: Constitutions and Reconstitutions of Language, Character, and Community*. Chicago: University of Chicago Press.



S.A.Kucherenko
RECEPTION OF THUCYDIDES
IN POLITICAL REALISM:
SCIENCE AND RHETORIC

Sergey A. Kucherenko — Ph.D. Student at the School of Philosophy, Faculty of Humanities, National Research University *Higher School of Economics*. Email: sakucherenko@hse.ru.

Abstract. The article is devoted to the reception of Thucydides in Political Science. On the basis of the comparative analysis of structural and constructive realism — two traditions in the theory of international relations — the author shows that they both treat the Athenian historian to some extent as a “godfather” and appeal to him as an authority. According to the author’s conclusion, neither structural, nor constructive realists need references to the “History of the Peloponnesian War” in order to substantiate their ideas. The key difference between structural and constructive realists is the problems that they are trying to resolve through the appeal to the heritage of Thucydides. If structural realists use selected excerpts from the text of the “History of the Peloponnesian War” to confirm and legitimize their own propositions, constructivists insist on the holistic reading of the text. In their interpretation of the text they give pride of place to the norms, values and political rhetoric as independent elements of international relations. The author thinks that the latter approach is both more adequate to interpreting the text and more productive in terms of science. Paying close attention to such phenomena as culture, law and rhetoric allows them to create a more complex, non-reductionist theory of international relations that better fits the realities of the era of mediation of public policy and “new transparency”.

Keywords: Thucydides, realism, legal nihilism, international relations

References

- Alekseeva T. (2015) “Perechityvaja „klassikov“: Fukidid i politicheskij realism” [Re-reading “Classics”: Thucydides and Political Realism] // *Sravnitel'naja politika* [Comparative Politics], vol. 6, no. 3 (20): 7–20. URL: http://www.intelros.ru/pdf/Sravnitel'naya_politika/2015_3/311-639-1-SM.pdf (accessed 31.05.2018). (In Russ.)
- Allison G. (2017) *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?* Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
- Barkin S. (2003) “Realist Constructivism” // *International Studies Review*, vol. 5, no. 3: 325–342.
- Behr H. (2010) *A History of International Political Theory: Ontologies of the International*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

- Connor W.R. (1987) *Thucydides*. Princeton: Princeton University Press.
- Crane G. (1998) *Thucydides and the Ancient Simplicity: The Limits of Political Realism*. Berkeley: University of California Press.
- Doyle M. (1990) "Thucydidean Realism" // *Review of International Studies*, vol. 16, no. 3: 223—237.
- Garst D. (1998) "Thucydides and Neorealism" // *International Studies Quarterly*, vol. 33, no. 1: 3—27.
- Gilpin R. (1981) *War and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Keene E. (2015) "The Reception of Thucydides in the History of International Relations" // Lee C. and N.Morley, eds. *A Handbook to the Reception of Thucydides*. Chichester: Wiley-Blackwell: 355—372.
- Keohane R.O. (1983) "Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond" // Finifter A., ed. *Political Science: The State of the Discipline*. Washington: American Political Science Association: 503—540.
- Keohane R.O. and J.S.Nye. (1977) *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston: Little, Brown.
- Lebow R.N. (2001) "Thucydides the Constructivist" // *The American Political Science Review*, vol. 95, no. 3: 547—560.
- Lebow R.N. (2003) *The Tragic Vision of Politics Ethics, Interests and Orders*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lebow R.N. (2008) *A Cultural Theory of International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mearsheimer J. (2001) *The Tragedy of Great Power Politics*. New York, London: W.W.Norton & Company.
- Thucydides. (1999) *Istoria* [History] / Transl. by F.G.Mishtchenko and S.A.Zhebelev, ed. by E.D.Frolov. St Petersburg: Nauka. (In Russ.)
- Waltz K. (1959) *Man, the State, and War*. New York: Columbia University Press.
- Waltz K. (1979) *Theory of International Politics*. Reading (MA): Addison-Wesley.
- Welch D.A. (2003) "Why International Relations Theorists Should Stop Reading Thucydides" // *Review of International Studies*, vol. 29, no. 3: 301—319. URL: <https://people.ucsc.edu/~rlipsch/migrated/Pol272/Welch.Thucydides.pdf> (accessed 31.05.2018).
- White J.B. (1984) *When Words Lose Their Meaning: Constitutions and Reconstitutions of Language, Character, and Community*. Chicago: University of Chicago Press.



полития

А.С.Ахременко, А.П.Петров, И.Б.Филиппов
СТАБИЛЬНОСТЬ
И ВЫЖИВАНИЕ ДЕМОКРАТИЙ:
ОТ ГИПОТЕЗЫ ЛИПСЕТА
К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ¹

¹ Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект 18-011-01134 «Динамика развития политической нестабильности: построение теоретической модели и ее эмпирическое тестирование».

Андрей Сергеевич Ахременко — доктор политических наук, профессор департамента политической науки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Для связи с автором: aakhremenko@hse.ru.

Александр Пхоун Чжо Петров — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института прикладной математики имени М.В.Келдыша РАН. Для связи с автором: petrov.alexander.p@yandex.ru.

Илья Борисович Филиппов — студент магистерской образовательной программы «Прикладная политология» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Для связи с автором: ibphillipov@gmail.com.

Аннотация. Статья посвящена анализу влияния экономического развития на выживание демократических режимов и успешность процессов демократизации. В основу исследования положена сформулированная С.М.Липсетом и развитая А.Пшеворским гипотеза, согласно которой с ростом благосостояния общества происходит расширение «пространства компромисса» и сближение предпочтительных для различных групп интересов параметров перераспределения ресурсов, что ведет к ослаблению конфликтов по поводу политического курса. Отталкиваясь от идей Липсета и Пшеворского, авторы строят математическую модель, демонстрирующую, как социальный капитал — точнее, его компонент, отвечающий за «наведение мостов» между незнакомыми людьми, — и качество институтов позволяют (через увеличение производительности экономики и сопутствующий рост благосостояния) стабилизировать демократические режимы. Согласно предсказаниям модели, совокупная производительность факторов производства (TFP), понимаемая как возможность образовывать эффективные кооперации индивидов и/или фирм, увеличивает общий объем богатства общества и способствует консолидации демократии через снижение социальной напряженности и обеспечение лучшей работы механизма выбора экономической политики.

По итогам анализа математической модели авторы формулируют гипотезу о том, что более высокий уровень производительности повышает шансы демократии на выживание, и тестируют ее на обширном массиве эмпирических данных методом анализа выживаемости. Проведенное ими исследование показывает, что TFP является значимым и сильным предиктором вероятности срыва демократизации. В среднем при прочих равных условиях с увеличением TFP на 10 процентных пунктов риск схода с трека демократизации снижается в 1,2–1,4 раза. Полученные результаты устойчивы к изменению спецификации модели и состава контрольных переменных.

Ключевые слова: совокупная производительность факторов производства, социальный капитал, политическая стабильность, демократизация, политический режим

Введение

Проблема выживания демократических режимов занимает сегодня одно из важнейших мест в мировой политической науке. Оптимизм 1990-х годов, когда на пике «третьей волны» демократизации вопрос считался чуть ли не закрытым², сменился скепсисом относительно перспектив повсеместного утверждения демократии. Политической науке это, впрочем, пошло на пользу: с начала нынешнего столетия появился целый ряд новых теорий и огромный пласт эмпирических исследований, посвященных устойчивости демократических режимов.

В этом многообразии выделяется несколько заметных течений. В их числе прежде всего следует отметить неоинституциональный подход, в рамках которого шансы демократии на выживание, как правило, связываются либо с качеством институтов (например, с уровнем защиты прав собственности³), либо с их дизайном (например, с пропорциональной избирательной системой⁴ или с моделью разделения власти⁵). В контексте стабильности демократий исследуются также формы политического поведения, в частности интенсивность массовых антиэлитных выступлений⁶, анализируется накопленный опыт демократического развития — «демократический капитал»⁷, учитывается воздействие внешних факторов, таких как международная финансовая помощь⁸ или «демонстрационный эффект»⁹ соседних государств. Особого упоминания заслуживает методологическая дискуссия о разделении демократий на консолидированные и неконсолидированные, применительно к которым могут действовать различные факторы устойчивости¹⁰. Свой вклад в разработку темы вносят и теории социального капитала¹¹, хотя здесь исследования могли бы быть интенсивнее.

Наконец, активно развивается корпус теорий, ставящих во главу угла структурные предпосылки устойчивости демократии. Подобный подход, оформившийся еще в 1950–1960-х годах, но отодвинутый на

² Fukuyama 1992.

³ Reenock 2013.

⁴ Bernhard 2001.

⁵ Graham, Miller, and Strom 2017.

⁶ Stockemer and Carbonetti 2010.

⁷ Persson and Tabellini 2009; Jeitschko et al. 2014.

⁸ Simone and Wright 2012.

⁹ Gasiorowski 1995.

¹⁰ Svobik 2008.

¹¹ Paxton 2002.

¹² Haggard and Kaufman 2016.

¹³ Dunning 2008.

¹⁴ Fish and Kroenig 2006.

¹⁵ Jacobsen 2015.

¹⁶ См., напр. Boix and Stokes 2003; Acemoglu and Robinson 2006; Ahlquist and Wibbels 2012.

¹⁷ Boix and Stokes 2003; Epstein et al. 2006; Gundlach and Paldam 2009.

периферию научной мысли эйфорией пика «третьей волны», переживает сегодня второе рождение¹². В фокусе внимания его приверженцев — широкий спектр факторов, влияющих на выживание демократий, от «ресурсного проклятия»¹³ и этнолингвистической неоднородности¹⁴ до ожидаемой продолжительности жизни¹⁵. Одним из важнейших направлений является анализ влияния неравенства, пока дающий неоднозначные результаты¹⁶. И, разумеется, сохраняют свое значение исследования экономического развития как фактора устойчивости демократий¹⁷, восходящие к трудам Сеймура Мартина Липсета. Именно в рамках этой традиции, на наш взгляд, был сформирован комплекс идей, позволяющих перейти от «умножения сущностей» (выделения все новых причин (не)устойчивости демократий) к поиску синтетической теоретической конструкции, интегрирующей разнородные на первый взгляд факторы.

В настоящей статье, отталкиваясь от ряда идей Липсета и Адама Пшеворского, мы построим математическую модель, показывающую, как социальный капитал — точнее, его компонент, отвечающий за «наведение мостов» между незнакомыми людьми, — и качество институтов позволяют (через увеличение производительности экономики и сопутствующий рост благосостояния) стабилизировать демократические режимы. Гипотезы, вытекающие из анализа модели, будут протестированы на обширном массиве эмпирических данных методом анализа выживаемости (survival analysis).

От Липсета к Пшеворскому: богатство и цена перераспределения

В научной литературе XX в. идея структурных факторов устойчивости демократии впервые была развернуто изложена в известной статье Липсета «Некоторые социальные предпосылки демократии: экономическое развитие и политическая легитимность»¹⁸, где доказывалось, что уровень экономического развития, выражающийся в показателях индустриализации, урбанизации, уровня образования и доходов населения, влияет на способность общества поддерживать демократические институты. В отличие от многих поздних интерпретаторов, Липсет не утверждал, что экономическое развитие автоматически порождает демократию. С ростом благосостояния растут предпосылки (requisites) того, что демократия будет воспринята обществом как легитимная форма политического устройства. Центральной проблемой любой политической системы в конечном счете является принятие решений в условиях конфликта групповых интересов; демократия пытается решить ее за счет допуска максимально возможной части граждан к участию в этом процессе посредством выбора между альтернативными претендентами на властные позиции¹⁹. Каким образом экономическое развитие сказывается на функционировании данного механизма? Кратко воспроизведем аргументы Липсета. Согласно Липсету, высокий уровень экономического развития:

— приводит к появлению многочисленного среднего класса, который играет в обществе «смягчающую» (mitigating) роль, поощряя

¹⁸ Lipset 1959.

¹⁹ Ibid.: 71.

умеренные демократические партии и «наказывающая» экстремистские группы, порождая комплексные и нюансированные представления о политике;

- способствует толерантности и утверждению среди граждан в целом и политиков в частности «универсалистских» социальных норм (в противовес nepoтизму и фаворитизму), отсутствие которых делает проблематичным появление эффективной бюрократии;
- повышает (в абсолютном выражении) жизненные стандарты граждан, позволяя избежать отношения к ним со стороны высших страт как к «прирожденно зависимым», «плебсу»;
- вырабатывает у низших и средних слоев общества ощущение временной перспективы (то есть, используя современную терминологию, удлиняет их горизонт планирования);
- обеспечивает формирование в обществе такого объема совокупного богатства, чтобы умеренное его перераспределение не имело критического значения, так что пребывание у власти той или иной партии перестает оказывать решающее влияние на шансы на «выживание» других влиятельных групп;
- создает условия (в том числе просто за счет увеличения свободного времени) для развития негосударственных некоммерческих организаций, способных выступать в качестве противовеса власти.

Нетрудно заметить, что в приведенном списке присутствует целая палитра идей, легших в основу важнейших теорий современной политической науки и политэкономии — от концепции социальных порядков с особой ролью негосударственных организаций²⁰ до теории «беспристрастных институтов» (impartial institutions)²¹. Но они прописаны Липсетом скорее эскизно. Недостаточно хорошо просматриваются и конкретные механизмы, связывающие указанные факторы с экономическим развитием, с одной стороны, и демократией — с другой, тем более что использованные им методы эмпирического анализа не позволяют фиксировать вектор причинно-следственных связей.

Существенного продвижения в этом направлении пришлось ждать более 30 лет — до появления на рубеже веков работ Адама Пшеворского²², с помощью теоретико-игровой модели выявившего один из возможных механизмов влияния экономического развития на выживание демократии.

Так, в работе «Демократия как равновесие»²³ Пшеворским была проанализирована модель с группами низкого, среднего и высокого дохода, где абсолютный размер доходов в каждой группе зависит от общего уровня доходов в обществе²⁴ и масштабов перераспределения.

Общие параметры модели выглядят следующим образом. На выборах конкурируют две партии — левая, отстаивающая интересы бедных, и правая, отстаивающая интересы богатых. В предвыборной программе каждой партии предложен свой уровень перераспределения (ставка налога). Победившей считается партия, набравшая более половины голосов; в случае равенства полученных голосов победитель

²⁰ North, Wallis, and Weingast 2009.

²¹ Rothstein and Teorell 2008.

²² Przeworski and Limongi 1997; Przeworski et al. 2000; Przeworski 2004, 2005.

²³ Przeworski 2005.

²⁴ В модели вводится базовый параметр дохода y ; далее доходы каждой группы рассчитываются через операции с этим параметром (условно говоря, доход бедных может составлять $2y$, среднего класса — $4y$, богатых — $8y$).

определяется случайным образом. Принципиальным моментом является возможность непризнания результатов выборов — наряду со стратегией «подчинения», проигравшая партия может обратиться и к стратегии «бунта». В случае обоюдного признания партиями результатов выборов происходит перераспределение доходов в соответствии со ставкой налога, предложенной победителем. В противном случае возникает конфликт, исход которого определяется балансом военной силы (модельный аналог позиции силовых структур и/или силового потенциала сторонников каждой партии). Возможны два принципиальных исхода: либо партии, принявшей результаты выборов, удастся отстоять демократию, либо устанавливается диктатура. В условиях диктатуры доход перераспределяется так, что львиную долю ресурсов получает та группа, которую представляет партия у власти; при левой диктатуре — бедные, при правой — богатые. Кроме того, проигравшие подвергаются репрессиям — эта перспектива, наряду с последствиями перераспределения, учитывается партиями при выборе стратегии.

Ключевые (взаимосвязанные) результаты анализа Пшеворским данной модели таковы:

- с повышением общего уровня доходов диапазон приемлемых для партий значений параметра перераспределения расширяется. Другими словами, с ростом богатства общества правые будут соглашаться на все более высокие налоги, бедные — на все более низкие;
- существует пороговое значение общего уровня доходов, при превышении которого демократия всегда выживает, то есть партии всегда выбирают стратегию принятия результатов выборов и никогда — стратегию восстания с целью установить диктатуру;
- в бедных обществах выживание демократии в значительной мере зависит от силового баланса. С увеличением богатства распределение силовых ресурсов играет все меньшую роль;
- с ростом общего дохода (и, соответственно, увеличением шансов на выживание демократии) равновесный выбор уровня перераспределения будет находиться недалеко от идеальной точки медианного избирателя. В условиях гарантированной демократии платформы партий сближаются, сдвигаясь к позиции медианного избирателя.

Важнейшую идею, объединяющую теории Липсета и Пшеворского, можно сформулировать так. С ростом благосостояния острота конфликта между группами интересов по поводу перераспределения ресурсов снижается. Это происходит за счет взаимосвязанных процессов расширения пространства компромисса (взаимно приемлемого диапазона распределительных политик) и концентрации предпочитаемых параметров перераспределения в зоне умеренных значений. Как следствие, цена поражения в конкурентной борьбе перестает быть запредельно высокой.

И Пшеворский, и (чуть менее явно) Липсет полагали, что этот механизм запускается при достижении определенного уровня доходов.

Но уровень доходов является лишь отражением более фундаментального свойства социальной системы — производительности (productivity), которая, со своей стороны, может быть интерпретирована как равнодействующая качества институтов и социального доверия.

²⁵ Przeworski 2004.

²⁶ Agranov and Palfrey 2015; Rvkin and Semykina 2017.

Впервые (насколько нам известно) проблема производительности в контексте демократизации была затронута тем же Пшеворским²⁵. Но он лишь констатировал, что в демократиях совокупная производительность факторов производства (total factor productivity — TFP) в среднем выше, чем в иных системах. Более детально эта тема рассматривалась в новейших работах по экспериментальной политэкономии²⁶, однако полученные в них результаты пока противоречивы. Принципиальный изъян лабораторного дизайна заключается в том, что при проведении эксперимента продуктивность проще всего моделировать как индивидуальную (микро-) характеристику, а подобная установка не позволяет раскрыть потенциал продуктивности как «интегрального» социального свойства, вбирающего в себя эффекты экономического, социального и институционального развития. В свою очередь, традиционные исследования продуктивности справедливо критикуются за отрыв от индивидуального уровня принятия решений. Соответственно, требуется подход, позволяющий соединить микро- и макроуровень в рамках одной непротиворечивой теории.

²⁷ Kremer and Maskin 1996, 2007.

На решение этой задачи и направлена математическая модель, разработанная нами на основе дизайна, предложенного в трудах Майкла Кремера и Эрика Маскина²⁷.

**К продуктивности
через
социальный
капитал
и качество
институтов:
математическая
модель**

Центральная идея, заложенная в модель, состоит в следующем. Системная продуктивность общества (макроуровень) определяется *возможностью создавать кооперации индивидов и/или фирм, способные к максимально эффективному совместному использованию имеющихся у них ресурсов* (микроуровень). Производство с необходимостью требует партнерства, то есть взаимодействия акторов. Выстраивание такого взаимодействия зависит от того, насколько просто актерам находить себе партнеров, а также от того, с какими рисками сопряжено само партнерство (то есть насколько оно надежно). Надежность коммерческих отношений может базироваться либо на высоком уровне взаимного доверия (социального капитала), либо на способности государства (в первую очередь его судебной системы) обеспечивать выполнение партнерами обязательств по отношению друг к другу. В этом плане социальный капитал и качество государственных институтов являются в данной модели взаимозаменяемыми.

Система состоит из равного количества акторов двух типов, которых мы (для простоты) будем называть «банкирами» и «фабрикантами». Производственной единицей выступает пара акторов, включающая в себя «банкира» и «фабриканта», причем (а) разбиение системы на пары может быть проведено различными способами; (б) объем выпуска

пар при одном и том же количестве ресурса неодинаков; (в) не все пары возможны. Таким образом, продуктивность системы в целом зависит от того, насколько удачными оказываются сочетания акторов. При этом возможность образования каждого конкретного партнерства зависит от общего уровня рисков.

Упрощая, суть модели можно выразить следующим образом. Предположим, что, согласно прогнозному расчету, очень эффективным будет партнерство «банкира» F_1 и «фабриканта» F_2 . Но поскольку существует риск невыполнения сторонами своих обязательств, такое может быть образовано лишь при наличии хотя бы одного из трех условий: (1) личного доверия между акторами (далее мы будем называть подобное доверие «бондингом» (от англ. bonding — соединение, связь)); (2) высокого уровня обобщенного доверия в обществе («бриджинг», от англ. bridging — наведение мостов); (3) уверенности в том, что государство посредством своих институтов обеспечит соблюдение заключенных соглашений. «Бондинг» как локальные отношения и «бриджинг» как общий уровень доверия в системе в совокупности образуют социальный капитал этой системы; уверенность в защите обязательств государством выступает ее институциональной характеристикой. Если эти факторы (социальный капитал и институциональная защита) представлены в достаточной степени, партнерство F_1+F_2 состоится, что приведет к появлению высокоэффективной производственной единицы. В противном случае F_1 и F_2 сформируют менее эффективные партнерства с теми акторами, с которыми у них имеются налаженные «бондинги» (либо вообще окажутся без партнеров).

Обозначим «бондинг» между фирмами i и j через b_{ij} , «бриджинг» (представляющий собой общий для всей системы, то есть глобальный, параметр) — через β , а качество государственных институтов — через c . Постулируем, что партнерство между двумя данными фирмами может состояться, если $b_{ij} + \beta + c \geq 1$.

Объем y_{ij} выпуска пары i, j зависит от человеческого капитала «банкира» (q_i) и «фабриканта» (q_j) и описывается производственной функцией $y_{ij} = q_i q_j k_{ij}$, где k_{ij} — объем ресурса (физического и финансового), находящегося в распоряжении данной производственной единицы.

Рассмотрим пример. Пусть система состоит из четырех акторов, имеющих квалификации $q_1 = q_2 = 5$, $q_3 = q_4 = 1$, «бриджинг» и качество государственных институтов равны $\beta = 0,4$, $c = 0,3$, а матрица «бондинга» имеет вид:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0,2 & 1 & 0,5 \\ 0,2 & 1 & 0,5 & 1 \\ 1 & 0,5 & 1 & 0,5 \\ 0,5 & 1 & 0,5 & 1 \end{pmatrix}$$

Проанализируем возможные варианты образования партнерств, постулируя для простоты, что каждый актер может сочетаться с любым другим (иными словами, в данном примере отсутствует специализация акторов, деление их на «банкиров» и «фабрикантов»).

Фирма 1 может образовать партнерство с фирмой 3 (так как $1+0,4+0,3 \geq 1$) или фирмой 4 ($0,5+0,4+0,3 \geq 1$). То же самое относится к фирме 2. Наконец, фирма 3 и фирма 4 могут сочетаться с любой другой фирмой. Таким образом, возможны все партнерства, кроме F_1+F_2 , которое является наиболее продуктивным.

Вычислим выпуск системы при условии, что каждая пара обладает одной единицей ресурса (то есть на систему в целом приходится две его единицы). Если сочетаются фирмы F_1+F_3 , F_2+F_4 или F_1+F_4 , F_2+F_3 , выпуск системы равен $Y=5 \cdot 1+5 \cdot 1=10$. Если же сочетаются фирмы F_3+F_4 , а фирмы F_1 , F_2 бездействуют, так как не имеют партнеров, то $Y=1 \cdot 1=1$. Будем считать, что в системе присутствуют оптимизирующие механизмы, тогда для системы в целом $Y=10$.

Предположим теперь, что в системе повысилось качество государственных институтов и теперь $c=0,5$. Стало возможным партнерство F_1+F_2 . В случае партнерств F_1+F_2 , F_3+F_4 мы получим для системы: $Y=5 \cdot 5+1 \cdot 1=26$.

Таким образом, после повышения качества институтов при том же суммарном капитале выпуск системы возрастает в 2,6 раза. Следовательно, совокупная TFP системы тоже оказывается в 2,6 раза выше.

Поскольку образование партнерства в данной модели возможно при выполнении неравенства $b_{ij}+\beta+c \geq 1$, эффекты от прироста «бондингового» социального капитала b_{ij} , с одной стороны, и «бриджингового» социального капитала β и качества институтов c , с другой, частично схожи и частично различны. Они схожи в том, что увеличение каждого из параметров может привести к формированию новых комбинаций фирм (экономических агентов) и в этом общем смысле эти параметры взаимозаменяемы или являются альтернативными способами поддержания ненулевой производительности общественной системы. Различие же заключается в том, что эффект от изменения «бондингового» социального капитала всегда *локален*, то есть действует в отношении *конкретного подмножества* акторов (в данной модели экономический агент — это пара акторов, и, соответственно, «бондинг» характеризует каждую конкретную пару), тогда как эффект от изменения «бриджинга» или качества государственных институтов, напротив, *глобален*, поскольку меняет перспективы сотрудничества между актерами в масштабах *всей* общественной системы.

Рассмотренный выше механизм является статическим; он описывает влияние социального капитала и качества институтов на возможность формирования производственных единиц (экономических агентов). Теперь построим динамическую модель, важным элементом которой будет перераспределение ресурсов.

Пусть индивиды (фирмы) различаются по специализации («банкиры» и «фабриканты») и обладают неизменным человеческим капиталом $h_1, h_2, \dots, h_n, q_1, q_2, \dots, q_n$. Всего в системе $2n$ акторов, образующих n пар. В каждый момент времени t каждая пара располагает производственным ресурсом $k_j(t)$ (где j — номер пары). Кроме того, фактором производства является публичный капитал (public capital) G , создаваемый на средства государственного бюджета. Производственная функция имеет вид:

$$y_j(t) = h_j q_j k_j^\alpha(t) G^{1-\alpha}(t),$$

где $y_j(t)$ — выпуск j -ой пары ($h_j q_j$) в данный момент времени. Совокупный выпуск Y представляет собой сумму выпусков всех пар:

$$Y(t) = \sum_{j=1}^n y_j.$$

Рассмотрим подробнее случай $n = 2$.

Выпуск облагается налогом по ставке τ , налоговые доходы формируют государственный бюджет $I(t) = \tau y_1(t) + \tau y_2(t) = \tau Y(t)$. С помощью параметра g делим бюджет на две части — (1) средства, предназначенные для инвестиций в публичный капитал $gI(t)$, (2) средства, предназначенные для трансфертов акторам $(1-g)I(t)$. Средства, предназначенные для трансфертов, в свою очередь, делятся на доли для каждой пары. Параметр s определяет, какую долю получит более продуктивная пара.

Ресурс каждой пары на следующий производственный цикл составляет доля выпуска, оставшаяся после налогообложения, плюс трансферт из бюджета. Динамика частных капиталов определяется уравнениями:

$$\begin{aligned} k_1(t+1) &= (1-\tau)y_1(t) + s(1-g)I(t); \\ k_2(t+1) &= (1-\tau)y_2(t) + (1-s)(1-g)I(t). \end{aligned}$$

Динамика публичного капитала описывается уравнением непрерывного учета с коэффициентом амортизации δ и притоком бюджетных инвестиций:

$$G(t+1) = (1-\delta)G(t) + gI(t).$$

В этой модели параметрами политического курса (policy parameters) выступают ставка налогообложения τ , доля бюджетных инвестиций в публичный капитал g и доля трансфертов s . Пары могут определить свои предпочтения по поводу каждого из параметров политического курса или их комбинации, используя функцию полезности:

$$U^j = \sum_{t=1}^{\infty} \sigma^{t-1} k_j(t),$$

где σ — дисконтирующий множитель, характеризующий горизонт планирования пары. Таким образом каждая пара максимизирует свои ресурсы.

Стандартным способом моделирования политического курса в условиях демократии является выбор медианного значения идеальных точек индивидов (пар производителей в нашем случае) — разумеется, в предположении, что они обладают равным политическим весом.

В численном эксперименте, как и в базовой модели, мы будем рассматривать два сочетания пар: 1) h_1q_1, h_2q_2 («эффективный — эффективный», «неэффективный — неэффективный») и 2) h_1q_2, h_2q_1 («эффективный — неэффективный», «неэффективный — эффективный»). Первое соответствует демократии с высокой TFP, проистекающей из развитых институтов и социального капитала, второе — демократии с низкой TFP.

Как и в примере выше, для демонстрации результатов использованы значения человеческого капитала $h_1=2, h_2=0,2, q_1=1, q_2=0,7$. Аналогичные расчеты нетрудно провести и для любых других численных значений.

Для каждого из параметров политического курса мы рассчитываем:

- идеальные точки — максимумы функций полезности каждой пары (в двух сочетаниях);
- медианные значения идеальных точек (для каждого из сочетаний);
- оптимальные значения — значения, при которых достигаются максимальные темпы экономического роста.

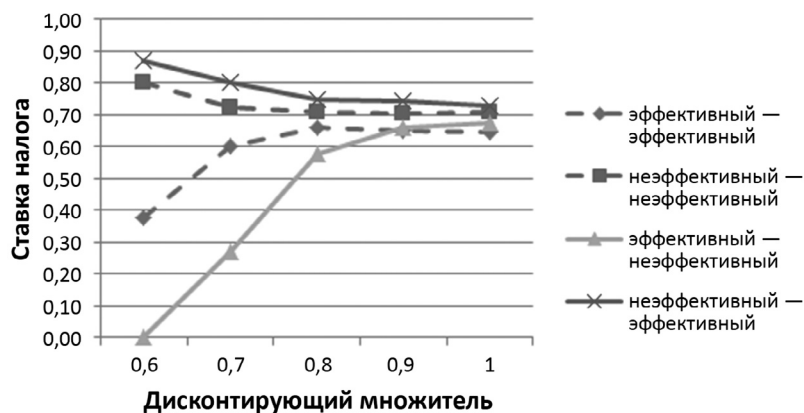
Все расчеты производятся для разных значений дисконтирующего множителя: $\sigma=[0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1]$. При $\sigma=1$ сегодняшняя ценность ресурса и его ценность в бесконечно далеком будущем равны. Чем меньше значение дисконтирующего множителя, тем более «близорушим» является актор, то есть тем ниже он ценит будущие доходы по сравнению с сегодняшними. Например, значение $\sigma=0,8$ означает, что актор считает 1 рубль в следующий момент времени равноценным 0,8 рубля сейчас.

Результаты, полученные для ставки налогообложения (см. *табл. 1* и *рис. 1*), позволяют сделать несколько выводов. Во-первых, длинный горизонт планирования (дисконтирующий множитель 0,9—1) обеспечивает близость идеальных точек всех пар (и, соответственно, их медиан) к оптимуму. Другими словами, если все акторы настолько «дальновидны», что ценят свои будущие доходы (даже когда речь идет об очень отдаленном будущем) так же высоко, как сегодняшние, демократический способ принятия политических решений позволяет выбрать оптимальную (то есть обеспечивающую наиболее быстрый экономический рост) политику. Свидетельствуя об адекватности модели, эта закономерность, однако, носит скорее гипотетический характер: трудно представить себе индивидов со столь длинным горизонтом планирования, особенно в условиях низкого качества институтов и дефицита доверия в обществе. Поэтому большего внимания (особенно для переходных обществ) заслуживают ситуации в левой части *рис. 1*, соответствующие ограниченному горизонту планирования.

Таблица 1 Результаты эксперимента для ставки налогообложения

| | Дисконтирующий множитель | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Идеальная точка $h_1 q_1$ | 0,38 | 0,60 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |
| Идеальная точка $h_2 q_2$ | 0,80 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,71 |
| Медиана ($h_1 q_1, h_2 q_2$) | 0,59 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Оптимум ($h_1 q_1, h_2 q_2$) | 0,68 | | | | |
| Идеальная точка $h_1 q_2$ | 0,00 | 0,27 | 0,58 | 0,66 | 0,67 |
| Идеальная точка $h_2 q_1$ | 0,87 | 0,80 | 0,75 | 0,74 | 0,73 |
| Медиана ($h_1 q_2, h_2 q_1$) | 0,44 | 0,53 | 0,66 | 0,70 | 0,70 |
| Оптимум ($h_1 q_2, h_2 q_1$) | 0,71 | | | | |

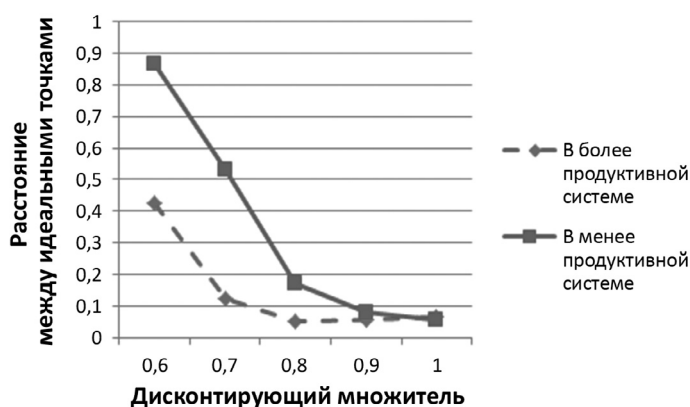
Рисунок 1 Идеальные точки ставки налога в зависимости от дисконтирующего множителя



Во-вторых, медиана идеальных точек пар в продуктивных конфигурациях (они представлены на рис. 1 пунктирными линиями) существенно ближе к оптимуму, чем в низкопродуктивных. Это означает, что при более высокой продуктивности демократия позволяет выработать более близкий к оптимальному экономический курс и тем самым дает меньше экономических поводов для дестабилизации.

В-третьих, в продуктивных системах расстояния между идеальными точками пар значительно меньше (см. рис. 2). Логично считать, что социальное напряжение в системе прямо пропорционально таким расстояниям. Следовательно, с точки зрения социальной стабильности в системах с более высокой продуктивностью процесс демократизации должен протекать гораздо успешнее. Кроме того, в условиях, когда позиции социальных групп далеко отстоят друг от друга, медиана утрачивает смысл реального консенсуса и становится механическим решением в духе «ни нашим, ни вашим».

Рисунок 2 Расстояния между идеальными точками в более продуктивной и менее продуктивной системах



Качественно очень близки и результаты численного моделирования для доли бюджетных инвестиций в государственный капитал (см. табл. 2 и рис. 3) и доли трансфертов эффективным производителям (см. табл. 3 и рис. 4).

Таблица 2 Результаты эксперимента для доли бюджетных инвестиций в государственный капитал

| | Дисконтирующий множитель | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Идеальная точка $h_1 q_1$ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Идеальная точка $h_2 q_2$ | 0,39 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Медиана ($h_1 q_1, h_2 q_2$) | 0,69 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Оптимум ($h_1 q_1, h_2 q_2$) | 1 | | | | |

Таблица 2
(продолжение)

| | <i>Дисконтирующий множитель</i> | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|
| | 0,59 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Идеальная точка $h_1 q_2$ | 0,59 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Идеальная точка $h_2 q_1$ | 0,00 | 0,21 | 0,78 | 0,86 | 0,86 |
| Медиана ($h_1 q_2, h_2 q_1$) | 0,30 | 0,59 | 0,89 | 0,93 | 0,93 |
| Оптимум ($h_1 q_2, h_2 q_1$) | 1 | | | | |

Рисунок 3 Идеальные точки доли бюджетных инвестиций в зависимости от дисконтирующего множителя

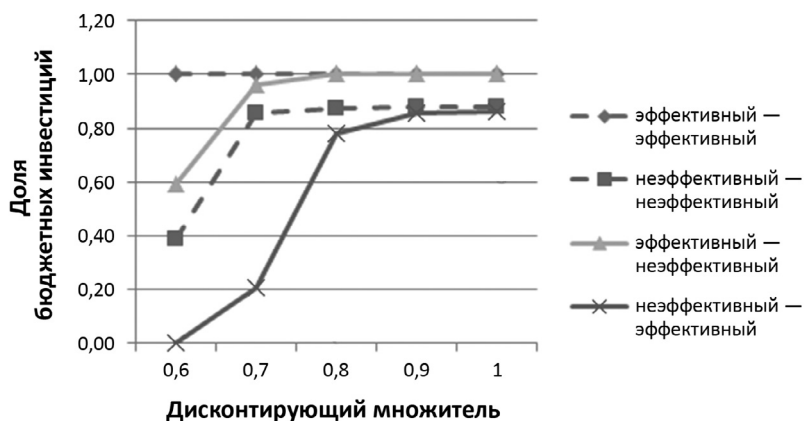
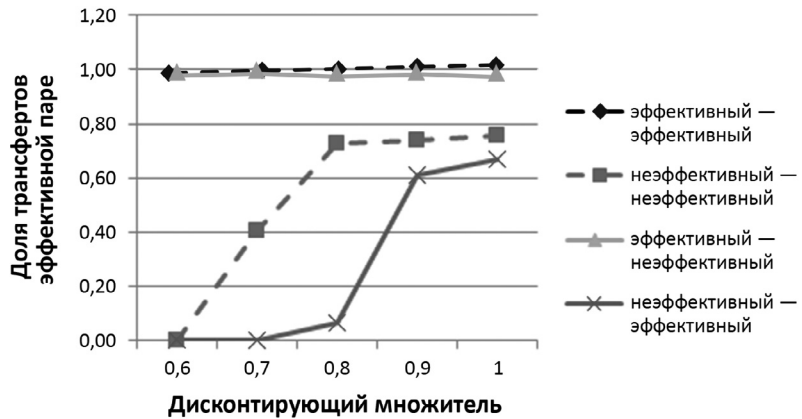


Таблица 3 Результаты эксперимента для доли трансфертов эффективному производителю

| | <i>Дисконтирующий множитель</i> | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|
| | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Идеальная точка $h_1 q_1$ | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Идеальная точка $h_2 q_2$ | 0,00 | 0,40 | 0,73 | 0,74 | 0,76 |
| Медиана ($h_1 q_1, h_2 q_2$) | 0,49 | 0,70 | 0,86 | 0,87 | 0,88 |
| Оптимум ($h_1 q_1, h_2 q_2$) | 1 | | | | |
| Идеальная точка $h_1 q_2$ | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Идеальная точка $h_2 q_1$ | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,61 | 0,67 |
| Медиана ($h_1 q_2, h_2 q_1$) | 0,49 | 0,50 | 0,53 | 0,80 | 0,82 |
| Оптимум ($h_1 q_2, h_2 q_1$) | 1 | | | | |

Рисунок 4 Идеальные точки доли трансфертов эффективному производителю в зависимости от дисконтирующего множителя



Итак, построенные модели показывают, что TFP, понимаемая как возможность образовывать эффективные кооперации индивидов и/или фирм:

- увеличивает общий объем богатства общества (эмпирически — ВВП на душу населения) при том же суммарном объеме человеческого капитала;
- способствует консолидации демократии через снижение социальной напряженности и улучшение работы демократического механизма выбора экономической политики.

Итоги анализа математической модели позволяют сформулировать гипотезу, что *более высокий уровень производительности способствует выживанию демократии*. Попытаемся протестировать ее на эмпирическом материале.

Выживаемость демократий: эмпирическое исследование

²⁸ Lührmann, Lindberg, and Tannenber 2017.

При проведении эмпирического исследования мы опирались на опубликованную в 2017 г. базу *Regimes in the World (RIW)*²⁸, включающую в себя данные по политическим режимам в 177 странах с 1900 по 2016 г. Главной особенностью RIW является деление политических режимов на четыре категории: закрытые автократии, электоральные автократии, электоральные демократии и либеральные демократии. В закрытых автократиях отсутствуют конкурентные выборы главы исполнительной власти, в электоральных автократиях такие выборы проводятся, но с нарушениями и минимальным уровнем политической конкуренции. Принадлежность режима к демократиям определяется наличием свободных выборов и политической конкуренции; в либеральной демократии эти характеристики сочетаются с защитой индивидуальных прав граждан и ограничением прерогатив исполнительной

²⁹ *Ibid.*: 7. ветви власти²⁹. Оценка режимов осуществляется на основе показателей базы *Varieties of Democracy (V-Dem)*: индекс электоральной демократии (V-Dem Electoral Democracy Index) отделяет демократии от автократий и делит автократии на два класса; индекс либеральной составляющей (V-Dem Liberal Component Index) отделяет либеральные демократии от электоральных³⁰.

³⁰ *Ibid.*: 8—10.

Для вычисления зависимой переменной мы присвоили категориям политических режимов RIW значения от 1 до 4 (по возрастанию уровня демократичности). Страна признавалась идущей по пути демократизации, если в течение последних 13 лет значение демократичности ее режима повышалось. Понижение этого показателя у страны, ранее продвигавшейся по пути демократизации, квалифицировалось как срыв демократизации. Если в течение последних 13 лет значение демократичности режима в стране, в прошлом находившейся на треке демократизации, не повышалось, процесс демократизации считался окончившимся (но не сорванным). Важно отметить, что окончание процесса демократизации не обязательно означает достижение страной уровня либеральной демократии, речь идет лишь о завершении конкретного эпизода демократизации.

В зависимости от спецификации модели в рассмотрение попали от 146 до 196 эпизодов демократизации (с 1960 по 2015 г.), в том числе от 60 до 90 случаев ее срыва.

Ключевая независимая переменная — TFP — измерена методом оболочечного (envelopment) анализа³¹.

Контрольные переменные включали в себя структурные факторы — зависимость от экспорта энергоносителей, уровень этнической и религиозной фракционализации, а также наличие международного военного конфликта или вооруженного противостояния внутри страны. Зависимость от энергоносителей фиксировалась посредством фиктивной (dummy) переменной, принимающей значение «1» в случае, если доля прибыли от экспорта углеводородов в ВВП превышает 20%³². Расчеты производились на основе данных Всемирного банка³³. Значения переменных этнической и религиозной фракционализации взяты из работы Альберто Алесины и его коллег³⁴. При определении наличия и масштаба вооруженного гражданского или международного конфликта мы опирались на расчеты Центра системного мира³⁵, использовавшего шкалу от 0 до 10, где 0 обозначает отсутствие политического насилия, 1 — спорадические его вспышки, а 10 — полный крах политической системы («Extermination and Annihilation»). Оценки масштаба насилия были переведены нами в фиктивные переменные, отражающие факт наличия конфликта, которые принимают значение «1» при магнитуде больше 0. Конфликты оказывают двойственное влияние на уже идущую демократизацию — с одной стороны, опыт гражданских войн может иметь негативный эффект с точки зрения развития демократических процессов³⁶, с другой стороны, во время войн вероятность ужесточения режима снижается.

³¹ Описание этого метода см. Akhremenko, Petrov, and Yureskul 2017.

³² Согласно сравнительным экономическим исследованиям (см., напр. Venables 2016), 20% является той границей, после достижения которой экспорт ресурсов начинает оказывать структурное влияние на экономику страны.

³³ data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS.

³⁴ Alesina et al. 2003. О дестабилизирующем воздействии этнической и религиозной фракционализации на демократию см. Bernhard, Nordstrom, and Reenock 2001.

³⁵ <http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html>.

³⁶ Simone and Wright 2012.

Для выявления влияния TFP на устойчивость демократизации был применен метод анализа выживаемости (survival analysis). Этот метод в общем случае показывает, во сколько раз повышается или снижается риск наступления некоторого события при увеличении предиктора на единицу при прочих равных условиях. В качестве отклика (failure) использовалась фиктивная переменная, отражающая срыв демократизации. Временным измерением модели выступало число лет с момента начала демократизации.

На первом этапе влияние TFP на выживаемость демократий тестировалось с помощью полупараметрической модели Кокса. Преимуществом этой модели является отсутствие предположений о характере распределения, лежащего в основе функции риска. Модели оценивались в двух вариантах — с кластеризацией ошибок по странам и по конкретным эпизодам демократизации. По техническим причинам в полупараметрические модели не включалась фиктивная переменная, фиксирующая наличие международного военного конфликта.

В случае кластеризации ошибок по странам TFP оказывается значимым предиктором во всех моделях (см. *табл. 4*). С увеличением совокупной производительности факторов производства на 10 процентных пунктов (п.п.) риск схода с трека демократизации приобретает коэффициент 0,690—0,803, то есть снижается в 1,25—1,44 раза.

Таблица 4 Результаты оценки устойчивости демократизаций полупараметрической моделью Кокса с кластеризацией ошибок по стране³⁷

³⁷ В этой и следующих таблицах в скобках приведены значения *p-value*.

| | <i>I.I</i> | <i>II.I</i> | <i>III.I</i> | <i>IV.I</i> |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| TFP+10 п.п. | 0,780* (0,011) | 0,803* (0,033) | 0,690** (0,004) | 0,693** (0,005) |
| Этническая фракционализация | | 3,554* (0,038) | 2,211 (0,208) | 2,172 (0,221) |
| Религиозная фракционализация | | 0,495 (0,160) | 0,340 (0,066) | 0,345 (0,071) |
| Зависимость от экспорта ресурсов | | | 1,939 (0,054) | 1,898 (0,074) |
| Наличие вооруженного гражданского конфликта | | | | 1,249 (0,545) |
| N | 1841 | 1813 | 1464 | 1461 |

* — *p-value*<0,05; ** — *p-value*<0,01; *** — *p-value*<0,001

При кластеризации ошибок по эпизоду демократизации принципиальных отличий не возникает, влияние TFP по-прежнему остается значимым (см. *табл. 5*). Поскольку изменение основания для кластеризации не приводит к изменению результатов, в дальнейшем будут представлены только модели с кластеризацией по странам.

Таблица 5 Результаты оценки устойчивости демократизаций полупараметрической моделью Кокса с кластеризацией ошибок по эпизоду демократизации

| | <i>I.II</i> | <i>II.II</i> | <i>III.II</i> | <i>IV.II</i> |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| TFP+10 п.п. | 0,780* (0,009) | 0,803* (0,029) | 0,690** (0,001) | 0,693** (0,002) |
| Этническая фракционализация | | 3,554* (0,013) | 2,211 (0,211) | 2,172 (0,225) |
| Религиозная фракционализация | | 0,495 (0,118) | 0,340 (0,064) | 0,345 (0,068) |
| Зависимость от экспорта ресурсов | | | 1,939 (0,174) | 1,898 (0,190) |
| Наличие вооруженного гражданского конфликта | | | | 1,249 (0,599) |
| N | 1841 | 1813 | 1464 | 1461 |

* — $p\text{-value} < 0,05$; ** — $p\text{-value} < 0,01$; *** — $p\text{-value} < 0,001$

Параметрические модели открывают больше возможностей для экстраполяции результатов на генеральную совокупность, чем полупараметрические. Главный недостаток подобных моделей, а именно необходимость предполагать некое распределение в основе опорной функции риска, можно преодолеть посредством перебора нескольких вариантов распределения и сравнения получившихся моделей по информационному критерию Акаике (AIC).

Результаты оценки устойчивости демократизаций параметрическими моделями практически не отличаются от полученных при использовании полупараметрической модели. По версии моделей с экспоненциальным распределением в основе опорной функции риска (см. *табл. 6*) с увеличением TFP на 10 п.п. риск схода с трека демократизации приобретает коэффициент 0,719—0,814, то есть снижается в 1,29—1,39 раза. По версии моделей с распределением Вейбулла (см. *табл. 7*) с увеличением TFP на 10 п.п. соответствующий коэффициент составляет 0,684—0,766 (снижение риска в 1,31—1,46 раза), по версии моделей с распределением Гомпертца (см. *табл. 8*) — 0,688—0,800 (снижение риска в 1,25—1,45 раза).

Таблица 6 Результаты оценки устойчивости демократизаций параметрической моделью с экспоненциальным распределением в основе функции риска и кластеризацией ошибок по стране

| | <i>I.III</i> | <i>II.III</i> | <i>III.III</i> | <i>IV.III</i> |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| TFP+ 10 п.п. | 0,789* (0,013) | 0,814* (0,044) | 0,709** (0,005) | 0,724* (0,010) |
| Этническая фракционализация | | 3,641* (0,029) | 2,220 (0,200) | 2,235 (0,199) |
| Религиозная фракционализация | | 0,502 (0,157) | 0,354 (0,060) | 0,354 (0,060) |
| Зависимость от экспорта ресурсов | | | 1,838 (0,090) | 1,772 (0,136) |
| Наличие вооруженного международного конфликта | | | | 0,00000234*** (0,000) |
| Наличие вооруженного гражданского конфликта | | | | 1,288 (0,490) |
| N | 1841 | 1813 | 1464 | 1461 |

* — $p\text{-value} < 0,05$; ** — $p\text{-value} < 0,01$; *** — $p\text{-value} < 0,001$

Таблица 7 Результаты оценки устойчивости демократизаций параметрической моделью с распределением Вейбулла в основе функции риска и кластеризацией ошибок по стране

| | <i>I.IV</i> | <i>II.IV</i> | <i>III.IV</i> | <i>IV.IV</i> |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| TFP+ 10 п.п. | 0,766** (0,009) | 0,792* (0,031) | 0,684** (0,004) | 0,697** (0,007) |
| Этническая фракционализация | | 3,912* (0,032) | 2,282 (0,209) | 2,285 (0,209) |
| Религиозная фракционализация | | 0,490 (0,163) | 0,342 (0,067) | 0,344 (0,068) |
| Зависимость от экспорта ресурсов | | | 1,985 (0,072) | 1,885 (0,125) |
| Наличие вооруженного международного конфликта | | | | 0,00000334*** (0,000) |
| Наличие вооруженного гражданского конфликта | | | | 1,274 (0,526) |
| N | 1841 | 1813 | 1464 | 1461 |

* — $p\text{-value} < 0,05$; ** — $p\text{-value} < 0,01$; *** — $p\text{-value} < 0,001$

Таблица 8 Результаты оценки устойчивости демократизаций параметрической моделью с распределением Гомпертца в основе функции риска и кластеризацией ошибок по стране

| | <i>I.V</i> | <i>II.V</i> | <i>III.V</i> | <i>IV.V</i> |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| TFP+ 10 п.п. | 0,775* (0,011) | 0,800* (0,035) | 0,688** (0,004) | 0,702** (0,008) |
| Этническая фракционализация | | 3,844* (0,033) | 2,318 (0,202) | 2,317 (0,203) |
| Религиозная фракционализация | | 0,491 (0,163) | 0,340 (0,066) | 0,342 (0,066) |
| Зависимость от экспорта ресурсов | | | 1,960 (0,074) | 1,870 (0,122) |
| Наличие вооруженного международного конфликта | | | | 0,00000327*** (0,000) |
| Наличие вооруженного гражданского конфликта | | | | 1,287 (0,503) |
| N | 1841 | 1813 | 1464 | 1461 |

* — $p\text{-value} < 0,05$; ** — $p\text{-value} < 0,01$; *** — $p\text{-value} < 0,001$

Изменение распределений в основе опорной функции риска не меняет оценки влияния TFP на риск срыва демократизации. Фактически неотличимы модели и по AIC (см. табл. 9). Аналогичные показатели влияния TFP дают и полупараметрические модели. Полученный результат устойчив к смене методов анализа и предикторов.

Таблица 9 Сравнение параметрических моделей по информационному критерию Акаике

| <i>Распределение</i> | <i>I</i> | <i>II</i> | <i>III</i> | <i>IV</i> |
|-----------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| .III Экспоненциальное | 424,6 | 416,2 | 284,9 | 287,4 |
| .IV Вейбулла | 420,3 | 411,8 | 283,3 | 285,9 |
| .V Гомпертца | 425,1 | 416,4 | 285,1 | 287,7 |

Заключение

Дискуссию о том, приводит ли демократия к более высокому уровню жизни, или, наоборот, повышение уровня жизни увеличивает шансы на выживание демократии, иногда называют спором о «курице и яйце». Гипотеза Липсета, развитая Пшеворским, наиболее явно и четко формулирует и аргументирует вторую точку зрения. Используемый в настоящей работе подход вполне соответствует этой гипотезе, но ставит во главу угла не благосостояние граждан, а экономическую продуктивность общественно-экономической системы, инструментально трактуемую как совокупная производительность факторов производства.

Тестирование гипотезы с использованием математической модели и эмпирического исследования подтвердило ее обоснованность. Построенная динамическая модель показала, что при более высокой продуктивности демократия позволяет выработать более близкий к оптимальному экономический курс, а значит, дает меньше экономических поводов для дестабилизации. Другой важный вывод, вытекающий из модели, заключается в том, что с ростом продуктивности системы уменьшается дистанция между предпочтительными для различных групп параметрами перераспределения, а тем самым — и острота конфликта относительно политического курса. Эмпирическое исследование, включавшее в себя 196 эпизодов демократизации с 1960 по 2015 г., обнаружило, что повышение TFP приводит к существенному снижению вероятности срыва демократизации. Результаты эмпирического анализа оказались значимыми и устойчивыми к изменению спецификации модели и состава предикторов.

Библиография

Acemoglu D. and J.A. Robinson. (2006) *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*. New York: Cambridge University Press.

Agranov M. and T. Palfrey. (2015) «Equilibrium Tax Rates and Income Redistribution: A Laboratory Study» // *Journal of Public Economics*, vol. 130: 45—58.

Ahlquist J.S. and E. Wibbels. (2012) «Riding the Wave: World Trade and Factor-Based Models of Democratization» // *American Journal of Political Science*, vol. 56, no. 2: 447—64.

Akhremenko A.S., A. Petrov, and E. Yureskul. (2017) *TFP Estimates and Frontier-generated Production Function: A New Dataset for Political Science* (NRU Higher School of Economics. Series PS «Political Science». No. WP BRP 54/PS/2017). URL: <https://wp.hse.ru/data/2017/12/01/1161681939/54PS2017.pdf> (accessed 15.05.2018).

Alesina A., A. Devleeschauwer, W. Easterly, S. Kurlat, and R. Wacziarg. (2003) «Fractionalization» // *Journal of Economic Growth*, vol. 8, no. 2: 155—94.

Bernhard M., T. Nordstrom, and Ch. Reenock. (2001) «Economic Performance, Institutional Intermediation, and Democratic Survival» // *The Journal of Politics*, vol. 63, no. 3: 775—803.

Boix C. and S.Stokes. (2003) «Endogenous Democratization» // *World Politics*, vol. 55, July: 517—549. URL: <https://www.princeton.edu/~cboix/endogenous%20democratization%20-%20world%20politics.pdf> (accessed 24.05.2018).

Dietrich S. and J.Wright. (2012) *Foreign Aid and Democratic Development in Africa*. United Nations University working paper no. 2012/20. URL: <http://www.personal.psu.edu/jgw12/blogs/josephwright/Dietrich%20Wright%20OUP%20Ch3.pdf> (accessed 24.04.2018).

Dunning Th. (2008) *Crude Democracy: Natural Resource Wealth and Political Regimes*. Cambridge. Cambridge University Press.

Epstein D., R.Bates, J.Goldstone, I.Kristensen, and Sh.O'Halloran. (2006) «Democratic Transitions» // *American Journal of Political Science*, vol. 50, no. 3: 551—569.

Fish M. and M.Kroenig. (2006) «Diversity, Conflict and Democracy: Some Evidence from Eurasia and East Europe» // *Democratization*, vol. 13, no. 5: 828—42.

Fukuyama F. (1992) *The End of History and the Last Man*. New York: Penguin.

Gasiorowski M.J. (1995) «Economic Crisis and Political Regime Change: an Event History Analysis» // *American Political Science Review*, vol. 89, no. 4: 882—97.

Graham B., M.Miller, and K.Strom. (2017) «Safeguarding Democracy: Powersharing and Democratic Survival» // *American Political Science Review*, vol. 111, no. 4: 686—704.

Gundlach E. and M.Paldam. (2009) «A Farewell to Critical Junctures: Sorting out Long-run Causality of Income and Democracy» // *European Journal of Political Economy*, vol. 25, no. 3: 340—354.

Haggard S. and R.Kaufman. (2016) «Democratization During the Third Wave» // *Annual Review of Political Science*, vol. 19, no. 1: 125—144.

Jacobsen J. (2015) «Revisiting the Modernization Hypothesis: Longevity and Democracy» // *World Development*, vol. 67, November: 174—185.

Jeitschko T., J.Linz, J.Noguera, and A.Semykina. (2014) «Economic Security and Democratic Capital: Why Do Some Democracies Survive and Others Fail?» // *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, vol. 50, June: 13—28.

Kremer M. and E.Maskin. (1996) *Wage Inequality and Segregation by Skill*. NBER working paper 5718. URL: <http://www.nber.org/papers/w5718> (accessed 24.04.2018).

Kremer M. and E.Maskin. (2007) *Globalization and Inequality*. HSE Preprint WP7/2007/01. URL: <https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/77912191> (accessed 24.04.2018).

Lipset S. (1959) «Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy» // *American Political Science Review*, vol. 53, no. 1: 69—105.

Lührmann A., S.I.Lindberg, and M.Tannenber. (2017) *Regimes in the World (RIW): A Robust Regime Type Measure Based on V-Dem*. V-Dem

Institute Working Paper Series 2017:47. URL: https://www.v-dem.net/media/filer_public/8b/c9/8bc9f1c8-0df2-4ea4-b46d-81539c791aad/v-dem_working_paper_2017_47.pdf (accessed 24.04.2018).

North D.C., J.J.Wallis, and B.R.Weingast. (2009) *Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Paxton P. (2002) «Social Capital and Democracy: An Interdependent Relationship» // *American Sociological Review*, vol. 67, no. 2: 254—277.

Persson T. and G.Tabellini. (2009) «Democratic Capital: the Nexus of Political and Economic Change» // *American Economic Journal: Macroeconomics*, vol. 1, no. 2: 88—126.

Przeworski A. (2004) «Democracy and Economic Development» // Mansfield E.D. and R.Sisson, eds. *Political Science and the Public Interest*. Columbus: Ohio State University Press.

Przeworski A. (2005) «Democracy as an Equilibrium» // *Public Choice*, vol. 123, no. 3—4: 253—273.

Przeworski A. and F.Limongi. (1997) «Modernization: Theories and Facts» // *World Politics*, vol. 49, no. 2: 155—183.

Przeworski A., M.Alvarez, J.A.Cheibub, and F. Limongi. (2000). *Democracy and Development: Political Regimes and Material Welfare in the World, 1950—1990*. New York: Cambridge University Press.

Reenock Ch., J.Staton, and M.Radean. (2013) «Legal Institutions and Democratic Survival» // *The Journal of Politics*, vol. 75, no. 2: 491—505.

Rothstein B. and J.Teorell. (2008) «What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions» // *Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions*, vol. 21, no. 2: 165—190.

Ryvkin D. and A.Semykina. (2017) «An Experimental Study of Democracy Breakdown, Income and Inequality» // *Journal of Experimental Economics*, vol. 20, no. 2: 420—447.

Staffan A., I.Lindberg, and M.Tannenber (2017) *Regimes in the World (RIW): A Robust Regime Type Measure Based on V-Dem*. V-Dem working paper no. 47. URL: https://www.v-dem.net/media/filer_public/8b/c9/8bc9f1c8-0df2-4ea4-b46d-81539c791aad/v-dem_working_paper_2017_47.pdf (accessed 24.04.2018).

Stockemer D. and B.Carbonetti. (2010) «Why Do Richer Democracies Survive? The Non-effect of Unconventional Political Participation» // *The Social Science Journal*, vol. 47, no. 2: 237—251.

Svolik M. 2008. «Authoritarian Reversals and Democratic Consolidation» // *American Political Science Review*, vol. 102, no. 2: 153—168.

Venables A. 2016. «Using Natural Resources for Development: Why Has It Proven So Difficult?» // *Journal of Economic Perspectives*, vol. 30, no. 1: 161—184.



A.S.Akhremenko, A.P.Ch.Petrov, I.B.Philippov
DEMOCRATIC SURVIVAL AND STABILITY:
FROM LIPSET HYPOTHESIS
TO ECONOMIC PRODUCTIVITY

Andrei S. Akhremenko — Doctor of Political Science; Professor at the Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, National Research University *Higher School of Economics*. Email: aakhremenko@hse.ru.

Alexander P.Ch. Petrov — Doctor of Physics and Mathematics, Leading Researcher at Keldysh Institute of Applied Mathematics. Email: petrov.alexander.p@yandex.ru.

Ilya B. Philippov — Student of Master's Program *Applied Politics*, National Research University *Higher School of Economics*. Email: ibphilippov@gmail.com.

Abstract. This article is devoted to the analysis of the impact of economic development on the survival of democratic regimes and success of the processes of democratization. The study is based on the hypothesis proposed by S.M.Lipset and further elaborated by A.Przeworski that the growth of social welfare leads to the broadening of a “compromise space” and convergence of different interest groups’ preferences over the redistribution of resources, which in its turn mitigates conflict over the political course. Based on Lipset’s and Przeworski’s ideas, the authors build a mathematical model that illustrates how social capital (more precisely — its component responsible for building trust among strangers) and institutional quality allow for the stabilization of democratic regimes, through the increase of economic productivity and growth of welfare. According to the predictions of the model, total factor productivity (TFP), defined as the opportunity of individuals and/or firms to cooperate efficiently, increases the overall wealth of the society and fosters the consolidation of democracy by reducing social tensions and improving the mechanism of economic policy elaboration.

On the basis of the mathematical model, the authors derive a hypothesis that higher levels of TFP increase chances of democratic survival. They test the hypothesis on the extensive empirical dataset using survival analysis method. The results show that TFP is a statistically significant and strong predictor of a probability of democratic failure. On average, *ceteris paribus*, the increase in TFP by 10 percentage points reduces the risk of democratization failure by 1.2–1.4 times. The obtained results are robust to different model specifications and control variables.

Keywords: total factor productivity, social capital, political stability, democratization, political regime

References

- Acemoglu D. and J.A.Robinson. (2006) *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*. New York: Cambridge University Press.
- Agranov M. and T.Palfrey. (2015) "Equilibrium Tax Rates and Income Redistribution: A Laboratory Study" // *Journal of Public Economics*, vol. 130: 45—58.
- Ahlquist J.S. and E.Wibbels. (2012) "Riding the Wave: World Trade and Factor-Based Models of Democratization" // *American Journal of Political Science*, vol. 56, no. 2: 447—64.
- Akhremenko A.S., A.Petrov, and E.Yureskul. (2017) *TFP Estimates and Frontier-generated Production Function: A New Dataset for Political Science* (NRU Higher School of Economics. Series PS "Political Science". No. WP BRP 54/PS/2017). URL: <https://wp.hse.ru/data/2017/12/01/1161681939/54PS2017.pdf> (accessed 15.05.2018).
- Alesina A., A.Devleeschauwer, W.Easterly, S.Kurlat, and R.Wacziarg. (2003) "Fractionalization" // *Journal of Economic Growth*, vol. 8, no. 2: 155—94.
- Bernhard M., T.Nordstrom, and Ch.Reenock. (2001) "Economic Performance, Institutional Intermediation, and Democratic Survival" // *The Journal of Politics*, vol. 63, no. 3: 775—803.
- Boix C. and S.Stokes. (2003) "Endogenous Democratization" // *World Politics*, vol. 55, July: 517—549. URL: <https://www.princeton.edu/~cboix/endogenous%20democratization%20-%20world%20politics.pdf> (accessed 24.05.2018).
- Dietrich S. and J.Wright. (2012) *Foreign Aid and Democratic Development in Africa*. United Nations University working paper no. 2012/20. URL: <http://www.personal.psu.edu/jgw12/blogs/josephwright/Dietrich%20Wright%20OUP%20Ch3.pdf> (accessed 24.04.2018).
- Dunning Th. (2008) *Crude Democracy: Natural Resource Wealth and Political Regimes*. Cambridge. Cambridge University Press.
- Epstein D., R.Bates, J.Goldstone, I.Kristensen, and Sh.O'Halloran. (2006) "Democratic Transitions" // *American Journal of Political Science*, vol. 50, no. 3: 551—569.
- Fish M. and M.Kroenig. (2006) "Diversity, Conflict and Democracy: Some Evidence from Eurasia and East Europe" // *Democratization*, vol. 13, no. 5: 828—42.
- Fukuyama F. (1992) *The End of History and the Last Man*. New York: Penguin.
- Gasiorowski M.J. (1995) "Economic Crisis and Political Regime Change: an Event History Analysis" // *American Political Science Review*, vol. 89, no. 4: 882—97.
- Graham B., M.Miller, and K.Strom. (2017) "Safeguarding Democracy: Powersharing and Democratic Survival" // *American Political Science Review*, vol. 111, no. 4: 686—704.
- Gundlach E. and M.Paldam. (2009) "A Farewell to Critical Junctures: Sorting out Long-run Causality of Income and Democracy" // *European Journal of Political Economy*, vol. 25, no. 3: 340—354.

Haggard S. and R.Kaufman. (2016) "Democratization During the Third Wave" // *Annual Review of Political Science*, vol. 19, no. 1: 125—144.

Jacobsen J. (2015) "Revisiting the Modernization Hypothesis: Longevity and Democracy" // *World Development*, vol. 67, November: 174—185.

Jeitschko T., J.Linz, J.Noguera, and A.Semykina. (2014) "Economic Security and Democratic Capital: Why Do Some Democracies Survive and Others Fail?" // *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, vol. 50, June: 13—28.

Kremer M. and E.Maskin. (1996) *Wage Inequality and Segregation by Skill*. NBER working paper 5718. URL: <http://www.nber.org/papers/w5718> (accessed 24.04.2018).

Kremer M. and E.Maskin. (2007) *Globalization and Inequality*. HSE Preprint WP7/2007/01. URL: <https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/77912191> (accessed 24.04.2018).

Lipset S. (1959) "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy" // *American Political Science Review*, vol. 53, no. 1: 69—105.

Lührmann A., S.I.Lindberg, and M.Tannenber. (2017) *Regimes in the World (RIW): A Robust Regime Type Measure Based on V-Dem*. V-Dem Institute Working Paper Series 2017:47. URL: https://www.v-dem.net/media/filer_public/8b/c9/8bc9f1c8-0df2-4ea4-b46d-81539c791aad/v-dem_working_paper_2017_47.pdf (accessed 24.04.2018).

North D.C., J.J.Wallis, and B.R.Weingast. (2009) *Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Paxton P. (2002) "Social Capital and Democracy: An Interdependent Relationship" // *American Sociological Review*, vol. 67, no. 2: 254—277.

Persson T. and G.Tabellini. (2009) "Democratic Capital: the Nexus of Political and Economic Change" // *American Economic Journal: Macroeconomics*, vol. 1, no. 2: 88—126.

Przeworski A. (2004) "Democracy and Economic Development" // Mansfield E.D. and R.Sisson, eds. *Political Science and the Public Interest*. Columbus: Ohio State University Press.

Przeworski A. (2005) "Democracy as an Equilibrium" // *Public Choice*, vol. 123, no. 3—4: 253—273.

Przeworski A. and F.Limongi. (1997) "Modernization: Theories and Facts" // *World Politics*, vol. 49, no. 2: 155—183.

Przeworski A., M.Alvarez, J.A.Cheibub, and F. Limongi. (2000). *Democracy and Development: Political Regimes and Material Welfare in the World, 1950—1990*. New York: Cambridge University Press.

Reenock Ch., J.Staton, and M.Radean. (2013) "Legal Institutions and Democratic Survival" // *The Journal of Politics*, vol. 75, no. 2: 491—505.

Rothstein B. and J.Teorell. (2008) "What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions" // *Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions*, vol. 21, no. 2: 165—190.

Ryvkin D. and A.Semykina. (2017) “An Experimental Study of Democracy Breakdown, Income and Inequality” // *Journal of Experimental Economics*, vol. 20, no. 2: 420—447.

Staffan A., I.Lindberg, and M.Tannenberg (2017) *Regimes in the World (RIW): A Robust Regime Type Measure Based on V-Dem*. V-Dem working paper no. 47. URL: https://www.v-dem.net/media/filer_public/8b/c9/8bc9f1c8-0df2-4ea4-b46d-81539c791aad/v-dem_working_paper_2017_47.pdf (accessed 24.04.2018).

Stockemer D. and B.Carbonetti. (2010) “Why Do Richer Democracies Survive? The Non-effect of Unconventional Political Participation” // *The Social Science Journal*, vol. 47, no. 2: 237—251.

Svolik M. 2008. “Authoritarian Reversals and Democratic Consolidation” // *American Political Science Review*, vol. 102, no. 2: 153—168.

Venables A. 2016. “Using Natural Resources for Development: Why Has It Proven So Difficult?” // *Journal of Economic Perspectives*, vol. 30, no. 1: 161—184.



полития

А. Н. Медушевский ПОПУЛИЗМ И КОНСТИТУЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И РОССИЯ¹

¹ Статья подготовлена на основе доклада, представленного автором на апрельской 2018 г. конференции НИУ ВШЭ и отражающего результаты исследовательского проекта № 17-01-0048, осуществляемого в рамках программы «Научный фонд Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» в 2017–2018 гг. и государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».

Андрей Николаевич Медушевский — доктор философских наук, ординарный профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (факультет социальных наук). Для связи с автором: amedushevsky@mail.ru.

Аннотация. Статья посвящена анализу вклада популизма как феномена общественных настроений в динамику новейших конституционных преобразований в Восточной Европе, на постсоветском пространстве и в России. Проведенное автором исследование показывает, что во всех странах рассмотренного ареала популизм дал толчок процессам конституционной ретрадиционализации, затронувшим такие сферы, как международное и национальное право, конституционная идентичность, суверенитет, формы правления, конституционное правосудие.

Механизмы конституционной ретрадиционализации, которые задействует популизм, повсюду связаны с отказом от принципов идеологического плюрализма и политической нейтральности конституционного правосудия. Но используемые в разных странах методы варьируют, охватывая весь спектр технологий конституционной ревизии — от «консервативной революции» путем созыва конститутанты или проведения национального референдума до изменения преамбул конституций, внесения конституционных поправок, судебного толкования, а также широкого набора экстраконституционных механизмов. Выбор конкретной технологии или их комбинации определяется уровнем социальной поддержки популистских сил и степенью их контроля над властными институтами.

Функции восточноевропейского, постсоветского и российского популизма различны: в первом случае это способ аккумуляции протеста против несовершенных институтов, во втором — форма борьбы за установление правил игры, в третьем — мобилизация в поддержку действующего режима, средство его легитимации. В Восточной Европе конституционный популизм служит инструментом достижения власти, в постсоветском регионе — ее перераспределения, в России — сохранения. Отталкиваясь от этих различий, автор выделяет три варианта конституционного популизма —

«демократический» (Восточная Европа), «олигархический» (постсоветский регион) и «плебисцитарный», контролируемый и направляемый самой властью (Россия).

Ключевые слова: популизм, конституционные преобразования, конституционная ретрадиционализация, Восточная Европа, постсоветское пространство, Россия

Популизм не идеология, а система социально-психологических установок, предполагающих особый тип реакции общества и элиты на быстрые и раздражающие социальные изменения, форма их психологического освоения и преодоления (метод, стиль, технология). Это тип негативной (протестной) социальной мобилизации, возникающей в результате кризиса завышенных общественных ожиданий в условиях эрозии привычной социальной идентичности².

² Кроуфорд,
Макаренко
и Петров (ред.)
2018.

При таком понимании феномена популизма в качестве основных его элементов должны рассматриваться:

- кризис идентичности (ситуация когнитивного диссонанса);
- идеологическая аморфность (гибридные идеологические конструкции и произвольное изменение их содержания);
- появление некоего мифа, способного аккумулировать энергию социального протеста;
- спонтанность массового движения и ограниченная способность традиционных элит противостоять ему в рамках существующих системных правил;
- эскалация завышенных социальных ожиданий (предполагающих немедленное осуществление популистских лозунгов);
- выраженные признаки негативной социальной мобилизации (давление масс на институты);
- общая деструктивная ориентация на разрушение доминирующих ценностей и принципов правовой системы;
- эгалитаристская (антиэлитарная) направленность;
- необремененность социальной и исторической ответственностью за свои действия (узкий горизонт планирования);
- непрочность и историческая кратковременность (размывание социальной опоры после прихода к власти по мере рутинизации харизмы, то есть столкновения мифа и политической реальности)³.

³ Подробнее см.
Медушевский 2017:
28—29.

Социальные предпосылки нарастания популистских тенденций связаны с общими процессами глобализации, информатизации и конфликтом культурных стереотипов. Кризис Европейского союза 2014 г., показавший непрочность достижений периода посткоммунистического транзита, позволяет говорить об эрозии либерального порядка, конфликте легитимности и законности и конституционной ретрадиционализации практически во всех странах региона. Проявлениями популистского тренда стали рост консервативных настроений, критика

осуществленных ранее либеральных преобразований, евроскептицизм, поиск новой политической и правовой идентичности и приход к власти популистских сил, целенаправленно проводящих конституционные контрреформы. Содержание данного тренда квалифицируется нами как ретрадиционализация — процесс, ведущий к отказу от заложенной в действующих конституциях интерпретации ценностей, принципов и норм правовой системы, их полной или частичной ревизии и в перспективе направленный на их замещение ценностями, принципами и нормами, заимствованными из предшествующей политико-правовой традиции.

Основная цель настоящей статьи — выяснить вклад популизма как феномена общественных настроений в динамику новейших конституционных преобразований в Восточной Европе, странах постсоветского региона и России.

Правовая программа популизма

⁴ *Dobner and Loughlin (eds.) 2010.*

Правовая программа популизма отражает ситуацию кризиса правовой системы — утраты конституциями своей легитимности, неспособности политических сил договориться о смысле установленных принципов и норм и, главное, усиливающегося расхождения конституционных принципов и реальности⁴. Элементами этой программы являются переустройство существующего политико-правового порядка посредством возвращения к традиции, восстановления национального суверенитета и «национальной правовой идентичности», преодоление разрыва между представлениями о справедливости и позитивным правом, адаптация последнего к изменившейся социальной реальности, пересмотр принципов, норм и институтов с позиций «национального возрождения» и (в крайних вариантах) изменение политического режима и состава правящих элит⁵.

⁵ *Алферова и Умнова (ред.) 2013.*

Можно констатировать, что даже в наиболее развитых странах общество оказалось плохо подготовлено к новым спонтанным вызовам — доминирующие на уровне идеологии ценности прав человека не получили адекватной практической реализации (следствием чего неминуемо стало «лицемерие»); правовая система не содержала надежных защитных механизмов, которые бы блокировали давление на нее со стороны традиционалистски мотивированных массовых протестных движений; сложившаяся система политической конкуренции и многопартийности не позволяла элиминировать (во всяком случае, в достаточной мере) влияние партий, отстаивающих антилиберальные ценности; элиты не сумели своевременно предложить эффективные способы выхода из кризиса⁶.

⁶ *Sajo and Uitz 2017.*

Перечисленные проблемы наиболее остро ощущаются в тех регионах мира, где либеральная демократия только начала реализовываться. Но если популизм, как считают многие, есть «побочное дитя демократии», то возможен ли он в странах, лишь вступающих на путь демократического развития, и каковы в этом случае специфика его конституционной программы и ее ожидаемый социальный эффект? В поиске

ответов на эти вопросы целесообразно обратиться к сравнительному анализу новейших конституционных преобразований в Восточной Европе, на постсоветском пространстве и в России.

Популизм — главный противник либерального конституционализма в современном обществе. Ключевая особенность феномена, определяемого в литературе как «конституционный популизм», «популистский конституционализм», «конституционные изменения популистской направленности» и т.п., — такое прочтение конституционных норм, которое не просто не вытекает из ценностей либеральной демократии, но, напротив, ведет к ее эрозии, резкому или постепенно «вымыванию» ее основных принципов и гарантий их реализации⁷. Сопоставление различных форм конституционного популизма важно не только для выявления его общих и особенных черт, идеологических и политических проявлений, но и для изучения возможностей эффективного противодействия ему.

Классификация конституционных преобразований (и соответствующих проектов) по географическому, хронологическому и содержанию параметрам позволяет зафиксировать ряд тем, общих для всех посткоммунистических государств. Это поиск нового конституционного выражения идентичности в меняющемся мире; ревизия концепции прав человека под натиском национализма и евроскептицизма; корректировка форм правления и разделения властей; изменение места конституционного правосудия; законодательные изменения, связанные с дисфункцией политических режимов; механизмы и технологии конституционных контрреформ, границы их осуществления.

**Процессы
конституционной
ретрадици-
нализации
в Восточной
Европе**

Концентрированным выражением консервативного тренда является повестка конституционных преобразований в Восточной Европе, которые можно определить как контрреформы. Ими оказались затронуты все значимые аспекты конституционно-правового регулирования: глобальный контекст (место региона в интеграционных и дезинтеграционных процессах); ценности конституционализма и его основные принципы; масштаб и ключевые направления конституционного пересмотра; глубина ревизии действующих конституций; политические силы, инициирующие контрреформы (механизмы их прихода к власти и способы ее удержания); институты и технологии конституционной трансформации; достигнутые результаты и общественная реакция на них⁸.

Темами контрреформ в Восточной Европе становятся те вопросы, которые вызывают наибольшее раздражение массового сознания, порождая социальную агрессию. Прежде всего речь идет о поиске нового конституционного выражения традиции во имя возрождения так называемой правовой идентичности (толчком к которому послужил кризис Евросоюза 2014 г.), об общей ретроспективной ориентации конституционных приоритетов, о преобладании консервативно-популистских

⁷ *Diani 2013: 27.*

⁸ *Медушевский 2018а.*

⁹ См. Михалева
(ред.) 2015.

идей над либеральными — и оценке этого сдвига правительствами как собственного достижения⁹.

Консервативный тренд нашел выражение в закреплении в конституциях и законодательстве конфессиональных приоритетов и подчеркнутом постулировании христианских ценностей (в противовес принципу нейтральности государства в отношении религии) с параллельным ограничением ряда свобод, в том числе свободы совести и слова (включение в Конституцию Венгрии положений о защите религиозных сообществ от «речей ненависти» и праве частных лиц оспаривать в судебном порядке церковные акты). Другим его проявлением следует считать конституционную защиту традиционной семьи и семейных ценностей (принятие в 2013—2017 гг. в Словакии, Венгрии, Польше, Румынии, Латвии, Литве и Хорватии конституционных поправок, признающих супружеством исключительно союз мужчины и женщины).

Наиболее яркой манифестацией консервативного поворота стало правовое закрепление национализма вплоть до идеи «коллективной правосубъектности народа» (Венгрия), объединяемого исторической традицией, духовными чертами, языком и даже кровным родством, что предполагает защиту прав нации независимо от страны проживания (не отдельных граждан, а именно этноса как целого)¹⁰. Пересмотр понятий «народ» и «нация» с акцентом на последнем (Венгрия, Польша, Румыния, Прибалтика) означал вытеснение гражданской трактовки нации этнической (или этнографической). Показательна корректировка конституционных преамбул в Эстонии (2007 г.) и Латвии (2014 г.): в первом случае в преамбуле конституции целью государства объявлялось сохранение эстонского народа и его языка, во втором — обеспечение существования и развития «латышской нации, культуры и языка», что ставит под удар права русскоязычного населения.

¹⁰ Соломатина
2013.

Отчетливо просматривается тенденция к законодательному пересмотру отношения к национальным меньшинствам — поддержке родственных этнических групп за границей (этнических мадьяр за пределами Венгрии, румын в Бессарабии, сербов в Косово, албанцев в Македонии) и попыткам ограничить права меньшинств внутри страны (цыган в Венгрии, мадьяр в Румынии, «неграждан» в странах Балтии). Актуализируются проблемы регионального развития и регионализации. Обращает на себя внимание отход государств Восточной Европы от установок ЕС по вопросам миграции (референдум 2016 г. в Венгрии с целью заблокировать прием мигрантов, ограничительное законодательство об иностранцах и их трудоустройстве в Венгрии, Польше, Чехии, Румынии).

Особую остроту приобретают проблемы идентичности разделенных государств, устойчивости их границ, закреплённых международными соглашениями, поддержания этнического баланса на основе международного и конституционного права. Прежде всего это касается балканских стран — Боснии и Герцеговины (Дейтонские соглашения), Македонии (Охридские соглашения), Сербии, где при любой

¹¹ *Korenica and Doli*
2010.

конституционной ревизии встает вопрос о включенном в преамбулу положении, квалифицирующем Косово как сербскую территорию, и самого Косово, где изменение конституции упирается в необходимость поддержки его законодателями, представляющими этнических сербов¹¹. Потенциал конституционных кризисов в разделенных нациях остается очень высоким (как, например, в Македонии, само название которой до недавнего времени оспаривалось рядом соседних государств, а против достигнутого в июне 2018 г. компромисса продолжают выступать многие внутренние политические силы).

¹² *См. Сальвиа*
2004.

В целом можно говорить о заявке на пересмотр позиции этих государств в отношении международного права (выдвижение жестких трактовок суверенитета и гипертрофированное отстаивание его в ЕС, отказ от безоговорочного принятия положений учредительных документов Евросоюза, Европейской хартии прав человека и решений ЕСПЧ¹²). Характерным внешним выражением таких устремлений выступает изменение названия государства (переименование Республики Венгрии в Венгрию, предложения о переименовании Польши в Речь Посполитую, а Румынии — в Дакию, споры о названии Македонии и связанные с этим вопросы границ и территориальных претензий).

С точки зрения масштабов и глубины реставрационных процессов последнего десятилетия страны Восточной Европы можно разделить на четыре основные группы:

- 1) Венгрия и Польша — страны, где имел место наиболее выраженный демократический транзит и не менее выраженный пересмотр его результатов, а процесс корректировки предшествующих либеральных конституционных норм достиг наибольших масштабов (новая Конституция Венгрии 2012 г., проект новой конституции Польши);
- 2) Чехия, Румыния, Болгария, Словения и Хорватия, где процессы ретрадиционализации проявлялись не столько в прямом пересмотре конституционных норм, сколько в общей корректировке законодательства с позиций евроскептицизма, а также в политических кризисах и связанных с ними институциональных реформах;
- 3) страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва) с обществом, разделенным по национальному признаку, где конституционная ретрадиционализация проходила в основном в форме «ползучей ревизии» (внесение изменений в преамбулы конституций и законодательство).
- 4) балканские страны (Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, Македония, Черногория) с обществом, разделенным по национально-этническому и конфессиональному признаку, где попытки консервативного пересмотра конституций сдерживаются опасением утратить достигнутый конфессионально-этнический баланс.

**Изменения
политической
системы:
корректировки
принципа
разделения властей
в Восточной
Европе**

¹³ Орлик и Куликова (ред.) 2016: 170—176.

Объектами популистского конституционного пересмотра становятся также политическая система, разделение властей, трактовка парламентаризма и функций политических институтов. Как правило, речь идет об электоральном ответе на ослабление легитимности действующих режимов¹³.

Представлено несколько ситуаций поиска баланса:

- 1) достижение механической стабильности посредством утверждения доминирующего положения популистской партии (или коалиции партий) в парламенте с последующим установлением контроля над другими ветвями власти и изменением конституции (Венгрия, 2012 г.) или конституционного законодательства (Польша, 2015—2018 г.);
- 2) воспроизводство политической нестабильности (перманентного конфликта между парламентом, правительством, президентом) и соответствующие проекты политических реформ, окрашенные популистскими ожиданиями. В Болгарии это кризис («переворот») 2016 г. — роспуск парламента и правительства, имевший следствием создание крайне непрочной партийной коалиции, неспособной решить стоящие перед страной проблемы. В Румынии — кризис 2012 г., несостоявшийся импичмент президенту (2014 г.), попытка принятия конституционных поправок на референдуме (2015 г.), конфликт между парламентом и правительством по вопросам реформы уголовного законодательства (2017 г.);
- 3) разнонаправленные попытки внести изменения в установленные ранее формы правления в интересах доминирующих политических сил (отказ от двухпалатного парламента и сокращение президентских полномочий в Хорватии в 2001 г.; введение всенародных выборов президента в Чехии в 2012 г.; современные дискуссии об изменении формы правления в Польше и Румынии; обсуждение вопроса о переходе к избранию президента не парламентом, а населением или электоральной коллегией в Латвии). Для всех стран Вышеградской группы характерны попытки скорректировать распределение властных полномочий, связанные со стремлением преодолеть политическую апатию и нестабильность, повысить легитимность власти или конституционно закрепить позиции правящих популистских партий¹⁴.

¹⁴ Шишелина (ред.) 2010: 554—557.

¹⁵ Проблемы конституционализма 2014.

Особого внимания заслуживает тенденция к эрозии конституционного правосудия — ослаблению независимости и снижению роли конституционных судов. Проблема независимости конституционных судов — центральная при определении соотношения реформ и контрреформ¹⁵. В целом возможны три варианта реакции конституционных судов на популистские законодательные инициативы: суды эффективно противостоят популизму (именно так обстояло дело в странах региона во время «демократического транзита»); суды дистанцируются от происходящих процессов, делегируя решение «судьбоносных вопросов» парламентам, а фактически — правящим коалициям (Болгария и Румыния периода парламентских кризисов); суды сами становятся

проводниками популистских настроений (Венгрия, Польша и Румыния в условиях «правого поворота»).

Наиболее яркое проявление данного тренда — популистское перерождение Конституционного суда Венгрии. Конституция 2012 г. и последующие поправки в нее ограничили прерогативы этого органа (в частности, лишив его права отклонять законы, вносящие изменения в конституцию, в случае принятия их квалифицированным большинством в 2/3 депутатов парламента), его независимость (были аннулированы все решения КС, принятые до 2012 г.) и место в структуре власти (с параллельным расширением полномочий Верховного суда и прокуратуры)¹⁶.

¹⁶ Bogdandy and Sonnevend (eds.) 2015.

Конституционный кризис в Польше, начавшийся в 2015 г., непосредственно связан со стремлением правящей партии положить конец независимости Конституционного трибунала. Судебная контрреформа происходила как на процедурном и кадровом уровне, так и на уровне законодательных ограничений компетенций суда, а ее результаты были закреплены в новом законе о Конституционном трибунале (2016 г.)¹⁷. Это открыло возможность распространения контрреформы на другие значимые области правового регулирования, позволив правящей партии установить контроль над прокуратурой и государственной печатью и ввести ограничения конституционных прав и свобод.

¹⁷ Мрозек и Следзиньска-Симон 2017.

Волна поправок, внесенных в последние годы в конституции стран Восточной Европы под давлением ЕС, призвана обеспечить независимость судов от парламентов (партий и коалиций) или исполнительной власти. Таковы цели масштабных конституционных реформ в Болгарии (2015 г.) и Албании (2015—2016), а также ряда реформ в Сербии. Однако результаты этих реформ пока неочевидны¹⁸. В целом опыт этих стран показывает, что нельзя совместить популистское законодательство с сохранением независимости конституционных судов, которая везде ограничивается ради усиления идеологического доминирования правящих партий и решения текущих проблем.

¹⁸ См. Мильчакова 2014; Беширевич 2016; Jaha and Cabiri 2017.

Систематизация конституционных изменений в Восточной Европе позволяет заключить, что в своем правовом развитии страны региона прошли несколько стадий, вписывающихся в теорию конституционных циклов: 1) закрепление новых ценностей с принятием демократических конституций в 1990-е годы; 2) изменения, вызванные вступлением (или намерением вступить) в ЕС, а также выстраиванием институциональной системы (процесс, в основном завершившийся к началу 2000-х годов); 3) контрреформы, ставящие под вопрос достижения предшествующего периода (последнее десятилетие). Общий эффект новейших поправок оказался, за отдельными исключениями, скорее негативным и не обеспечил демократической стабильности и устойчивого политического развития¹⁹. Налицо лабильность политических режимов и эклектические попытки преодолеть их недееспособность в рамках конституционной ретрадиционализации.

¹⁹ Fruhstorfer and Hein (eds.) 2016.

**Политический
смысл
конституционной
трансформации
на постсоветском
пространстве**

В постсоветском регионе популизм, безусловно, присутствует во всех конституционных инициативах, но обладает заметной спецификой, выступая в качестве средства удержания власти элитами в нестабильных политических системах. Конфликт правовой формы и политического содержания, легитимности и законности, норм и политической практики определяет ситуацию незавершенной государственности. Его выражением в постсоветском регионе становятся, во-первых, поверхностный характер конституционализма (разрыв между нормой и реальностью); во-вторых, общая нестабильность конституционализма (волны конституционных ревизий); в-третьих, эклектичность (стремление к соединению элементов разных моделей), в-четвертых, постоянное экспериментирование с различными формами правления или их модификациями. Констатируя эфемерность конституционализма в регионе, было бы, однако, серьезным упрощением видеть в нем исключительно имитацию, тем более что сама имитация рано или поздно может привести к институционализации новых правил. Речь идет именно об экспериментировании — систематических попытках интегрировать традиционные социальные институты в новые правовые формы и поиске соответствующих инструментов²⁰.

²⁰ Медушевский 2018b.

Перманентная конституционная лихорадка, овладевшая постсоветскими странами, далека от завершения. В этой перспективе особого внимания заслуживает новейшая волна конституционных поправок. Охватив под влиянием украинского кризиса 2014 г. все страны региона, она отразила кризис легитимности существующих политических режимов, привела к артикуляции фактора конституционных реформ и жесткому противостоянию различных моделей политико-правового устройства. Переворот на Украине, совершенный во имя «европейского выбора» и отказа от авторитаризма, поставил постсоветские страны перед выбором: согласиться с этой логикой, противостоять ей или лавировать, используя конституционные инструменты²¹.

²¹ Клямкин 2015.

Определяющим фактором конституционной трансформации в постсоветском регионе, несомненно, выступают политические предпочтения. Новейшая волна конституционных поправок — продолжение предшествующих «волн». Конституционная реформа на Украине после переворота 2014 г. отражает ряд предыдущих (2004, 2010 гг.) взаимоисключающих ревизий и, бесспорно, не является завершением процесса конституционной трансформации. Рекорд по количеству изменений на постсоветском пространстве поставила Конституция Киргизии 1993 г. — она менялась в 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2010 и 2016 гг., причем в последнем случае поправки (свыше 60) были внесены в 29 статей. В Грузии поправки в конституцию вносились более 30 раз, а нынешняя ревизия (2017—2018 гг.) означает радикальный пересмотр самой формы правления. Молдавия, отменив в 2016 г. поправку 2000 г., тем самым вернулась к аутентичной версии конституции. В Казахстане до современной ревизии (2017 г.) конституция подвергалась серьезной правке трижды (в 1998, 2007 и 2011 гг.), в Туркмении

(2016 г.) — пять раз (в 1995, 1999, 2003, 2006 и 2008 гг.). В Узбекистане волне конституционных изменений 2014 и 2017 гг. предшествовали изменения 1995, 2002 и 2011 гг. В Таджикистане с момента принятия конституции в 1994 г. в нее внесено более 100 поправок, обобщенных масштабной реформой 2016 г. Обобщают предшествующие тенденции развития и новейшие конституционные реформы в Армении (2015 г.) и Азербайджане (2016 г.). В Белоруссии, где существенных конституционных поправок не было, корректировка политической системы осуществлялась посредством законодательных реформ. Соответственно, применительно к постсоветскому пространству нельзя говорить о правильных конституционных циклах. Здесь скорее имеет место маятниковое колебание конституционных предпочтений, определяющееся внешними и внутренними факторами²².

²² Medushevsky
2017.

Попытаемся суммировать основные мотивы реформаторов.

Первая группа мотивов проистекает из меняющейся геополитической позиции. «Европейский выбор» 1990-х годов прочно ассоциируется с ориентацией на западный опыт и парламентскую форму правления. Этот выбор подкрепляется признанием приоритета международных норм по отношению к внутреннему праву, а также принятием стандартов ЕС и рекомендаций Венецианской комиссии. Однако новейшие конституционные поправки в ряде стран региона означают отказ от данного курса, явный (Киргизия, Таджикистан) или завуалированный (Казахстан), через расширение прерогатив национального конституционного суда (Белоруссия) и популистское отстаивание суверенитета и национальной правовой идентичности. Часть этих поправок, идущих вразрез с установками европейских правозащитных организаций, обусловлена евразийской интеграцией постсоветских государств и ретрадиционализацией режимов либо представляет собой реакцию на исламское возрождение и терроризм (как, например, нормы, допускающие лишение гражданства). В некоторых постсоветских странах разработчики конституционных реформ, помимо европейского опыта, все активнее обращаются к опыту России и Китая.

Вторая группа мотивов, определивших содержание последней волны конституционных поправок на постсоветском пространстве, связана с осмыслением конституционных кризисов в странах региона, прежде всего украинского. Одни страны подобное осмысление побуждает к переходу к парламентской форме правления как инструменту достижения согласия в расколотом обществе и элите (Молдавия, Армения, Грузия, Киргизия); другие — к постепенной трансформации дуалистических систем с увеличением в них роли парламентской составляющей при сохранении авторитарного контроля со стороны главы государства (Казахстан, Узбекистан); третьи — к элиминированию этого дуализма путем укрепления власти президента и пересмотру всего конституционного законодательства с охранительно-реставрационных позиций (Туркмения, Таджикистан, Белоруссия). Имеет значение также учет практики конституционных преобразований в соседних

странах, близких по культуре и политическому устройству. Так, революция 2010 г. в Киргизии повлияла на соответствующие реформы в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. Стремление избежать деструктивных процессов, подобных имеющим место в Афганистане, заставляет государства региона (например, Азербайджан и Таджикистан) присматриваться к опыту и таким стран, как Иран и Турция.

Третья группа мотивов определяется текущими задачами обеспечения преемственности действующих партий и олигархических кланов у власти. Для подтверждения значимости подобных мотивов достаточно сопоставить инициативы конституционных реформ с динамикой политических процессов. Конституционная реформа 2016 г. в Молдавии знаменовала собой попытку преодолеть политический кризис, связанный с партийным расколом и неспособностью избрать президента, в преддверии предстоявших выборов. Конституционная реформа 2016 г. в Армении открывала перспективы сохранения у власти правящей партии и ее лидера в электоральном цикле 2017 г.²³ (чему, однако, помешали массовые протесты апреля 2018 г.). В Грузии конституционная реформа 2013 г., отражавшая стремление президента, исчерпавшего лимит пребывания у власти, сохранить ее в качестве премьер-министра, совпала с избирательным циклом 2012—2013 гг. Текущая реформа приурочена к избирательной кампании 2018 г. и в большей степени связана с желанием правящей партии закрепить за собой доминирующие позиции, нежели с намерением не допустить реставрации президентского авторитаризма. В Киргизии, где парламентский вектор был заложен Конституцией 2010 г., суть конституционной реформы 2016 г. состояла в концентрации полномочий в руках премьер-министра (которому фактически перешли прерогативы президента), что позволяло правящей коалиции сохранить свою власть вне зависимости от исхода выборов 2017 г. В Узбекистане, где президентский мандат ограничен двумя сроками, реформа 2014 г. совпала по времени с исчерпанием действующим президентом этого лимита, открывая перед ним возможность пролонгировать власть в ином качестве. В Таджикистане сходная причина (истечение двух предусмотренных Конституцией семилетних сроков действующего президента) объясняет поправки, отменившие ограничения на пребывание у власти национального лидера.

Четвертая группа мотивов — решение проблемы лидерства. В ряде случаев разработчики поправок вынуждены считаться с перспективой смены лидера у власти. Этот мотив, несомненно, сыграл свою роль в Киргизии, где президент исчерпал срок конституционных полномочий (один шестилетний мандат), а поправки, вступавшие в силу с окончанием этих полномочий, теоретически позволяли ему сохранить влияние — уже в качестве лидера доминирующей партии. Вероятно, он имел значение в Узбекистане, где президент незадолго до смерти расширил прерогативы премьер-министра, который действительно сменил его у власти (хотя и с нарушением конституционной процедуры). Он присутствует, возможно, в Казахстане, где реформа иногда интерпретируется как

²³ Торосян 2016.

попытка расчистить дорогу потенциальному преемнику, который, не обладая авторитетом действующего лидера, вынужден будет опираться на правящую партию. Наконец, в тех странах, где существует стабильное единовластное правление, конституционные реформы предполагают отмену фиксированных сроков пребывания лидера у власти (Азербайджан), возрастных ограничений (Туркмения) или даже возможность передачи власти по наследству (Таджикистан). Независимо от популистской риторики и предлагаемых рецептов в основе конституционных реформ лежат вполне конкретные цели политических элит.

Пятая группа мотивов — тактическое решение вопроса о количестве мандатов и сроках пребывания действующих элит и лидеров у власти. Здесь не просматривается единой концептуальной схемы. В некоторых странах такое решение предусматривало изменение формы правления. В Армении, Грузии и Киргизии с переходом к парламентской форме власть в соответствии с новейшими поправками сосредоточилась в руках премьер-министра, а фигура президента стала в основном церемониальной. В Армении президент (избираемый теперь электоральной коллегией, а не на всеобщих выборах) получил даже более продолжительный единственный мандат (семь лет вместо пяти), то же самое произошло и в Киргизии, где продолжительность президентского мандата выросла с пяти (до переворота 2010 г.) до шести лет. В странах с президентской формой правления аналогичное увеличение продолжительности мандата четко обозначает авторитарный тренд. Интересен случай Узбекистана, где законодатель неоднократно менял свою позицию по данному вопросу: в 2002 г. мандат президента был увеличен до семи лет, а в 2011 г. сокращен до пяти, причем эта норма сохранилась и после реформы 2014 г. В Азербайджане и Туркмении текущими поправками полномочия президента, напротив, продлены с пяти до семи лет, что в условиях отсутствия ограничений на количество мандатов делает его правление бессрочным.

Показательны частота попыток пересмотра форм правления; разновекторность их интерпретаций (одна форма правления может получать диаметрально противоположные оценки); стремление эклектически интегрировать элементы одной формы правления в другую; наконец, общая нестабильность и ограниченная легитимность конституционных реформ²⁴. Ни в одной стране региона конституционные реформы не опирались на консенсус всех политических сил, власти и оппозиции, а принятие поправок не только не означало конец конституционных дискуссий, но, напротив, стимулировало появление новых альтернативных проектов. Общая интенция реформистских стратегий — укрепление действующих элит и правящих партий, хотя и с разными политическими целями (продолжение полномочий, блокирование оппозиции, формализация диалога с ней, стремление понравиться внешним игрокам и др.). В авторитарных политических системах популизм использует плебисцитарные механизмы взаимодействия власти и общества (референдумы) и получает персонифицированное выражение: действующий лидер

²⁴ См. Краснов 2014.

вообще выводится из сферы конституционных ограничений на пребывание у власти путем наделения его особым статусом. Данная тенденция усилилась после революций в Киргизии и на Украине, отчетливо продемонстрировавших непрочность легитимности действующих авторитарных лидеров и возможность утраты ими (и их семейными кланами) всех прав и привилегий. В Таджикистане действующий лидер определен как «основатель мира и национального единства — лидер нации», чей статус регулируется специальным конституционным законом. Сходный статус имеет глава государства в Казахстане — «елбасы». В Туркмении вместо прежнего титула «туркменбаши» (глава туркмен) для действующего лидера установлен титул «аркадаг» (покровитель нации), что воспроизводит культ личности в новой форме. Эти титулы, ранее введенные специальными законами, теперь получают фиксацию в конституциях.

На постсоветском пространстве представлены три стиля мышления конституционных разработчиков: (1) открытость к конституционным инновациям (посредством заимствований или собственных изобретений); (2) закрытость к таким инновациям (стремление законсервировать сложившуюся систему); (3) лавирование между старым и новым посредством тактического корректирования системы с целью придать ей большую гибкость. По сути, речь идет о тех конституционных стратегиях — реформ, контрреформ и контролируемой модернизации, — каждая из которых апеллирует к аргументам популистского типа. У каждой из этих стратегий есть свои преимущества, которые, однако, уравниваются ее недостатками: первая означает больший динамизм — с риском дестабилизации; вторая направлена на поддержание стабильности — с риском стагнации; третья, совмещая достоинства первых двух, предполагает наличие внешнего арбитра — с риском воспроизводства авторитаризма.

**Россия:
конституционная
ретрадициона-
лизация
в рамках
плебисцитарной
демократии**

В России последнего десятилетия отчетливо выражен тренд конституционной ретрадиционализации, вписывающийся в концепцию больших циклов российского конституционализма²⁵. Его проявлениями служат переосмысление идентичности страны в глобальной системе отношений, изменение ценностных категорий в направлении консервативной политической романтики, пересмотр содержания основных конституционных принципов, институтов и практик, включая соотношение формальных и неформальных практик функционирования политического режима. Российский консервативный поворот развивается параллельно восточноевропейскому при активном осмыслении процессов, разворачивающихся на постсоветском пространстве.

Констатируем сходство процессов конституционной ретрадиционализации в России и странах Восточной Европы. Современный этап социально-политического развития страны можно квалифицировать как посткоммунистическую реставрацию, во многом аналогичную завершающей фазе всех радикальных революций. Отражением специфики

²⁵ См. Медушевский 2015: 287—299.

данного этапа стала консервативная политическая романтика — система социальных мифов, постулирующих исключительный характер российского социума; пересмотр соотношения международного и национального права (в пользу укрепления «суверенитета»); критика достижений конституционной революции 1993 г.; содержательная ревизия конституционных принципов или постепенная их деконституционализация путем корректировки законодательства и правоприменительной практики (для приближения их к «реальности»); интерпретация формальных конституционных норм, их комбинаций и противоречий в интересах политической системы и селективное их использование. Россия, провозгласив международно-правовую преемственность с СССР, на деле в большей мере сохранила советскую легитимность, что определяет воспроизводство в сознании общества в целом и юристов в частности компонентов советской и имперской идентичности в трактовке ценностей, принципов и норм современного конституционализма²⁶.

²⁶ Bodin, Hedlund and Namli (eds.) 2012.

Специфика российской конституционной ретрадиционализации связана не с содержанием, а с формами и тенденциями. Во-первых, это другие задачи (не противодействие размыванию национальной идентичности в условиях глобализации, а интеграция постсоветского пространства); во-вторых, иное государственное устройство (в отличие от стран Восточной Европы, Россия — федеративное государство, что сдерживает развитие этнического национализма); в-третьих, иной политический режим (замена аутентичной смешанной формы правления ее оригинальной российской версией, закрепляющей сверхцентрализацию, правовую суть которой отражает понятие «мнимый конституционализм»); в-четвертых, более отчетливое проявление советской легитимности (и ее влияния на текущие процессы); в-пятых, другие цели populists — не приход к власти, а ее удержание.

Начиная с 2000-х годов эволюция конституционной и политической системы России шла по линии ограничения плюрализма, федерализма, разделения властей, местного самоуправления, многопартийности и политического многообразия в целом²⁷. Эти сдвиги, опиравшиеся на доминирование правящей партии в центральном и региональных парламентах, вели к падению роли законодательной власти, появлению квазиконституционных институтов и расширению президентских полномочий во всех значимых сферах. Конституционные диспропорции наложились на политические — слабость парламентаризма (в том числе парламентского контроля над расходованием финансов) и политических партий (обретение «партией власти» квалифицированного большинства в Государственной Думе после выборов 2016 г.), отсутствие парламентской ответственности правительства и его полная зависимость от президента, общее тяготение системы к режиму личной власти.

²⁷ См. Основы 2013: 282—290.

На современном этапе природа российского политического режима определяется понятием «демократический цезаризм». Это разновидность плебисцитарной демократии, где функция выборов заключается не в избрании неких идеологических или партийных программ,

а в подтверждении доверия народа к личности, персонифицирующей государственную власть. Наиболее известным историческим примером такого правления является принципат как форма перехода от республики к империи в Риме; его элементы просматриваются в бонапартизме, голлизме и некоторых версиях направляемой демократии (например, в перонизме). Почву для становления подобной модели обеспечивают факторы, актуализирующие популистскую программтику: утрата доверия общества к демократическим институтам (прежде всего к парламенту и политическим партиям); поиск «социальной справедливости» в расколотом обществе; стремление к «национальному возрождению» (в форме режима «ограниченного плюрализма» с соответствующей конституционной идеологией); создание независимого и автономного от социума центра власти, способного воздействовать на общество извне, лавировать политически и легитимировать свое существование на плебисцитах или выборах, выполняющих сходные функции.

Важные индикаторы утверждения в России данной модели — размывание традиционных классовых и идеологических предпочтений, отказ от «партийной политики», переформатирование электората, мобилизационный характер политической системы. Конструируемое национальное движение вбирает в себя самые разные группы избирателей, ранее противостоявшие друг другу, — традиционных правых (сторонников «самобытности» и «особого пути»), традиционных левых (бывших коммунистов), националистов, клерикалов, всевозможные антизападнические элементы, вообще слои, идентифицирующие себя с лидером. «Средний класс» атомизируется и перестает существовать как субъект политики. Выражением популистского тренда в стране служит идея «консервативного консенсуса»²⁸ — «национального единства» (предполагающего упор на гражданскую нацию, которая противопоставляется этнической), «патриотической» консолидации общества (перед лицом внешних и внутренних угроз) и «сильного государства», опирающегося на «подавляющее большинство» граждан.

Нынешний российский режим лавирует между силами старого порядка, жаждащими реванша, и сторонниками модернизации по либерально-капиталистическому образцу. Для него характерны двойная легитимность (демократическая, через выборы, и авторитарно-патерналистская), антипарламентаризм, недоверие к политическим партиям, непартийное техническое правительство, централизм, бюрократизация государственного аппарата и формирующийся культ сильной личности. Для утверждения последнего не хватало только одного — массовой поддержки. От ее обеспечения, определяемого понятием «единство», зависели также другие аспекты режима и их трактовка, и эту задачу удалось решить, задействовав потенциал современных информационных технологий. Ведь «подавляющее большинство» — это не только реальный (статистический), но и виртуальный феномен, конструируемый на информационном уровне с целью укрепления социальной опоры власти. Президентские выборы 2018 г. зафиксировали резкое падение влияния

²⁸ Мельвил 2017.

всех традиционных партий (правых, левых и либеральных) при радикальном росте поддержки национального лидера или, в голлистской терминологии, «республиканского монарха» (естественно, с учетом российской специфики).

**Тенденции
российской
конституционной
трансформации**

²⁹ Конституционный мониторинг 2014.

Продвижение в России проекта конституционной ретрадиционализации нашло выражение в общей политической риторике, пересмотре конституционного законодательства, порядке реализации конституционных принципов во всех значимых сферах²⁹. Результатирующей этого процесса стали пять принципиальных конституционных инноваций.

1. Увеличение сроков полномочий президента до шести лет и Государственной Думы — до пяти (Федеральный конституционный закон № 6 от 30.12.2008). Хотя данная реформа (определенная как техническая «корректировка») пришлась на президентство Дмитрия Медведева, ее результатом стала пролонгация мандата Владимира Путина, легитимировавшая его правление до 2024 г. Утратившая на выборах 2011 г. квалифицированное большинство в Думе «Единая Россия» вернула его себе в 2016 г. Сложилась ситуация de facto однопартийной системы: полностью контролируя центральный и региональные парламенты и обладая квалифицированным большинством, правящая партия получила монопольный контроль над законодательным процессом, в том числе возможность вносить конституционные поправки и корректировать смысл всех конституционных норм. В итоге под угрозой оказались принципы демократии, плюрализма и разделения властей.

2. Объединение Верховного и Высшего арбитражного суда РФ с упразднением последнего (ФКЗ № 2 и 3 от 5.02.2014). По количеству затронутых статей Конституции³⁰ эта реформа являлась самой масштабной. При том что заявленной целью реформы было обеспечение единообразия судебной практики, она означала отход от принципов независимости и несменяемости судебной власти, и ее следствием стало выстраивание более жесткой судебной вертикали и пересмотр состава судов.

3. Передача президенту полномочий по назначению прокуроров всех уровней выше городского и районного (ФКЗ № 2 от 5.02.2014), знаменовавшая собой завершение процесса концентрации в руках президента контроля над силовыми структурами, призванными осуществлять надзор за деятельностью госаппарата и чиновников. Использование этого механизма позволяет президенту формировать кадровый ресурс по своему усмотрению, назначать и отстранять высших чиновников, включая теоретически избираемых глав субъектов Федерации. Это ставит под угрозу принцип разделения властей, а также смену губернаторов путем демократических выборов.

4. Изменение порядка формирования Совета Федерации — введение в его состав дополнительных представителей Российской Федерации, назначаемых президентом (ФКЗ № 11 от 21.07.2014). Данная

³⁰ Изменениям подверглись ст. 71, 83, 102, 104, 125, 126, 128, 129, а также название гл. 7; ст. 127 была исключена.

реформа, прошедшая незамеченной, еще не получила практической реализации. Однако она, несомненно, ведет к усилению позиций главы государства в структуре бикамерализма, а следовательно, его влияния на трактовку принципов федерализма, что нарушает принцип разделения властей и сменяемости власти и несет в себе угрозу направленной селекции при подборе членов верхней палаты.

5. Введение в действие новой редакции гл. XIII закона «О Конституционном суде РФ» (ФКЗ № 7 от 14.12.2015). Еще в июле 2015 г. Конституционный суд принял постановление о возможности неисполнения решений Европейского суда по правам человека, если содержащаяся в них трактовка Конвенции о защите прав человека и основных свобод противоречит Конституции РФ. Жесткое определение «пределов уступчивости» Конституционного суда РФ в отношении решений ЕСПЧ означает новое толкование п. 4 ст. 15 Конституции РФ (о приоритете международного права над национальным), граничащее с его ревизией. Это постановление уже применялось Конституционным судом, отвергавшим позицию ЕСПЧ как «неконституционную».

Перечисленные инновации отчетливо демонстрируют суть российской версии конституционной ретрадиционализации. Она связана не только и не столько с изменением конституционных норм (которое остается ограниченным), сколько с новой политикой права — общей интерпретацией смысла конституционных принципов, правовой и политической трактовкой осуществляемых изменений. Речь идет именно о политике права — принятии серии законов, накладывающих ограничения на информационный обмен (в СМИ и интернете), деятельность НКО, положение иностранцев, свободу совести, объединений, митингов и собраний.

Весьма показательно в этом смысле предложенное Министерством юстиции определение политической деятельности как способности влиять на политический процесс, *de facto* базирующееся на макиавеллистическом понимании политики не как служения, а скорее как искусства. Данное определение игнорирует ряд ключевых компонентов плюралистической демократии — во-первых, ничего не говорит о публичной политике (то есть о диалоге государственных институтов с общественными организациями при выработке важнейших решений); во-вторых, не соответствует современным представлениям о политике как о продукте взаимодействия общества и государства; в-третьих, сводит политику к «влиянию», расширительно трактуя его как давление на исполнительную власть по любым вопросам, включая те, что выходят за рамки компетенции формальных институтов.

Гипертрофия государственного контроля порождает отчуждение общества от власти, не позволяя ей гибко реагировать на изменение социальных запросов. Возникает особый тип популизма — делегирование общественных ожиданий самой власти и ее лидеру, от успехов которого во внутренней и внешней политике всецело зависит легитимность политической системы.

**Заключение:
вариативность
конституционного
популизма
в сравнительной
перспективе**

Правовым выражением популистского тренда становится завершение большого конституционного цикла фазой ретрадиционализации, i.e. полного или частичного пересмотра ядра конституционных гарантий политических прав. В Восточной Европе подобная трансформация предстает заключительной фазой цикла, на постсоветском пространстве проявляется в маятниковых колебаниях конституционных предпочтений, обусловленных как внутренними изменениями, так и поиском внешних ориентиров, в России ассоциируется с возвратом к советским и имперским традициям государственности. Пересмотр духа правовых норм в принципе возможен без нарушения буквы закона, внешне выступая как ответ власти на запрос наименее подготовленной части общества, рассчитывающей на немедленное удовлетворение завышенных социальных ожиданий. Формой такого ответа является возрождение национальных традиций, консервативных ценностей и клерикально-авторитарных стереотипов сознания.

Во всех странах рассмотренного ареала популизм оказал влияние на процессы конституционной ретрадиционализации, прежде всего на корректирование конституционных принципов и норм в соответствии с «жесткой» трактовкой национального суверенитета, противопоставляемого международным институтам. Корректировка конституционных систем затронула такие сферы, как международное и национальное право, конституционная идентичность, суверенитет, формы правления, конституционное правосудие. Недовольные глобализацией и своим местом в ней, эти страны требуют пересмотра рамок, содержания и методов осуществления интеграционных проектов с позиций «справедливости», восстановления разорванной «традиции» и «конституционной идентичности».

Основными направлениями инспирированных популизмом конституционных контрреформ в государствах Восточной Европы (Венгрия, Польша, Румыния, страны Балтии) стали пересмотр отношения к нормам международного (европейского) права, ревизия подходов к правам человека и их реализации, принятие конституционных поправок в области этнонациональных отношений, восстановления традиционалистских ценностей и стереотипов, а также корректировка механизма разделения властей, нацеленная на снижение роли и независимости конституционного правосудия. Не менее значимым оказался популистский тренд в странах постсоветского пространства, наложивший существенный отпечаток на содержание и динамику новейших конституционных изменений в рамках революционной, реформистской и особенно консервативно-охранительной стратегии конституционного пересмотра. Влияние популистских стереотипов отчетливо просматривается и в России — при всей специфике ее конституционной трансформации.

Механизмы конституционной ретрадиционализации, которые задействует популизм, повсюду связаны с отказом от принципов идеологического плюрализма и политической нейтральности конституционного

правосудия. Но используемые в разных странах методы варьируют, охватывая весь спектр технологий конституционной ревизии — от «консервативной революции» путем созыва конституанты или проведения национального референдума до изменения преамбул конституций, внесения конституционных поправок, законодательных новаций, судебного толкования, а также широкого набора экстраконституционных механизмов, отражающих лавирование политической элиты в условиях «консервативного консенсуса». В случае успеха контрреформы возможно принятие новой конституции, закрепляющей консервативно-клерикальные ценности и авторитарный тренд — установление контроля правящей партии над судами и прокуратурой, изменение парламентского регламента, пересмотр принципа разделения властей с концентрацией полномочий в руках исполнительной власти. Выбор конкретной технологии или их комбинации определяется уровнем социальной поддержки популистских сил и степенью их контроля над властными институтами.

Типология проектов конституционной ретрадиционализации в соответствии с ее стилем позволяет выявить специфику трех групп стран, входящих в рассматриваемый ареал, — тех, что имели опыт независимого существования в прошлом, а после крушения социалистического лагеря оказались в Евросоюзе или в сфере его непосредственного влияния (конституционные контрреформы в этих странах сдерживаются стандартами ЕС); тех, которые обрели независимость с распадом СССР и столкнулись с проблемой выбора пути (ситуация новых постсоветских государств, где процессы конституционной ретрадиционализации связаны с общей эфемерностью и непрочностью конституционных достижений и выбором между ЕС и Россией); и собственно России, объявившей себя правопреемницей СССР в международно-правовом измерении, но вставшей перед необходимостью выработки новой стратегии развития в глобальной системе отношений (конституционные контрреформы как направленная корректировка результатов предшествующей фазы развития)³¹.

³¹ Конституционные принципы 2014.

Консервативный популизм (как общая основа конституционной ретрадиционализации) в Восточной Европе, постсоветском регионе и России различается по тем задачам, которые он стремится решить, и тем реальным вызовам, с которыми столкнулось общество. Для Восточной Европы — это угроза утраты национальной идентичности в условиях глобализации, евроинтеграции и миграционного кризиса. Для большинства стран постсоветского пространства — это самоопределение между ЕС и Россией (не считая других центров силы и выдвигаемых ими моделей политического устройства). Для России — решение проблем постсоветского урегулирования, выстраивания отношений с государствами постсоветского региона, которые, неожиданно обретя независимость, сами находятся в мучительном поиске идентичности (что нередко выражается в механическом противопоставлении себя России и переписывании истории). Таким

образом, ключевой лозунг восточноевропейских популистов — больше самостоятельности и децентрализации в рамках ЕС, постсоветских элит — своевременное приспособление к меняющимся глобальным и региональным трендам, российских правящих кругов — больше унификации и централизации.

Принципиальны различия, связанные со степенью укорененности конституционных институтов и отношением к ним популистских партий. В Восточной Европе стремление к ревизии конституционного строя наталкивается на серьезное противодействие со стороны оппозиционных сил, что сказывается на тактике контрреформ. В странах постсоветского пространства «эфемерный конституционализм» не предполагает прямой связи между конституционными инновациями и содержательным изменением системы, а текущие конституционные реформы не меняют олигархической природы правящих режимов, имея в виду главным образом перегруппировку элит, кланов или лидеров. Особенность российского варианта (и части постсоветских) — предельно тесная связь с институтами имитационной демократии, когда популистские партии интегрированы в единую вертикаль власти и в случае выхода за ее рамки или неконвенционального поведения прекращают свое существование. Происходит, так сказать, делегирование «народных» популистских инициатив самой власти.

Если в устойчивых демократиях жизнь популизма (по крайней мере, в неизменных его формах) ограничена одним или несколькими электоральными циклами, то в постсоветских режимах нестабильной демократии она определяется скорее неформальными правилами политической игры (которые более или менее последовательно фиксируются конституционными инновациями). Популистские партии Восточной Европы функционируют в условиях парламентской или смешанной формы правления, используя электоральные механизмы взаимодействия с массами. Постсоветские страны, где стабильная партийная система еще не сложилась, находятся в фазе экспериментирования с формами правления, демонстрируя их поразительное разнообразие и частоту смены при общей преемственности властвующим элит. При режиме ограниченного плюрализма формальная конституционная система даже более устойчива, поскольку ответственность перед избирателями размывается между партиями и режимом (в рамках контролируемых государством общественных движений и организаций и воспроизводства правящих партий и лидеров у власти). Российский популизм, действуя в условиях ограниченного плюрализма, ассоциирует свой приход к власти с политикой государства и фигурой его главы — президента, гаранта Конституции, определяющего вектор внутренней и внешней политики страны.

Ключевой вопрос заключается в том, с какого времени (или с учетом каких факторов) следует констатировать необратимость популистского тренда. Основополагающим критерием здесь, на наш

взгляд, выступает отказ от принципа плюрализма или невозможность его реализации (гарантией чего является независимость конституционного правосудия). В соответствии с этим критерием все страны региона можно разделить на три группы — те, где это ядро конституционных гарантий сохраняет свое значение (не важно, вследствие ли внешнего контроля или внутренней динамики); те, где оно подверглось эрозии в результате контрреформ; и те, где оно уже утратило реальный смысл, оставаясь скорее пожеланием на будущее. Очевидно, что большинство стран Восточно-Европейского региона принадлежат к первой или второй (промежуточной) группе (проявление популизма в демократической системе как ее электоральная корректировка), при том что действенность принципа плюрализма в них поддерживается во многом благодаря контролю ЕС над внутренней динамикой конституционной трансформации. Большинство стран постсоветского региона должно быть отнесено к третьей группе — хотя бы потому, что ядро конституционных гарантий там совершенно не защищено (ввиду эфемерности конституционализма и общей слабости конституционного правосудия). Популизм в этих странах выступает способом удержания власти элитой в условиях общей нестабильности конституционализма. В России, где фактор внешнего контроля наименее значим, конституционный популизм регулируется и сдерживается исключительно прагматическими интересами самой власти. Он легитимирует функционирование режима в рамках плебисцитарной демократии (ограниченного плюрализма или авторитаризма).

Совокупность рассмотренных выше параметров позволяет говорить о стиле консервативной конституционной ретрадиционализации как об интегральном выражении наиболее характерных ее черт. Это понятие и положено нами в основу типологии ее проявлений. Различны функции восточноевропейского, постсоветского и российского популизма: в первом случае это способ аккумуляции протеста против несовершенных институтов с целью прихода к власти, во втором — форма борьбы политических сил за установление правил игры, в третьем — мобилизация в поддержку действующего режима, средство его легитимации. В Восточной Европе конституционный популизм служит инструментом достижения власти (смены элит), в части стран постсоветского региона — ее перераспределения, в России — сохранения. Таким образом, можно выделить три варианта (стиля) конституционного популизма — «демократический» (Восточная Европа), «олигархический» (постсоветский регион) и «плебисцитарный» (Россия). В последнем случае речь идет о конституционном популизме, контролируемом и направляемом самой властью («дисциплинированный») характер выдвижения всех соответствующих инициатив).

Популистская реконституционализация имеет, однако, имманентную логику развития: достигнув определенного уровня, она упирается в границы разумности и реализуемости, переход которых грозит полной

деконституционализацией, делегитимацией режима и утратой системой своей управляемости. Осознание данного факта элитами есть условие их выживания в современном мире.

Библиография

- Алферова Е.В. и И.А.Умнова, ред. (2013) *Современный конституционализм: теория, доктрина и практика*. М.: ИНИОН РАН.
- Беширевич В. (2016) «Миф о судебной реформе в Сербии» // *Сравнительное конституционное обозрение*, № 5 (114): 105–116.
- Клямкин И. (2015) *2014: год Украины*. М.: Либеральная миссия.
- Конституционные принципы и пути их реализации: российский контекст. Аналитический доклад*. (2014) М.: Институт права и публичной политики. URL: http://www.ilpp.ru/netcat_files/userfiles/2013_Analit_report_full.pdf (проверено 8.06.2018).
- Конституционный мониторинг: Концепция, методика и итоги экспертного опроса в России в марте 2013 года*. (2014) М.: Институт права и публичной политики.
- Краснов А.Н. (2014) «Постсоветские государства: есть ли зависимость политического режима от конституционного дизайна?» // *Сравнительное конституционное обозрение*, № 2 (99): 29–45.
- Кроуфорд К., Б.Макаренко и Н.Петров, ред. (2018) *Популизм как общий вызов*. М.: РОССПЭН.
- Медушевский А.Н. (2015) *Политические сочинения: Право и власть в условиях социальных трансформаций*. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив.
- Медушевский А.Н. (2017) «Популизм на Западе и в России: сходства и различия в сравнительной перспективе» // *Вестник общественного мнения*, № 1–2 (124): 28–47.
- Медушевский А.Н. (2018а) «Конституционная ретрадиционализация в Восточной Европе и России» // *Сравнительное конституционное обозрение*, № 1 (122): 13–32.
- Медушевский А.Н. (2018б) «Тенденции постсоветских политических режимов в свете новейшей волны конституционных поправок» // *Общественные науки и современность*, № 2: 49–66.
- Мельвиль А.Ю. (2017) «Консервативный консенсус в России? (Основные компоненты, факторы устойчивости, потенциал эрозии)» // *Полития*, № 1 (84): 29–45.
- Милячакова О. (2014) «„Опасные связи“ судей Конституционного суда (Опыт стран бывшей Югославии)» // *Сравнительное конституционное обозрение*, № 2 (99): 84–94.
- Михалева Г.М., ред. (2015) *Либеральные ценности и консервативный тренд в европейской политике и обществе*. М.: Яблоко.
- Мрозек А. и А.Следзиньска-Симон. (2017) «Легитимность конституционных судов и принцип верховенства права: сравнительный взгляд на польский конституционный кризис» // *Сравнительное конституционное обозрение*, № 1 (116): 64–79.

Орлик И.И. и Н.В.Куликова, ред. (2016) *Страны Центрально-Восточной Европы: влияние новых геополитических факторов на экономическое развитие и отношения с Россией*. М.: ИЭ РАН.

Основы конституционного строя России: двадцать лет развития. (2013) М.: Институт права и публичной политики.

«Проблемы конституционализма и его судебной защиты в государствах Восточной Европы» (2014) // *Studia Politologicae*, vol. 32.

Сальвиа М. де. (2004) *Прецеденты Европейского суда по правам человека*. СПб.: Юридический центр Пресс.

Соломатина Е.В. (2013) «Дискуссия о Конституции Венгрии 2011 г. и проблемы развития европейского конституционализма в XXI веке» // *Вестник МГПУ. Серия «Юридические науки»*, № 1 (11): 115–120.

Торосян Т. (2016) «Проблемы и вызовы перехода Армении к системе парламентского правления» // *Сравнительное конституционное обозрение*, № 4 (113): 29–30.

Шишелина Л.Н., ред. (2010) *Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии*. М.: Весь мир.

Bodin P., S.Hedlund, and E.Namli, eds. (2012) *Challenges from Russia*. London: Routledge.

Bogdandy A. and P.Sonnevend, eds. (2015) *Constitutional Crisis in European Constitutional Area: Theory, Law and Politics in Hungary and Romania*. Oxford, Portland: Hart Publishing.

Diani M. (2013) *The «Partisan Constitution» and the Corrosion of European Constitutional Culture*. LEQS Paper No. 68. URL: <http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/LEQS%20Discussion%20Paper%20Series/leqspaper68.pdf> (accessed 5.06.2018).

Dobner H. and M.Loughlin, eds. (2010) *The Twilight of Constitutionalism?* Oxford: Oxford University Press.

Fruhstorfer A. and M.Hein, eds. (2016) *Constitutional Politics in Central and Eastern Europe: From Post-Socialist Transformation to the Reform of Political System*. Berlin: Springer.

Jeha I. and Y.Cabiri. (2017) «Evolution of the Albanian Constitution» // *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, vol. 6, no. 1: 31–36.

Korenica F. and D.Doli. (2010) «The Politics of Constitutional Design in Divided Societies: The Case of Cosovo» // *Croatian Yearbook of European Law and Policy*, vol. 6: 265–292.

Medushevsky A. (2017) «Constitutional Transformations in Post-Soviet Region: Results of Previous Studies» // *Armenian Journal of Political Sciences*, vol. 16, no. 1: 81–112.

Sajo A. and R.Uitz. (2017) *The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism*. Oxford: Oxford University Press.



A. N. Medushevsky

POPULISM

AND CONSTITUTIONAL TRANSFORMATION:

EASTERN EUROPE, POST-SOVIET SPACE

AND RUSSIA

Andrey N. Medushevsky — Doctor of Philosophy; Ordinary Professor, Faculty of Social Sciences, National Research University *Higher School of Economics*. Email: amedushevsky@mail.ru.

Abstract. The article analyzes the contribution of populism, as a phenomenon of public sentiments, to the dynamics of the recent constitutional transformations in Eastern Europe, post-Soviet space and Russia. The research shows that in all countries from the above mentioned regions populism gave impetus to the processes of constitutional retraditionalization, which affected different areas such as international and national law, constitutional identity, sovereignty, forms of government, and constitutional justice.

Everywhere the mechanisms of constitutional retraditionalization invoked by populism are associated with the denial of the principles of ideological pluralism and political neutrality of constitutional justice. However, the methods used in different countries vary considerably and cover the entire gamut of technologies of constitutional revision, ranging from the “conservative revolution” through convoking a constituent assembly or holding a national referendum to changing preambles of constitutions, introducing constitutional amendments, judicial interpretation, as well as a wide range of extra-constitutional mechanisms. The choice of a particular technology or a combination of technologies is determined by the level of public support for populist forces and the degree of their control over government institutions.

Populism in Eastern Europe, post-Soviet space and Russia performs different functions. In the first case populism represents a way of accumulating protest against imperfect institutions; in the second case populism is a form of a struggle for establishing rules of the game; in the third case populism performs a function of mobilizing support for the current political regime, or a means of legitimizing it. In Eastern Europe constitutional populism serves as an instrument for achieving power, in the post-Soviet region — for its redistribution, and in Russia — for its preservation. On the basis of these differences, the author identifies three versions of constitutional populism — “democratic” (Eastern Europe), “oligarchic” (post-Soviet region), and “plebiscite”, controlled and directed by power holders themselves (Russia).

Keywords: populism, constitutional reforms, constitutional retraditionalization, Eastern Europe, post-Soviet space, Russia

References

- Alferova E.V. and I.A.Umnova, eds. (2013) *Sovremennyy konstitutsionizm: teorija, doktrina i praktika* [Contemporary Constitutionalism: Theory, Doctrine and Practice]. Moscow: INION RAN. (In Russ.)
- Beshirevich V. (2016) “Mif o sudebnoj reforme v Serbii” [The Myth about Serbian Judicial Reform] // *Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie* [Comparative Constitutional Review], no. 5 (114): 105–116. (In Russ.)
- Bodin P., S.Hedlund, and E.Namli, eds. (2012) *Challenges from Russia*. London: Routledge.
- Bogdandy A. and P.Sonnevend, eds. (2015) *Constitutional Crisis in European Constitutional Area: Theory, Law and Politics in Hungary and Romania*. Oxford, Portland: Hart Publishing.
- Crawford C., B.Makarenko, and N.Petrov, eds. (2018) *Populism kak obshchij vyzov* [Populism as a Common Challenge]. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)
- Diani M. (2013) *The “Partisan Constitution” and the Corrosion of European Constitutional Culture*. LEQS Paper No. 68. URL: <http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/LEQS%20Discussion%20Paper%20Series/leqspaper68.pdf> (accessed 5.06.2018).
- Dobner H. and M.Loughlin, eds. (2010) *The Twilight of Constitutionalism?* Oxford: Oxford University Press.
- Fruhstorfer A. and M.Hein, eds. (2016) *Constitutional Politics in Central and Eastern Europe: From Post-Socialist Transformation to the Reform of Political System*. Berlin: Springer.
- Jeha I. and Y.Cabiri. (2017) “Evolution of the Albanian Constitution” // *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, vol. 6, no. 1: 31–36.
- Klyamkin I.M. (2015) *2014: God Ukrainy* [2014: the Year of Ukraine]. Moscow: Liberal'naja missija.
- Konstitutsionnye printsipy i puti ikh realizatsii: rossijstij kontekst. Analiticheskij doklad* [Constitutional Principles and Ways to Implement Them: the Russian Context. Analytical Report]. (2014) Moscow: Institut Prava i Publichnoj Politiki. URL: http://www.ilpp.ru/netcat_files/userfiles/2013_Analit_report_full.pdf (accessed 8.06.2018). (In Russ.)
- Konstitutsionnyj monitoring: Kontseptsija, metodika i itogi ekspertnogo oprosa v Rossii v marte 2013 goda* [Constitutional Monitoring: The Concept, Methods and Results of the Expert Interview in Russia in March 2013]. (2014) Moscow: Institut Prava i Publichnoj Politiki. (In Russ.)
- Korenica F. and D.Doli. (2010) “The Politics of Constitutional Design in Divided Societies: The Case of Cosovo” // *Croatian Yearbook of European Law and Policy*, vol. 6: 265–292.
- Krasnov A.N. (2014) “Postsovetskie gosudarstva: est' li zavisimost' politicheskogo rezhima ot konstitutsionnogo dizajna” [Post-Soviet States: Does the Political Regime Depend on Constitutional Design?] // *Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie* [Comparative Constitutional Review], no. 2 (99): 29–45. (In Russ.)
- Medushevsky A.N. (2015) *Politicheskie sochinenija: Pravo i vlast' v uslovijakh sotsial'nykh transformatsij* [Political Works: The Law and Power in

Social Transformation Periods]. Moscow, St Petersburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ. (In Russ.)

Medushevsky A. (2017) “Constitutional Transformations in Post-Soviet Region: Results of Previous Studies” // *Armenian Journal of Political Sciences*, vol. 16, no. 1: 81—112.

Medushevsky A.N. (2017) “Populizm na Zapade i v Rossii: skhodstva i razlichija v sravnitel’noj perspektive” [Populism in Western Europe and Russia: Common Traces and Peculiarities in the Comparative Perspective] // *Vestnik obshchestvennogo mnenija* [The Russian Public Opinion Herald], no. 1—2 (124): 28—47. (In Russ.)

Medushevsky A.N. (2018a) “Konstitutsionnaja retraditsionalizatsija v Vostochnoj Evrope i Rossii” [Constitutional Re-traditionalization in Eastern Europe and Russia] // *Sravnitel’noe konstitutsionnoe obozrenie* [Comparative Constitutional Review], no. 1 (122): 13—32. (In Russ.)

Medushevsky A.N. (2018b) “Tendentsii postsovetsskikh politicheskikh rezhimov v svete novejshej volny konstitutsionnykh popravok” [Post-Soviet Political Regimes: Developing Trends in the Light of Current Amendments Wave] // *Obshchestvennye nauki i sovremennost’* [Social Sciences and Modernity], no. 2: 49—66. (In Russ.)

Melville A.Yu. (2017) “Konservativnyj konsensus v Rossii? (Osnovnye komponenty, faktory ustojchivosti, potentsial erozii)” [Neoconservative Consensus in Russia? (Main Components, Factors of Stability, Potential for Erosion)] // *Politeia*, no. 1 (84): 29—45. (In Russ.)

Mikhaleva G.M., ed. (2015) *Liberal’nye tsennosti i konservativnyj trend v evropejskoj politike i obshchestve* [Liberal Values and Conservative Trend in European Politics and Society]. Moscow: Yabloko. (In Russ.)

Milchakova O. (2014) “„Opasnye svyazi“ sudej Konstitutsionnogo suda (opyt stran byvshej Jugoslavii)” [“Dangerous Liaisons” of Constitutional Court Judges (the Experience of the Post-Yugoslavian Countries)] // *Sravnitel’noe konstitutsionnoe obozrenie* [Comparative Constitutional Review], no. 2 (99): 84—94. (In Russ.)

Mrozek A. and A.Sledzinska-Simon. (2017) “Legitimnost’ konstitutsionnykh sudov i printsip verkhovenstva prava: sravnitel’nyj vzgljad na pol’skij konstitutsionnyj krizis” [Legitimacy of Constitutional Courts and the Rule of Law Principle: Comparative Outlook on Constitutional Crisis in Poland] // *Sravnitel’noe konstitutsionnoe obozrenie* [Comparative Constitutional Review], no. 1 (116): 64—79. (In Russ.)

Orlik I.I. and I.V.Kulikova, eds. (2016) *Strany Tsentral’no-Vostochnoj Evropy: Vlijanie novykh geopoliticheskikh faktorov na ekonomicheskoe razvitiye i otnosheniya s Rossiej* [The Countries of Central-Eastern Europe: The Influence of a New Geopolitical Factors on Economic Development and Relations with Russia]. Moscow: IE RAS. (In Russ.)

Osnovy Konstitutsionnogo stroja Rossii: dvadtsat’ let razvitiya [The Fundamentals of the Russian Constitutional Settlement: Twenty Years of Development]. (2013) Moscow: Institut Prava i Publichnoj Politiki. (In Russ.)

“Problemy konstitutsionalizma i ego sudebnoj zashchity v gosudarstvakh Vostochnoj Evropy” [Problems of Constitutionalism and Its Judicial Protection in East European States] (2014) // *Studia Politologiczne*, vol. 32. (In Russ.)

Sajo A. and R.Uitz. (2017) *The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism*. Oxford: Oxford University Press.

Salvia M. de. (2004) *Precedenty Evropejskogo suda po pravam cheloveka* [Precedents of the European Court of Human Rights]. St Petersburg: Juridicheskij tsentr Press. (In Russ.)

Shishelina L.N., ed. (2010) *Vishegradskaja Evropa: otkuda i kuda? Dva desjatiletija po puti reform v Vengrii, Pol'she, Slovakii i Chekhii* [Vishegrad Europe: Vector of Development]. Moscow: Ves' Mir. (In Russ.)

Solomatina H.V. (2013) “Diskussija o Konstitutsii Vengrii 2011 g. i problemy razvitija evropejskogo konstitutsionalizma v 21 veke” [The Discussion on the Constitution of Hungary in 2011 and the Issues of Development of European Constitutionalism in 21 Century] // *Vestnik MGPU. Serija “Juridicheskie nauki”* [Vestnik Moscow City Teacher Training University. Series “Legal Sciences”], no. 1 (11): 115–120. (In Russ.)

Torosyan T.S. (2016) Perspektivy i vyzovy perekhoda Armenii k sisteme parlamentskogo pravljenija [Armenia's Transition to the Parliamentary System: Problems and Prospects] // *Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie* [Comparative Constitutional Review], no. 4 (113): 29–40. (In Russ.)



полития

Д.А.Давыдов

СОЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПЕРЕХОДА К ПОСТКАПИТАЛИСТИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ: КТО ОН?¹

¹ *Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект №18-011-00088 «Политический порядок современных обществ в контексте рентной трансформации»).*

Дмитрий Александрович Давыдов — кандидат политических наук, научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН (Екатеринбург). Для связи с автором: davydovdmityriy90@gmail.com.

Аннотация. Несмотря на растущую популярность идеи посткапитализма и наличие целого ряда симптомов, свидетельствующих о том, что капиталистическая экономика постепенно трансформируется в нечто принципиально новое, вопрос о социальном субъекте перехода к посткапиталистическому обществу остается открытым. Некоторые авторы отводят роль такого субъекта рабочему классу, другие видят его в прекариате, третьи возлагают надежды на «креативный класс». Тщательно проанализировав эти три варианта, Д.Давыдов демонстрирует их неубедительность, связанную, по его мнению, с тем, что за всеми ними кроется попытка охарактеризовать будущее общество в категориях общества прошлого. Будучи убежден, что социальная сущность субъекта посткапиталистического общества не может определяться положением в мире товарно-денежных отношений, он предлагает рассматривать в качестве такового не какой-либо класс или социальную группу, а личность, то есть человека, для которого первичными являются ценности творчества и самореализации.

Отводя личности ведущую роль в переходе к посткапитализму, Давыдов вместе с тем обращает внимание на ее неоднозначный характер как субъекта посткапиталистических отношений. В статье показано, что в обществе личностей возможны новые формы отчуждения и неравенства. По мере развития производительных сил пространство самореализации будет сужаться (по причине автоматизации производства и роботизации), что может привести к ситуации, когда большая часть населения окажется в положении «лишних людей», лишенных каких-либо жизненных перспектив.

Ключевые слова: посткапитализм, марксизм, коммунизм, личность, креативный класс, прекариат

Карл Маркс создал довольно убедительную теорию развития человеческого общества. Согласно Марксу, человеческая цивилизация — это прежде всего развитие производительных сил, которое определяет социально-классовую структуру общества, политику, особенности культуры и быта людей, их повседневную жизнь. Развитие человеческой цивилизации начинается вместе с появлением такого социального явления, как *неравенство*, то есть с выделением господствующего класса. По мере развития производительных сил производственные отношения перестают им соответствовать, и новые могущественные социальные субъекты обрекают на неизбежное поражение сторонников старого миропорядка.

В «Манифесте коммунистической партии» говорится: «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов»². Однако тезис о «революционном переустройстве всего общественного здания» как неперменном следствии борьбы между угнетающими и угнетаемыми не находит подтверждения. Более того, история показывает, что борьба свободных и рабов, патрициев и плебеев, помещиков и крепостных и т.д. *между собой* никогда не приводила к смене общественных формаций. Феодализм, например, в конечном счете уничтожила буржуазия, а не крестьяне. В данном контексте не соответствующим общей логике исторического процесса представляется и прогноз Маркса относительно того, что именно рабочий класс уничтожит капитализм. Надежды на реализацию этого прогноза уже не раз демонстрировали свою тщетность.

Особенность современной ситуации заключается в том, что появляется все больше свидетельств в пользу предстоящей смены капиталистического общества посткапиталистическим. Тем не менее вопрос о *социальном субъекте перехода к посткапитализму* остается открытым. Кто может претендовать на эту роль — рабочий класс, прекариат или же, например, «креативный класс»? В настоящей статье в качестве такого субъекта предлагается рассматривать не какой-либо класс и даже не социальную группу, а *личность*. Как будет показано ниже, обращение к концепту личности позволяет не только избавиться от ряда противоречий, которые возникают при попытках использовать классовый анализ в поисках «движущей силы революции», но и более трезво посмотреть на грядущее посткапиталистическое общество, раскрыть его потенциальные «темные» стороны.

² Маркс и Энгельс
1848.

**Почему
актуальна идея
посткапиталистического общества?**

Сегодня уже не так часто говорят о социализме или коммунизме, зато в моду вошел термин «посткапитализм». С академической точки зрения он, вероятно, «более нейтрален», нежели «коммунизм», с которым связаны довольно устойчивые идеологические клише. Правда,

если суммировать все рассуждения о посткапитализме и их логику, выведя за скобки второстепенные моменты, то итог будет мало чем отличаться от того, о чем полтора века назад вели речь классики марксизма. Но у термина «посткапитализм» есть немаловажное преимущество. Он обозначает некое состояние *после* капитализма, и поскольку это состояние пока еще точно не определено, им вполне может оказаться нечто *непохожее* на то, что традиционно ассоциируется с социализмом и коммунизмом. В этом, кстати, кроется одна из причин, почему в настоящей статье мы используем именно термин «посткапитализм».

Если свести воедино существующие представления о тенденциях общественного развития, абстрагировавшись от некоторых несовпадений во взглядах и особенностей методологии отдельных авторов, то получится следующая довольно цельная картина.

1. Автоматизация и роботизация производства, а также развитие технологий искусственного интеллекта ведут к закату «общества труда». Значительное число профессий в скором времени исчезнет. Это обостряет проблему «лишних людей» — тех, кому в новых социально-экономических условиях не удастся найти себе высокооплачиваемую работу³.
2. Наступает эпоха изобилия материальных благ. Развитие цифровых технологий приводит к экспоненциальному росту производственного потенциала. Человечество превращается в огромную социальную сеть обмена и накопления знаний, и новые коммуникационные возможности еще больше ускоряют научно-технический прогресс. Одновременно повышается уровень производства благ с нулевыми предельными издержками⁴. Проблема, однако, в том, что современная рыночная экономика способствует быстрому обогащению так называемых «суперзвезд» высокотехнологичной индустрии, чей успех ставит в сложное положение простых наемных работников, труд которых все активнее заменяется трудом малочисленных сотрудников фирм, возглавляемых «суперзвездами»⁵.
3. Основным фактором производства становится знание, отличие которого от капитала и сырья заключается в том, что оно легко обобществляется и при этом не иссякает по мере использования, а скорее обретает еще бóльшую ценность⁶.
4. Появляются люди, производящие и распространяющие знания на безвозмездной основе (Free Software Movement, авторы Википедии и др.). Это свидетельствует о движении в сторону общества, в котором труд превратится в наслаждение и цель⁷.
5. Меняется социальная структура общества. Наиболее влиятельной социальной группой становится «креативный класс», включающий тех, чья деятельность связана с творчеством (ученые, программисты, инженеры, художники и т.п.)⁸. Вместе с тем возрастает социальное неравенство, формируется слой людей, не имеющих постоянной занятости и связанных с этим социальных гарантий (прекариат), положение которых будет лишь ухудшаться⁹.

³ См. Rifkin 1995; Коллинз 2015; Форд 2016; Бриньолфсон и Макафи 2017.

⁴ Rifkin 2014.

⁵ Бриньолфсон и Макафи 2017.

⁶ См. Бузгалин 1998; Горц 2010; Бузгалин и Когланов 2015; Мейсон 2016.

⁷ См. Межуев 2007; Горц 2010; Бузгалин и Когланов 2015; Мейсон 2016.

⁸ См. Флорида 2016.

⁹ См. Стэндинг 2014.

6. Ценности «креативного класса» носят постматериальный характер. Для «креативного класса» важны не столько деньги, сколько само-реализация, возможность менять мир к лучшему¹⁰. Помимо проче-го, это говорит об угасании протестантской этики, а также других культурных оснований капитализма.

7. Переход к посткапитализму означает постепенное избавление от старых производственных отношений. Все большей популярно-стью пользуется идея *безусловного базового дохода*, то есть систе-мы социальных пособий, выплачиваемых вне зависимости от со-стояния и социального положения людей и призванных обеспечить им минимально достойный уровень жизни¹¹. В перспективе такой «доход» может утратить денежную форму, трансформировавшись в неиссякаемый источник бесплатных материальных благ, к ко-торому будут иметь доступ все (реинкарнация старого коммуни-стического принципа «от каждого по способностям — каждому по потребностям»)¹². Обсуждаются и другие шаги в направлении пост-капиталистического будущего: отмена или ограничение авторского права, национализация ведущих банков и государственное регули-рование финансовой сферы, развитие так называемого «третьего сектора» как пространства добровольной активности людей, борь-ба с монополиями, отказ от рыночных отношений в энергетиче-ской отрасли и т.д. и т.п. Разные авторы акцентируют различные шаги и их сочетания, разнятся и степень радикализма — от ставки на постепенные реформы¹³ до ориентации на масштабное переу-стройство общества посредством активной политической борьбы¹⁴.

Разумеется, это лишь некая общая канва, и среди касающихся соответствующих сюжетов авторов нет консенсуса относительно кон-кретных деталей. Более того, некоторые из них (например, Эрик Бри-ньолфсон и Эндрю Макафи¹⁵ или Мартин Форд¹⁶) вообще не говорят о желательности исчезновения капиталистических отношений. Вместе с тем они фиксируют те же процессы, на которые обращают внимание приверженцы радикальных подходов (Андре Горц, Джереми Рифкин¹⁷, Пол Мейсон и др.).

При всем том одной из существенных проблем современных кон-цепций посткапитализма является отсутствие единого мнения по во-просу о субъекте перехода к посткапиталистическому обществу. Пред-положений на этот счет высказывается несколько, однако все они вы-глядят малоубедительными.

Некоторые авторы до сих пор отводят роль социального субъ-екта перехода к посткапиталистическому обществу *рабочему классу*. Но само представление о рабочем классе меняется. Теперь это уже не столько «синие воротнички», сколько наемные работники в целом. Как подчеркивает Терри Иглтон, «бело-воротничковый класс, точно так же как и промышленный, включает в себя очень много технических,

¹⁰ См. Флорида 2016.

¹¹ См. Брегман 2018 и др., хотя об этом писал еще Эрих Фромм в вышед-шей в 1955 г. книге «Здоровое общест-во» (см. Фромм 2015: 366).

¹² См. Горц 2010; Мейсон 2016.

¹³ См., напр. Мейсон 2016.

¹⁴ См., напр. Горц 2010.

¹⁵ См. Бриньолфсон и Макафи 2017.

¹⁶ См. Форд 2016.

¹⁷ См. Rifkin 2014.

Современные представления о субъекте перехода к посткапитализму

канцелярских и административных работников, лишенных какой бы то ни было самостоятельности или власти... работа в сфере услуг может быть ничуть не менее тяжелой, чем традиционный промышленный труд. Мы должны учитывать не только директоров бутиков и секретарей с Харли-стрит, но и докеров, транспортников, мусорщиков, почтовиков, рядовой медперсонал, мойщиков и работников предприятий питания. Действительно, различия между производящими и обслуживающими рабочими с точки зрения оплаты, организации и условий труда зачастую оказываются почти незаметными. Работающие в колл-центрах, используемых для получения и передачи больших объемов информации, эксплуатируются ничуть не меньше, чем добывающие уголь в шахтах. Такие ярлыки, как „услуги“ или „белый воротничок“, служат для маскировки внушительных отличий между, скажем, авиапилотами и привратниками больниц или высокопоставленными госслужащими и горничными отелей»¹⁸.

¹⁸ Иглтон 2017: 202—203.

Протестный потенциал понятого таким образом рабочего класса, который в подобной трактовке оказывается весьма многочисленным (особенно если исходить из общемировых показателей), связывается с тяжелыми условиями труда и отчуждением от его результатов, а также с отсутствием самостоятельности и власти. Критикуя известную книгу Горца «Прощай, рабочий класс»¹⁹, Александр Бузгалин отмечает, «что у класса наемных работников в условиях возникновения постиндустриальной глобальной экономики и обострения глобальных проблем возникают новые основания для новой борьбы. Этот класс становится (в гораздо большей степени, чем раньше) не столько объектом капиталистической эксплуатации, основанной на присвоении прибавочной стоимости, сколько объектом сложной системы форм отчуждения, порождаемых закатом „царства необходимости“ в целом. На первый план все более выходит сонм новых проблем и противоречий, в числе которых — экологические катастрофы, нищета, миграция, угроза войн, идеологическое и политическое манипулирование, культурная деградация и т.д. Эти формы отчуждения вызывают протест и новые формы противодействия со стороны рабочего класса, и формы эти не были описаны в классических марксистских работах и не вытекают прямо из того факта, что пролетарий является объектом, часть труда которого присваивается капиталистом»²⁰.

¹⁹ См. Gorz 1987.

²⁰ Бузгалин 2014: 142.

Тем не менее имеется ряд причин, по которым способность рабочего класса выступить в роли социального субъекта перехода к посткапиталистическому обществу вызывает сомнения. В частности, это традиция классовых компромиссов. Вся история рабочего движения развитых стран — это (за редкими исключениями) история компромиссов с правящим классом. В обмен на улучшение социально-экономического положения рабочих буржуазия обретала стабильность и получала реальный контроль над положением вещей. Политика Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер отчетливо вскрыла слабость рабочего движения. «Белые рабочие юга США привели к власти Рейгана;

многие квалифицированные британские рабочие, уставшие от хаоса, переметнулись на сторону консерваторов в 1979 г., позволив Тэтчер на десять лет занять должность премьера, — констатирует Мейсон. — Откровенный консерватизм рабочего класса никуда не делся: он всегда хотел порядка и процветания и к 1979 г. уже не верил, что кейнсианская модель может их обеспечить. К середине 1980-х годов рабочий класс развитого мира всего за пятнадцать лет проделал путь от пассивности к забастовкам и полуреволюционной борьбе и потерпел стратегическое поражение. Западный капитализм, на который организованный труд, сосуществовавший с ним почти два столетия, оказал огромное влияние, больше не мог мириться с рабочей культурой солидарности и сопротивления. Перенесение производства за рубеж, деиндустриализация, анти-профсоюзные законы и упорная идеологическая война ее уничтожили»²¹. Схожая картина наблюдается и сегодня. Как отмечает Вадим Межуев, «рабочее движение в наши дни утратило характер политической борьбы за власть и скорее смахивает на экономический торг за более выгодные условия труда. Оно давно не испытывает потребности в объединении во всемирном масштабе, да и сами социалистические партии на Западе менее всего напоминают сегодня политические организации рабочего класса, проникнутые духом пролетарской солидарности и интернационализма»²².

²¹ Мейсон 2016: 289.

²² Межуев 2007: 96.

Однако существует и более фундаментальная причина, по которой рабочий класс плохо подходит на роль социального субъекта перехода к посткапиталистическому обществу. Дело в том, что основным мотивом борьбы рабочего класса является *материальная нужда*. Не случайно Иглтон относит к рабочему классу всех тех, кто *не обладает реальной свободой и властью и выполняет тяжелую работу*. Рабочий класс революционен лишь тогда, когда находится в критическом положении. Но, во-первых, как уже говорилось, это критическое положение можно преодолеть за счет компромиссов. А во-вторых, революция, движимая испытывающими нужду людьми, чревата разрушением *культуры* (может ли быть в достаточной мере культурным человек, который «не обладает реальной свободой»?). Между тем многие исследователи подчеркивают, что переход к посткапитализму — это не просто сбрасывание оков, а именно рост культуры, постепенное освобождение от отчужденного труда. По словам Межуева, «как либерализм означает не уничтожение государства, а его перевод в правовое и конституционное пространство, так и социализм вопреки своим крайним — революционным — версиям призывает не к насильственной ликвидации рыночной экономики и денег, а к постепенному ограничению их власти над человеком. Последнее достигается максимально возможным на данный момент сужением пространства „экономической необходимости“ и вытекающим отсюда расширением пространства („царства“) свободы. Это пространство можно назвать также пространством культуры»²³. То есть революция должна быть не столько разрушительной, сколько созидательной, *благородной*. Неудивительно поэтому, что в качестве

²³ Там же: 101.

альтернативного претендента на роль социального субъекта перехода к посткапиталистическому обществу иногда рассматривают «креативный класс»²⁴.

²⁴ О «креативном классе», «креаторах», людях творческого труда часто говорит, например, Бузгалин (Бузгалин 2014).

Представители «креативного класса», как правило, разделяют постматериалистические ценности, они занимаются творчеством, которое не всегда получает должную оценку в мире товаров и капитала, а потому капитализм может быть для них препятствием. Проблема, однако, в том, что нет никаких данных, которые бы указывали на существенный протестный потенциал «креативного класса». Более того, по заключению исследователей, представители этого класса сегодня чувствуют себя гораздо лучше остальных. Уровень удовлетворенности работой у них выше, чем у кого бы то ни было еще, причем труд их неплохо оплачивается²⁵. Труд креативщиков вплетен в структуру современной экономики. Как пишет Дэвид Лэйн, он «прекрасно вписывается в неолиберальные изменения. Элиты в бизнесе, политике, медиа и академических кругах становятся крайне взаимозависимыми и легитимными в неолиберальной идеологии. Высшее образование подчинено рыночным критериям, интеллектуальные продукты оцениваются по их вкладу в экономику. Коммерческие интересы проникают в науку, и права интеллектуальной собственности защищают прибыли собственников изобретений»²⁶. Есть и другая проблема, на которую обращает внимание, в частности, Ричард Флорида: «У креативного класса нет классового самосознания. Рабочий класс индустриальной эпохи формировался на основе прочных связей и был сосредоточен на заводах и в городских районах с высокой плотностью населения. Напротив, креативный класс — это крайне индивидуалистическая и даже разобщенная социальная группа»²⁷.

²⁵ См. Флорида 2016.

²⁶ Лэйн 2016: 14

²⁷ Флорида 2016: 16.

Еще одним возможным претендентом на роль социального субъекта перехода к посткапитализму выступает *прекариат* — растущая социальная прослойка людей, не имеющих стабильной работы и трудовых гарантий. Согласно Гаю Стэндингу, впервые описавшему эту прослойку, «прекариат не является частью „рабочего класса“, или „пролетариата“, ибо «многие из тех, кого мы называем прекариатом, ни разу не видели своего работодателя, не имеют понятия, сколько сотрудников на него работают сейчас и сколько еще он намерен нанять в будущем. Прекариат нельзя отнести также и к среднему классу, поскольку у этих людей нет стабильного или предсказуемого жалования, нет статуса и пособий, которые должны быть у представителей среднего класса»²⁸. По мнению Жана Тошенко, «прекариат непременно будет искать, сначала стихийными, а в будущем и организованными действиями, выход из неопределенности своего положения. Одна из граней постепенного осознания им такого положения... его возможная роль в ситуациях социальной напряженности. И хотя у прекариата нет еще сознания „класса для себя“, но его обретение может произойти точно таким же образом, как это случилось с пролетариатом, долгое время бывшим „классом в себе“. Современный прекариат использует не только

²⁸ Стэндинг 2014: 19.

проверенные в прошлые времена инструменты классовой борьбы — забастовки, митинги, стачки и т.п., но и новые непривычные, мало апробированные формы» вроде Европервомай в Западной Европе и Японии, когда он «всеми способами и символами демонстрировал свою незащищенность и нестабильность»²⁹.

²⁹ Тощенко 2015: 9.

Однако и прекариат едва ли годится на роль социального субъекта перехода к посткапиталистическому обществу. Ведь прекариат — это социальная прослойка тех, кто страдает от социальной незащищенности. То есть это «страдающий», а не «творческий» класс. По сути, прекарий — это тот же пролетарий, но с некоторыми новыми особенностями. Он хочет прежде всего относительной социальной защищенности. Но эту защищенность капитализм вполне может ему обеспечить, предоставив доступ к небольшой доле общественного пирога посредством выплаты пособий на существование (нищенская форма безусловного дохода). Это не сильно ударит по кошелькам налогоплательщиков, ибо ввиду научно-технического прогресса минимальный набор материальных благ будет дешеветь³⁰. Стратегия всеобщего благосостояния, долгое время усмирявшая пролетариат, сменится, таким образом, стратегией распределения общественной ренты. Сложившееся в результате *рентное общество*³¹, в рамках которого большое значение приобретет борьба различных социальных слоев за ренту, трудно назвать посткапиталистическим, ибо рыночная экономика и прочие атрибуты капитализма при таком сценарии никуда не исчезнут. Капитализм лишь станет менее «благородным»: глобальной буржуазии будет доставаться политическая рента от неограниченного влияния на общество, а «лишним людям» — рента социальная, своего рода подачка.

³⁰ См. Бриньолфсон и Макафи 2017.

³¹ См. Давыдов и Фишман 2015.

Кроме того, нужно иметь в виду, что есть и такие, кого «нестабильная» жизнь полностью устраивает. Действительно, как отмечает Ирина Бусыгина, «существует достаточно серьезная литература, утверждающая, что знаковая фигура современного капитализма — вовсе не „прекариат аномичный и недовольный“, но „прекариат креативный“. Иными словами: ролевые модели современного капитализма — это фрилансеры и контрактники, занятые в сферах искусства, науки, средствах массовой информации, а капитализм XXI в. как раз предоставляет преимущества тем, кто готов к риску и ответственности, гибкой занятости, кто ценит невещественный труд»³².

³² Бусыгина 2016: 42.

**Личность
как социальный
субъект перехода
к посткапиталистическому обществу**

Итак, если рабочий класс, «креативный класс» и прекариат не способны привести общество к «посткапиталистической революции», то какая же социальная сила может взять на себя решение этой задачи? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, на наш взгляд, нужно отбросить понятие «класс», означающее в марксистской традиции отношение к собственности на средства производства. При рассмотрении социального субъекта перехода к посткапиталистическому обществу целесообразно ориентироваться не на класс, а на *личность*. Именно

так можно избежать противоречий, возникающих при попытке охарактеризовать субъект будущего общества в категориях общества прошлого. Согласимся с Андреем Коряковцевым: «Человечность как рабочего, так и буржуа в одинаковой степени проявляется в той мере, в какой они превосходят свой классовый статус. Конечно, отдельные персоны из ремесленной или фабрично-заводской среды могли подняться до высот рефлексии (В.Вейтлинг и И.Дицген), но суть дела заключается в том, что они в этом случае переставали быть рабочими и ремесленниками»³³. Иначе говоря, социальную сущность субъекта посткапиталистического общества не стоит определять положением в мире товарно-денежных отношений.

³³ Коряковцев 2013: 67.

³⁴ См. Мунье 1994.

³⁵ См. Бердяев 2010.

Под *личностью* мы, вслед за Эммануэлем Мунье³⁴, Николаем Бердяевым³⁵ и другими философами персоналистской школы, понимаем *человека, для которого первичны ценности творчества и самореализации*. Личность не следует путать с индивидуальностью. Индивидуальность, как и личность, предполагает неповторимого человека. Однако неповторимость не единственная черта личности. Личность есть часть *общественного целого*. Личность — это не эгоистичный потребитель, но активный созидатель, стремящийся выйти за пределы своего частного мира.

Правда, здесь неизбежно возникает вопрос: не является ли личность в предложенном ее понимании лишь другим обозначением представителя «креативного класса»? Ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Дело в том, что «креативный класс» — понятие одновременно и слишком узкое, и слишком широкое. Представителя «креативного класса» могут заботить одни только деньги, а личность возможна и в постклассовом обществе. Кроме того, *стремлением к подлинной самореализации отличаются не только «креаторы», оно может быть присуще любому человеку — от простого рабочего до политика и бизнесмена*. Это немаловажно, ибо в гипотетической революции личности нельзя недооценивать потенциал тех предпринимателей, которые стремятся скорее к преобразованию мира, чем к роскоши (деятельность людей вроде Илона Маска плохо сочетается с привычным образом буржуа как прежде всего эксплуататора наемного труда). Не выглядят убедительными и попытки отыскать в «креативном классе» нечто вроде *настоящего революционного* крыла. Такую попытку можно встретить, в частности, у Бузгалина, который полагает, что вести борьбу за светлое будущее «будут представители „креативного класса“, не подчиненные непосредственно капиталу», ссылаясь «в качестве примера на значительную часть учителей, социальных работников и т.п.», то есть «субъектов по преимуществу творческой деятельности, занятых в бюджетной сфере и проявляющих в последние десятилетия очень большую активность»³⁶. Фактически речь идет об исключении из рассмотрения тех, кто не входит в категорию «бюджетников», что едва ли можно считать обоснованным.

³⁶ Бузгалин 2009: 254.

Понятие «личность» в целом не чуждо марксизму. Хотя у Маркса оно встречается довольно редко, само его учение есть, по сути, учение

об *освобождении личности*. «На самом деле, если отбросить ограниченную буржуазную форму, чем же иным является богатство, как не универсальностью потребностей, способностей, средств потребления, производительных сил и т.д. индивидов, созданных универсальным обменом? — читаем мы в «Очерке критики политической экономии». — Чем иным является богатство, как не полным развитием господства человека над силами природы, т.е. как над силами так называемой „природы“, так и над силами его собственной природы? Чем иным является богатство, как не абсолютным выявлением творческих дарований человека без каких-либо других предпосылок, кроме предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту целостность развития, т.е. развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было заранее установленному масштабу. Человек здесь не воспроизводит себя в какой-либо одной только определенности, а производит себя во всей своей целостности, он не стремится оставаться чем-то окончательно установившимся, а находится в абсолютном движении становления»³⁷.

³⁷ Маркс 1968: 275.

Относительно близкий к предложенному нами взгляд на искомый субъект можно найти у Фромма. С одной стороны, он пишет о рабочем классе в широком смысле слова как о наемных работниках: «сегодня перспектива создания нового общества привлекает тех, кто страдает от отчуждения, занят наемным трудом и не имеет крупной собственности, то есть речь идет не о меньшинстве, а о большинстве населения»³⁸. С другой стороны, он говорит уже о внутренних мотивах человека, его природном стремлении к «подлинному бытию»: «ориентация на бытие является огромной потенциальной силой человеческой природы. Разумеется, не следует забывать, что в чистом виде принципом обладания руководствуется не слишком много людей, так же точно, как и ориентация на бытие в чистом виде является достоянием сравнительно небольшой группы людей. Большинству людей присущи обе тенденции (в каждом человеке живут и обладательные, и экзистенциальные черты), и какая из них победит — зависит от характера общества»³⁹.

³⁸ Фромм 2017: 308.

³⁹ Там же: 305.

Мы осознаем, что концептуализация личности как социально-го субъекта перехода к посткапиталистическому обществу может вызывать ряд вопросов. Например, почему именно сегодня можно вести речь о *революционности* ценностей личности? На то есть несколько причин. Во-первых, рост материального благосостояния в развитых странах приводит к ценностным трансформациям. Люди начинают все больше заботиться о своей индивидуальности, задумываться о своем предназначении. Работа перестает быть просто способом заработка, превращаясь в то, что должно приносить удовольствие, способствовать самореализации. Выше упоминалось, что для некоторых представителей «креативного класса» *быть кем-то, быть личностью* уже важнее, чем много зарабатывать или много потреблять. Но, что существенно, рост постматериалистических ценностей — явление надклассовое. Здесь можно вспомнить выводы Рональда Инглхарта

⁴⁰ См. Инглхарт и Вельцель 2011.

⁴¹ См. Twenge 2014.

и Кристиана Вельцеля о повышении значимости подобных ценностей в развитых странах⁴⁰ или, скажем, исследования социальных психологов, показывающие, что современная молодежь больше проникнута ценностями самореализации, чем предыдущие поколения⁴¹. Поэтому *революция личности уже идет*, но фоном, на уровне трансформации ценностей.

В чем же заключается общность интересов отдельных личностей, стремящихся к самореализации? Начнем с того, что мы не отрицаем участия представителей рабочего класса, прекариата или «креативного класса» в процессе перехода к посткапиталистическому обществу. Им всем может быть присуще *непрятие капитализма*. Однако в основе такого непрятия должны лежать прежде всего *ценности личности*. Рабочего может не удовлетворять низкая зарплата или отсутствие свободного времени, но речь о его подлинной посткапиталистической субъектности будет идти только тогда, когда материальные средства и свободное время будут нужны ему для творчества, а не для еще большего потребления. Прекарий может быть недоволен нестабильностью своего социального положения, но говорить о его посткапиталистической субъектности правомерно лишь в том случае, если социальная защищенность рассматривается им как условие саморазвития и самореализации (а не прожигания жизни в праздности). Аналогичным образом обстоит дело и с «креатором» — только наличие у него по-настоящему гуманистических устремлений будет свидетельствовать о его посткапиталистической субъектности.

Стоит отметить, что в своих рассуждениях мы довольно близко подошли к той трактовке субъекта перехода к посткапитализму, которую предлагает Бузгалин. «Точно так же как буржуазные революции и реформы осуществляли не основные классы феодального общества (не сеньоры, не крепостные), а выросшие из их разложения новые общественные силы (по генезису преимущественно представители... „третьего сословия“), — пишет он, — так же и социалистические преобразования будут осуществлять не буржуа, не наемные работники как таковые, а выросшие из их разложения (и по генезису преимущественно наемные работники) *субъекты ассоциированного социального творчества*»⁴². Вместе с тем Бузгалин не идет дальше гипотезы о том, что движение к посткапитализму будет в своей основе результатом самоорганизации творческих людей. Он идеализирует творческого индивида. По его мнению, этот индивид должен стремиться к «снятию» капитализма, чтобы освободиться от оков капиталистических отношений. Однако есть основания полагать, что дело обстоит несколько сложнее.

⁴² Бузгалин 1998: 131.

Словосочетание «творческая личность» имеет в нашем языке положительные коннотации. Все, что связано с творчеством, со стремлением к самосовершенствованию и т.п., как правило, окрашено в позитивные тона. Соответственно, общество личностей автоматически рассматривается как своего рода идеал, где каждый по-настоящему свободен, располагает достаточным свободным временем для саморазвития,

стремится к чему-то, занимается любимым делом. Но проблема в том, что невозможна масса личностей. Поиск своего «я» — это всегда поиск своего «социального я», «я», которое чем-то отличается от *других*, превосходит и оттеняет их. Об этом хорошо высказался Бердяев, всю жизнь писавший о личности: «без общественного разделения труда никогда личность не могла бы подняться, не могла бы выделиться из первоначального коммунизма равной тьмы. Индивидуальность, личность человеческая не дана изначально в природном и историческом мире, она в потенциальном состоянии дремлет в хаотической тьме, в зверином равенстве и освобождается, поднимается и развивается лишь путем трагической истории, путем жертв и борьбы, через величайшие неравенства и разделения, через государства и культуры с их иерархическим строем и принудительной дисциплиной»⁴³. Таким образом, личность сильна там, где есть (а) некая «трагическая история», которая позволяет личности подняться из хаотической тьмы путем освобождения и борьбы, и (б) некоторое количество ведомых людей, готовых воспринимать ее идеи, почитать или любить ее. Личности нужно как-то определять, находить самоё себя. «Неравенство, — отмечает Бердяев, — есть основа всякого космического строя и лада, есть оправдание самого существования человеческой личности и источник всякого творческого движения в мире. Всякое рождение света во тьме есть возникновение неравенства. Всякое творческое движение есть возникновение неравенства, возвышение, выделение качеств из бесконечной массы»⁴⁴.

⁴³ Бердяев 2010: 68.

⁴⁴ Там же: 61.

Вполне вероятно, что процесс перехода к посткапитализму вызовет к жизни новые противоречия. Разумеется, некоторая часть современного «креативного класса» и прекариата — потенциальные союзники. Представители «креативного класса» тоже нередко находятся в стесненных обстоятельствах. Более того, среди «креативного класса» есть немало тех, кого можно прямо отнести к прекариату. Речь идет о так называемых фрилансерах. Как признает Флорида, «в действительности работа фрилансера сопряжена со значительными рисками. Найти подходящую работу не так уж легко, особенно в период глубокого экономического спада, и она не всегда хорошо оплачивается»⁴⁵. Поэтому нас не удивит, если часть «креативного класса» выступит под единым антикапиталистическим флагом с представителями других «опасных» классов.

⁴⁵ Флорида 2016: 102.

В то же время необходимо иметь в виду, что *личность — враг посредственности*. Именно деятельность наиболее яркого звена «креативного класса» приводит к тому, что тысячи людей по всему миру ежегодно лишаются работы⁴⁶. Именно «креаторы» создают роботов и программное обеспечение, которые делают «лишними», бесполезными для общества и экономики целые профессии. И если капитализм перестанет существовать, ситуация вряд ли в корне изменится. Всегда будут десятки (или сотни) людей, которые опережают тысячи, находят новые идеи, совершают технологические прорывы и научные перевороты.

⁴⁶ См. Форд 2016.

⁴⁷ Бриньолфсон и Макафи 2017.

И всегда будут те, чей труд оказался невостребованным или напрасным. И чем дальше (особенно с учетом экспоненциального развития технологий⁴⁷), тем меньшее количество людей будет производить потребительные стоимости, тогда как многие миллионы не смогут найти себе применения. В каком-то смысле их положение будет еще хуже, чем при капитализме, ибо капиталистическая экономика постоянно создавала новые рабочие места, чего не скажешь о сферах приложения человеческого труда в будущем.

Дело осложняется тем, что *развитие производительных сил в современных условиях влечет за собой сужение пространства для самореализации*. Парадоксальным образом рост ценностей личности сочетается с появлением огромного числа объективных препятствий на пути самореализации. По сути, речь идет уже о создании машин, способных к творчеству. «У думающей машины будут все преимущества современных компьютеров, включая способность выполнять вычисления и обрабатывать информацию со скоростью, которая просто невысказима для нас, — прогнозирует Форд. — ...Это неизбежно поставит нас в ситуацию, когда нам придется делить планету с чем-то совершенно беспрецедентным: абсолютно чуждым нам — да еще и превосходящим нас — интеллектом»⁴⁸.

⁴⁸ Там же: 309.

Конечно, «лишние люди», вероятнее всего, не останутся без куска хлеба или крыши над головой. Ведь в конце концов личность нацелена на изменение мира к лучшему. Однако это едва ли будет достаточным условием для счастливой жизни большинства. Революция личности — это скорее революция «надежды на светлое будущее» без капитализма, *борьба за идеалы личности без гарантий успеха для каждого*.

* * *

Таким образом, можно заключить, что мир сегодня действительно находится в ситуации перехода от одной общественной формации к другой. Очень многое указывает на то, что правила игры меняются; происходят глобальные социально-экономические и политические трансформации, свидетельствующие о том, что капиталистическая экономика постепенно преобразуется во что-то принципиально новое.

Ни рабочий класс, ни прекариат, ни «креативный класс» не годятся на роль социального субъекта перехода к посткапитализму. Этим субъектом может выступить *личность* — человек, ставящий на первое место ценности творчества и самореализации. Это отнюдь не значит, что переход к посткапитализму осуществят отдельные индивиды. Это значит, что по-настоящему революционная борьба возможна лишь как политическое единство той части *человечества* (охватывающей представителей *всех классов* — от рабочего класса до буржуазии), для которой капитализм есть существенное препятствие на пути к самореализации.

Но какой бы благой ни была идея личности, нас, похоже, ждет новый виток общественной борьбы. Личность — явление сложное и противоречивое, а снятие капитализма не означает снятия всех преград, стоящих на пути самореализации. Да, может быть, и не будет больше классовой борьбы, поскольку материалистические ценности постепенно вытесняются ценностями развития личности. Однако уничтожение капитализма не оправдает *всех* надежд. Не исключено, что для посткапитализма, к которому мы движемся, будет характерна социальная напряженность, отчужденность между теми, кто преуспел, и теми, кто в *результате деятельности преуспевших* лишился шансов на успех. Причем речь может идти не только о частных случаях неудач, преодолимых, например, посредством изменения сферы деятельности. Вполне возможно общество, абсолютное большинство членов которого глубоко несчастно из-за осознания тщетности своих попыток создать что-то свое, быть не просто потребителем, а творцом, *личностью*. Ключевая проблема будущего заключается именно в том, как сделать так, чтобы во времена ускоряющегося научно-технического прогресса, развития технологий искусственного интеллекта, роботизации и т.п. человек не утратил веру в себя (и в идею личности), сохранил чувство свободы и независимости, ощущал себя полноценным гражданином.

Библиография

- Бердяев Н.А. (2010) *Философия неравенства*. М.: АСТ, Астрель, Полиграфиздат.
- Брегман Р. (2018) *Утопия для реалистов: Как построить идеальный мир*. М.: Альпина Паблишер.
- Бриньолфсон Э. и Э.Макафи. (2017) *Вторая эра машин*. М.: Neoclassic, АСТ.
- Бузгалин А.В. (1998) *По ту сторону «царства необходимости» (Эскизы и концепции)*. М.: Экономическая демократия.
- Бузгалин А.В. (2009) «XXI век и „провалы марксизма“: в чем был прав и в чем ошибался Маркс?» // Бузгалин А.В., ред. *Марксизм: Альтернативы XXI века. Дебаты постсоветской школы критического марксизма*. М.: Ленанд.
- Бузгалин А.В. (2014) «Поздний капитализм: капитал, рабочий, креатор» // *Свободная мысль*, № 1: 135—146.
- Бузгалин А.В. и А.И.Когланов. (2015) *Глобальный капитал: В 2 т. Т. 2. Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы*. М.: Ленанд.
- Бусыгина И.М. (2016) «Прекариат: новый вызов для современных обществ и его концептуализация (Размышления над книгой Г.Стэндинга)» // *Общественные науки и современность*, № 3: 34—47.
- Горц А. (2010) *Нематериальное: Знание, стоимость и капитал*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики.
- Давыдов Д.А. и Л.Г.Фишман. (2015) «Грядущее рентное общество» // *Свободная мысль*, № 5: 151—164.

- Иглтон Т. (2017) *Почему Маркс был прав*. М: Карьера Пресс.
- Инглхарт Р. и К.Вельцель. (2011) *Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития*. М.: Новое издательство.
- Коллинз Р. (2015) «Средний класс без работы: выходы закрываются» // Дерлугьян Г., ред. *Есть ли будущее у капитализма?* М.: Изд-во Института Гайдара: 61—113.
- Коряковцев А.А. (2013) «Революционность рабочего класса: марксистская теория и современная реальность» // *Социум и власть*, № 4: 65—68.
- Лэйн Д. (2016) «„Посткапитализм“ как новая экономическая система: критика» // *Вопросы политической экономии*, № 3: 8—22.
- Маркс К. (1968) Экономические рукописи 1857—1859 годов // Маркс К. и Ф.Энгельс. *Сочинения*. Т. 46, ч. 1. М.: Госполитиздат.
- Маркс К. и Ф.Энгельс. (1848) *Манифест Коммунистической партии*. URL: <http://www.agitclub.ru/front/mar/manifest.htm> (проверено 03.02.2018).
- Межуев В.М. (2007) *Маркс против марксизма: Статьи на популярную тему*. М.: Культурная революция.
- Мейсон П. (2016) *Посткапитализм: Путеводитель по нашему будущему*. М.: Ад Маргинем.
- Мунье Э. (1994) *Что такое персонализм?* М.: Изд-во гуманитарной литературы.
- Стэндинг Г. (2014) *Прекариат: Новый опасный класс*. М.: Ад Маргинем.
- Тощенко Ж.Т. (2015) «Прекариат — новый социальный класс» // *Социологические исследования*, № 6: 3—13.
- Флорида Р. (2016) *Креативный класс: Люди, которые создают будущее*. М.: Манн, Иванов и Фербер.
- Форд М. (2016) *Роботы наступают: Развитие технологий и будущее без работы*. М.: Альпина нон-фикшн.
- Фромм Э. (2015) *Здоровое общество*. М: АСТ.
- Фромм Э. (2017) *Иметь или быть?* М.: АСТ.
- Gorz A. (1987) *Farewell to the Working Class: An Essay on Post-Industrial Socialism*. London: Pluto Books.
- Rifkin J. (1995) *The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*. Los Angeles: Tarcher/ Putnam.
- Rifkin J. (2014) *The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Twenge J.M. (2014) *Generation Me: Why Today's Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled — and More Miserable Than Ever Before*. New York: Atria Books.



σοφία

D.A. Davydov

SOCIAL SUBJECT OF TRANSITION TOWARDS POST-CAPITALIST SOCIETY: WHO IS IT?

Dmitriy A. Davydov — Ph.D. in Political Science; Research Fellow at the Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg). Email: davydovdmitriy90@gmail.com.

Abstract. Despite the growing popularity of the idea of post-capitalism and a number of symptoms that indicate that the capitalist economy is gradually transforming into something fundamentally new, the question about the social subject of transition to the post-capitalist society remains unanswered. Different authors assign this role to the working class, to the precariat, or to the “creative class”. D. Davydov’s thorough analysis of these three statements demonstrates their weaknesses, which he explains by the fact that they characterize the future society in the categories of the past. Being convinced that the place in the world of commodity-money relations fails to capture the social essence of the subject of the post-capitalist society, he suggests that a person, or an individual with primary values of creativity and self-realization, rather than a social class or a social group should be interpreted as this subject.

Although Davydov thinks that a person plays the leading role in the transition to the post-capitalism, he draws attention to its ambiguous nature as a subject of post-capitalist relations. The article shows that the “society of persons” is not free from novel forms of alienation and inequality. The development of the productive forces, including automation and robotization, will narrow the space for self-realization, which can lead to the situation when the majority of the population will be in the position of “superfluous men”, deprived of any life prospects.

Keywords: post-capitalism, Marxism, communism, person, creative class, precariat

References

- Berdyayev N.A. (2010) *Filosofia neravenstva* [Philosophy of Inequality]. Moscow: AST, Astrel’, Poligrafizdat. (In Russ.)
- Bregman R.C. (2018) *Utopiia dlia realistov: Kak postroit’ ideal’nyi mir* [Utopia for Realists: The Case for a Universal Basic Income, Open Borders, and a 15-hour Workweek]. Moscow: Al’pina Publisher. (In Russ.)
- Brynjolfsson E. and A. McAfee. (2017) *Vtoraia era mashin* [The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies]. Moscow: Neoclassic, AST. (In Russ.)

Busygina I.M. (2016) “Prekariat: novyi vyzov dlia sovremennykh obshchestv i ego kontseptualizatsiia (Razmyshleniia nad knigoi G.Stendinga)” [Prekariat: a New Challenge for Modern Societies and Its Conceptualization (Reflections on the Book of Guy Standing)] // *Obshchestvennye nauki i sovremennost'* [Social Sciences and Modernity], no. 3: 34–47. (In Russ.)

Buzgalin A.V. (1998) *Po tu storonu “tsarstva neobkhodimosti” (Eskizy i kontseptsii)* [On the Other Side of the “Realm of Necessity” (Drafts and Concepts)]. Moscow: Ekonomicheskaiia demokratiia. (In Russ.)

Buzgalin A.V. (2009) “XXI vek i „provally marksizma“: v chem byl prav i v chem oshibalsia Marks?” [XXI Century and the “Failures of Marxism”: What Was Right and What Was Marx Wrong About?] // Buzgalin A.V., ed. *Marksizm: Al'ternativy XXI veka. Debaty postsovetskoi shkoly kriticheskogo marksizma* [Marxism: Alternatives of the 21st Century. Debates of the Post-Soviet School of Critical Marxism]. Moscow: Lenand.

Buzgalin A.V. (2014) “Pozdnii kapitalizm: kapital, rabochii, kreator” [Late Capitalism: Capital, Worker, Creator] // *Svobodnaia mysl'* [Free Thought], no. 1: 135–146. (In Russ.)

Buzgalin A. and A.Koglanov (2015) *Global'nyi kapital: V 2 t. T. 2. Teoriia: Global'naia gegemoniia kapitala i ee predely* [Global Capital: In 2 vol. Vol. 2. Theory: Global Capital Hegemony and Its Limits]. Moscow: Lenand. (In Russ.)

Collins R. (2015) “Srednii klass bez raboty: vykhody zakryvaiutsia” [The End of Middle Class Work: No More Escapes] // Derlugian G., ed. *Est' li budushchee u kapitalizma* [Does Capitalism Have a Future?]. Moscow: Izdovo Instituta Gaidara: 61–113. (In Russ.)

Davydov D.A. and L.G.Fishman (2015) “Griadushchee rentnoe obshchestvo” [The Future Rental Society] // *Svobodnaia mysl'* [Free Thought], no. 5: 151–164. (In Russ.)

Eagleton T. (2017) *Pochemu Marks byl prav* [Why Marx Was Right]. Moscow, Kar'era Press. (In Russ.)

Florida R. (2016) *Kreativnyi klass: Liudi, kotorye sozdaiut budushchee* [The Rise of the Creative Class and How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life]. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber. (In Russ.)

Ford M. (2016) *Roboty nastupaiut: Razvitie tekhnologii i budushchee bez raboty* [Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future]. Moscow: Al'pina non-fikshn. (In Russ.)

Fromm E. (2015) *Zdorovoe obshchestvo* [The Sane Society]. Moscow: AST. (In Russ.)

Fromm E. (2017). *Imet' ili byt'?* [To Have or to Be?] Moscow: AST. (In Russ.)

Gorz A. (1987) *Farewell to the Working Class: An Essay on Post-Industrial Socialism*. London: Pluto Books.

Gorz A. (2010) *Nematerial'noe: Znanie, stoimost' i kapital* [The Immaterial: Knowledge, Value and Capital]. Moscow: Izdatel'skii dom Vyshei shkoly ekonomiki. (In Russ.)

Inglehart R. and C. Welzel. (2011) *Modernizatsiia, kul'turnye izmeneniia i demokratiia: Posledovatel'nost' chelovecheskogo razvitiia* [Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence]. Moscow: Novoe izdatel'stvo. (In Russ.)

Koriakovtsev A.A. (2013) "Revoliutsionnost' rabocheho klassa: marksistskaia teoriia i sovremennaia real'nost'" [Revolutionism of Working Class: Marxist Theory and Modern Reality] // *Sotsium i vlast'* [Society and Power], no. 4: 65—68. (In Russ.)

Lane D. (2016) „Postkapitalizm“ kak novaia ekonomicheskaiia sistema: kritika” [“Post-Capitalism” as a New Economic System: Criticism] // *Voprosy politicheskoi ekonomii* [Political Economy Issues], no. 3: 8—22. (In Russ.)

Marx K. (1968) "Ekonomicheskie rukopisi 1857—1859 godov" [*Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie*] // Marx K. and F. Engels. *Sochine-niia* [Works]. Vol. 46. Part 2. Moscow: Gospolitizdat. (In Russ.)

Marx K. and F. Engels. (1848) *Manifest Kommunisticheskoi partii* [Das Manifest der Kommunistischen Partei]. URL: <http://www.agitclub.ru/front/mar/manifest.htm> (accessed 03.02.2018). (In Russ.)

Mason P. (2016) *Postkapitalizm: Putevoditel' po nashemu budushchemu* [Postcapitalism: A Guide to Our Future]. Moscow: Ad Marginem. (In Russ.)

Mezhuev V.M. (2007) *Marks protiv marksizma: Stat'i na nepopuliarnuiu temu* [Marx against Marxism : Articles on an Unpopular Theme]. Moscow: Kul'turnaia revoliutsiia. (In Russ.)

Mounier E. (1994) *Chto takoe personalizm?* [Qu'est-ce que le personalisme?] Moscow: Izd-vo gumanitarnoi literatury. (In Russ.)

Rifkin J. (1995) *The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*. Los Angeles: Tarcher/ Putnam.

Rifkin J. (2014) *The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Standing G. (2014) *Prekariat: Novyi opasnyi klass*. [The Precariat: The New Dangerous Class]. Moscow: Ad Marginem. (In Russ.)

Toshchenko Zh.T. (2015) "Prekariat — novyi sotsial'nyi klass" [Precariat — a New Social Class] // *Sotsiologicheskie issledovaniia* [Sociological Studies], no. 6: 3—13. (In Russ.)

Twenge J.M. (2014) *Generation Me: Why Today's Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled — and More Miserable Than Ever Before*. New York: Atria Books.



идеологии

Н. В. Работяжев

РЕАЛИЗМ И УТОПИЯ В ИДЕОЛОГИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ

Николай Владимирович Работяжев — кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова Российской академии наук. Для связи с автором: rabortiajev@mail.ru.

Аннотация. Статья посвящена исследованию соотношения утопических и реалистических компонентов в идеологии европейской социал-демократии. Автор показывает, что на протяжении XX в. социал-демократия стала со многими утопическими представлениями и иллюзиями. В конце XIX — первой половине XX в. идеологией европейских социал-демократических партий (за исключением Лейбористской партии Великобритании) был марксизм в той догматизированной форме, которую придали ему Ф.Энгельс, К.Каутский и Г.Плеханов, хотя уже в то время ряд положений марксистской доктрины был поставлен под вопрос представителями ревизионистского течения во главе с Э.Бернштейном. В ходе последующей дерадикализации социал-демократы фактически перешли на позиции социал-реформизма. В 1950-е годы они отказались от многих марксистских постулатов и провозгласили приверженность этическому социализму в рамках смешанной экономики. В конце 1970-х годов, со вступлением созданной ими кейнсианской социально-экономической модели в полосу кризиса, тенденция к дерадикализации социал-демократических партий приобрела дополнительный импульс, что нашло выражение в усилении в них прорыночного крыла. Наиболее активно процессы идеологической модернизации развернулись в ЛПВ и СДПГ, результатом чего стало возникновение «новой» социал-демократии («новый лейборизм» Т.Блэра, «новый центр» Г.Шрёдера). Однако глобальный финансово-экономический кризис 2008 г. прервал движение европейской социал-демократии в сторону социального либерализма, и в 2010-е годы она вновь во многом вернулась к своей традиционной повестке. По оценке автора, обозначившийся в последние годы «левый поворот» социал-демократии свидетельствует о том, что она не может полностью перейти на позиции рыночного прагматизма и по-прежнему нуждается в «утопии-надежде».

Ключевые слова: социал-демократия, утопия, марксизм, демократический социализм, «третий путь», «новый лейборизм»

¹ Шацкий 1990: 147.

История общественной мысли, констатирует польский социолог Ежи Шацкий, это в немалой степени история утопий и утопизма¹. Особенно справедливо это в отношении социалистической мысли и левых движений, которые постоянно вдохновлялись утопическими образами будущего. Собственно, и притягательность марксизма, оказавшего огромное влияние на программно-идеологические установки рабочего движения в конце XIX — первой половине XX в., в немалой степени объясняется присущими ему утопическими и пророческими элементами.

² Цит. по: Варшавский 1982: 156.

Воздействие утопий на общественную жизнь весьма противоречиво. С одной стороны, они могут побуждать к прогрессу, позитивным переменам, преодолению недостатков сложившегося общественного устройства, с другой — стремление воплотить утопию на практике путем государственного принуждения обычно имеет разрушительные последствия. «Утопия полезна, — отмечал Милован Джилас, — так как человечество не может выжить без идеала общества более справедливого и более свободного. Но когда утописты захватывают власть и пытаются осуществить утопию насильем, тогда получается прямо противоположное идеалу»². Так, попытка насильственно реализовать марксистскую утопию в России обернулась террором, тоталитаризмом и разрушением традиционно-органических устоев общественного бытия. В то же время частичная институционализация ее в странах Запада, проводившаяся демократическим образом социал-демократами, при всей их приверженности этатистско-перераспределительным установкам способствовала гуманизации рыночно-капиталистической системы, социальной интеграции рабочих, созданию государства всеобщего благосостояния.

Между тем со времени формирования на Западе первых социал-демократических партий минуло почти полтора века, за которые социал-демократия из радикально антибуржуазной силы превратилась в часть политического истеблишмента. В ходе процесса дерадикализации она понемногу расставалась с иллюзиями и утопическими представлениями и все в большей степени принимала во внимание реальность. Требование обобществления основных средств производства осталось в далеком прошлом, социал-демократы признали преимущества рыночной экономики, а их «новая», модернизаторская часть в конце XX — начале XXI в. включила в свой идеологический багаж целый ряд концептов нелиберализма. Но хотя элементы утопического мышления на протяжении последнего столетия неуклонно вытеснялись из социал-демократического дискурса, все же полностью они не исчезли. Да ни одна социал-демократическая партия, вероятно, и не может целиком отказаться от своей «утопии-надежды»³. Целью настоящей статьи является анализ соотношения утопических и реалистических компонентов в идеологии европейской социал-демократии на различных этапах ее истории и, соответственно, тех изменений, которые претерпела социал-демократическая концепция социализма.

³ Выражение бывшего лидера СДПГ Зигмара Габриэля.

Марксистская утопия

⁴ *Исключение составляла Лейбористская партия Великобритании, на установки которой, помимо марксизма, заметное влияние оказали фабианский эволюционизм, христианский социализм и социальный либерализм.*

В конце XIX — начале XX в. идеологией европейских социал-демократических партий был марксизм в той догматизированной форме, которую придали ему Фридрих Энгельс, Карл Каутский и Георгий Плеханов⁴. Социал-демократы той эпохи объявляли своими конечными целями свержение капиталистического строя, переход власти к рабочим и обобществление частной собственности. Наступление социализма казалось им неизбежным в силу «железных законов» исторической необходимости, управляющих, согласно Карлу Марксу, развитием человечества. В рамках Марксова «научного социализма» упор делался на двух аспектах социальных изменений, свидетельствовавших, по мнению его создателя, о неотвратимости краха капитализма. Во-первых, это постулированное Марксом нарастание противоречий между производительными силами (экономическим потенциалом общества) и производственными отношениями (его социальной структурой), которое неминуемо должно было завершиться социальной революцией. Во-вторых, прогнозируемое им же обострение по мере развития капиталистического общества конфликта между двумя его основными классами — индустриальным пролетариатом и буржуазией. Маркс предсказывал пролетаризацию средних слоев, абсолютное и относительное ухудшение положения рабочего класса, что в конечном итоге должно было привести к пролетарской революции и экспроприации победоносным пролетариатом частной собственности.

На смену капитализму, полагал Маркс, придет бесклассовое социалистическое общество, представления о котором формировались у него под сильным влиянием французского «утопического» социализма, прежде всего идей Анри Сен-Симона и Шарля Фурье. Рыночная конкуренция в таком обществе будет заменена рациональным планированием, а экономика станет служить не извлечению прибыли, а удовлетворению потребностей людей, в силу чего она сможет обеспечить изобилие материальных благ. К этому следует добавить, что, с точки зрения Маркса, с ликвидацией буржуазных производственных отношений человеческая природа радикально изменится, вызванные эгоизмом конфликты останутся в прошлом, и интересы всех людей будут находиться в полной взаимной гармонии. В сущности, Марксово видение социализма представляло собой мессианское пророчество, изложенное языком экономики и социологии, мечту «об обществе совершенного единства, в котором все человеческие желания были бы удовлетворены и все ценности примирены»⁵.

В то же время Маркс не дал сколько-нибудь конкретного описания ни социалистического общества, ни политико-институционального устройства власти рабочего класса («диктатуры пролетариата»). С одной стороны, социализм, по Марксу, должен был базироваться на принципах свободной ассоциации и самоуправления, с другой — предполагал централизованное управление экономикой (а значит, элементы иерархии). Как отмечает американский политолог Мелвин Ласки, те «смутные намеки на собственную утопию Маркса», которые можно

⁵ *Kolakowski 1981: 523.*

обнаружить в его работах, «указывают на веру в некую федерацию коммун и кооперативов (но тут, конечно, приходится пренебречь сильным государственно-централистским подтекстом)»⁶.

⁶ Ласки 1991: 182.

В целом картину социалистического общества, как его представляли себе социалисты и социал-демократы конца XIX — начала XX в., можно схематически обрисовать следующим образом. Социализм означает замену частной собственности общественной и, соответственно, отсутствие социально-классовой дифференциации на собственников капитала и наемных рабочих. Поскольку средства производства перейдут во владение общества, рабочая сила перестанет быть товаром, исчезнет отчуждение труда. В социалистическом обществе не будет товарно-денежных рыночных отношений и конкуренции хозяйствующих субъектов, на их место придет производство по общему и рациональному плану. Исчезнут безработица и необеспеченность существования, сократится рабочий день, значительно вырастет жизненный уровень. Все члены социалистического общества будут иметь равные права и обязанности. Кроме того, в социалистическом обществе будут существовать народное представительство и широкое самоуправление. Предполагалось, что обобществление и планирование не нанесут ущерба духовной свободе: при социалистическом способе производства, утверждал ведущий теоретик германской социал-демократии Карл Каутский, коммунизм (то есть централизованно-плановое управление) в материальном производстве будет сочетаться с анархизмом в производстве интеллектуальном⁷.

⁷ Каутский 1917: 60.

В 1891 г. на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Эрфурте была принята программа, оказавшая заметное влияние на программно-идеологические установки европейской социал-демократии конца XIX — начала XX в. В теоретической части программы, написанной Каутским, излагались основные положения учения Маркса о развитии капиталистического общества, его социальных противоречиях, классовой борьбе пролетариата и буржуазии и грядущей победе рабочего класса. Преобразование частной собственности в общественную, а товарного производства — в социалистическое, утверждалось в ней, приведет к тому, что «крупное производство и постоянно возрастающая производительность общественного труда из источника нищеты и угнетения эксплуатируемых до сих пор классов превратится в источник высшего благосостояния и всестороннего, гармоничного усовершенствования»⁸. Но для того чтобы переход средств производства в общественное владение стал возможным, пролетариат должен овладеть политической властью⁹.

⁸ Суворов и Двинская (сост.) 2005: 95.

⁹ Там же: 96.

Наряду с теоретической частью, Эрфуртская программа включала в себя перечень общедемократических и социальных требований, направленных на улучшение положения рабочего класса и низших слоев общества (всеобщее избирательное право, равноправие женщин, всеобщее бесплатное образование, установление 8-часового рабочего дня и т.д.)¹⁰. Таким образом, утопически-революционные идеи марксизма

¹⁰ Там же: 96—98.

нашли отражение лишь в теоретической части программы, в то время как практическая ее часть *de facto* ориентировала германских социал-демократов на реформистский путь преобразования существующего общества и государства.

Показательно, что уже через несколько лет после принятия Эрфуртской программы автор ее практической части Эдуард Бернштейн, испытавший заметное влияние эволюционистских концепций Фабианского общества, выступил за ревизию ряда положений марксистской доктрины. В сущности, речь шла об очищении марксизма от тех «остатков утопизма», которые сохранились в нем вопреки научному методу Маркса¹¹. Опираясь на большой фактический материал, Бернштейн доказывал, что развитие капитализма опровергло Марксовы прогнозы об обнищании пролетариата и обострении социальных противоречий буржуазного общества, и ставил под сомнение вывод марксизма о неизбежном крахе капиталистической системы. В связи с этим он призвал отказаться от упований на грядущую революцию и сосредоточиться на борьбе за проведение политических, социальных и экономических реформ, непосредственно улучшающих положение рабочего класса. Социал-демократия, настаивал он, должна найти в себе мужество освободиться от устаревшей фразеологии и провозгласить себя тем, чем она является в действительности, — демократически-социалистической партией реформ¹².

¹¹ *Бернштейн 2015: 226.*

¹² *Там же: 211.*

Хотя марксистские ортодоксы рубежа XIX—XX вв. подвергли ревизионизм резкой критике, на практике и СДПГ, и другие европейские социал-демократические партии пошли именно по реформистскому пути. Их дерадикализация объяснялась рядом факторов как «идеального», так и «материального» характера. Фактический переход социал-демократии на позиции реформизма был обусловлен прежде всего тем, что предсказанная Марксом социальная революция откладывалась на неопределенный срок. По справедливому замечанию русского философа Павла Новгородцева, «если абсолютное совершенство будущего оказывается недостижимой целью, то тем более выдвигаются относительные задачи настоящего. Жизнь не ждет, она должна быть и теперь устроена как можно лучше. Об этом можно не думать, если завтра наступит полное освобождение от всех бедствий. Но если ясно, что оно не наступит, все усилия сосредоточиваются на нуждах текущего дня»¹³. Дерадикализации социалистического движения способствовало также тесное взаимодействие социал-демократических партий с профсоюзами, настроенными более умеренно и прагматически, чем интеллектуалы-социалисты. К усилению реформистских тенденций вел и постепенный рост уровня жизни индустриального пролетариата.

¹³ *Новгородцев 1991: 400—401.*

¹⁴ *См. Michels 1989.*

Важно также отметить, что, в полном соответствии с заключениями немецкого социолога Роберта Михельса¹⁴, руководящий слой социал-демократических партий мало-помалу трансформировался в группу профессиональных политиков, стремившихся не столько к радикальным социальным переменам, сколько к завоеванию парламентских

мандатов. Бюрократический аппарат партии и ее депутаты в парламенте постепенно теряли интерес к теории и идеальным целям движения, и их революционная риторика становилась не более чем данью традиции. Участие в парламентской деятельности вело к усилению у социал-демократов реформистских настроений и потому, что «включенные в рамки самого государства, они видели и законы, способные улучшить условия жизни рабочих, и пути их подготовки; само положение законодателей влекло их скорее к реформизму, нежели к революционной деятельности»¹⁵.

¹⁵ Дюверже 2000:
247

Но если континентальные социал-демократические партии постепенно переходили на путь социального реформизма, сохраняя при этом революционную риторику, то Лейбористская партия Великобритании (ЛПВ) с момента своего рождения ориентировалась на достижение социализма эволюционным парламентским способом. В отличие от своих континентальных коллег, совмещавших революционные цели с реформистской практикой, лейбористы с самого начала ставили перед собой исключительно реформистские цели¹⁶. И хотя они тоже выступали за общественную собственность на основные средства производства, распределения и обмена (знаменитый 4-й пункт Устава ЛПВ 1918 г.), социализация рассматривалась ими как длительный поэтапный процесс.

¹⁶ Sassoon 1996: 16.

С началом в 1914 г. мировой войны Второй интернационал фактически прекратил свое существование. Новый международный союз социалистических партий — Рабочий социалистический интернационал (РСИ) — был создан в 1923 г. В Уставе РСИ говорилось, что он объединяет социалистические и рабочие партии, «которые ставят своей целью освобождение рабочего класса от капиталистической эксплуатации и утверждение социалистического способа производства и видят средство достижения этой цели в классовой борьбе, находящей выражение в политических и экономических действиях рабочих»¹⁷.

¹⁷ Brauntal (ed.)
1956: 31.

При том что в программных документах РСИ и входивших в него партий не было недостатка в жестких обличениях капитализма, на практике социал-демократические партии продолжали интегрироваться в существующее общество. Причины подобного сдвига были рассмотрены выше, здесь отметим лишь, что важнейшую роль в дерадикализации европейской социал-демократии сыграло ее участие во власти (работа в правительствах, парламентах и муниципалитетах). Очевидно, что превращение из оппозиции в партию, несущую ответственность за государство и поставленную перед необходимостью решать конкретные задачи управления, не могло не вести к снижению революционности и утопизма.

Осознанию социал-демократами ценности политической свободы, демократических институтов и практик во многом способствовал опыт большевизма и фашизма. Полемизируя с большевиками, Каутский подчеркивал: «Для нас немислим социализм без демократии. Мы понимаем под современным социализмом не просто общественную организацию производства, но также и демократическую организацию

- ¹⁸ *Kautsky 1918: 5.* общества... Нет социализма без демократии»¹⁸. А австромарксист Отто Бауэр настаивал на том, что социализм должен сохранить основные достижения культуры буржуазной эпохи (уважение к правовой защищенности личности, свободе духа, человечности и др.)¹⁹.

¹⁹ *Bauer 1936.*

Попытка теоретически обосновать эволюционно-реформистский путь к социализму была предпринята в середине 1920-х годов одним из идеологов СДПГ экономистом Рудольфом Гильфердингом, выдвинувшим концепцию экономической (хозяйственной) демократии. Согласно Гильфердингу, монополистические корпорации устраняют анархию производства, в результате чего капитализм свободной конкуренции превращается в организованный капитализм, и задача социал-демократии состоит в том, чтобы «преобразовать с помощью государства, с помощью сознательного общественного регулирования это организованное и руководимое *капиталистами* хозяйство в хозяйство, руководимое *демократическим государством*»²⁰. Помимо государственного вмешательства, реализация хозяйственной демократии, как полагал Гильфердинг, требовала создания системы экономических советов, посредством которых рабочие могли бы осуществить свое право на соучастие в организации экономики. Таким образом, достижение социализма мыслилось им как длительный эволюционный процесс хозяйственной демократизации. «Если Энгельс назвал дело своей жизни и жизни Маркса прогрессом социализма от утопии к науке, то теперь речь идет о применении науки об обществе к организации общества, — доказывал он. — Это будет переход от научного социализма к конструктивному»²¹. Разработанная Гильфердингом концепция движения к социализму повлияла на социал-демократическую мысль не только Германии, но и других европейских стран.

²⁰ *Гильфердинг 1928: 128.*

²¹ *Там же: 35.*

Постмарксизм

Восстановление Социалистического интернационала после Второй мировой войны происходило при решающем участии британских лейбористов. Неудивительно, что его идеология несла на себе заметный отпечаток установок ЛПВ.

Социалистический интернационал был возрожден в 1951 г. на международном конгрессе во Франкфурте-на-Майне. Значение этого конгресса заключалось и в том, что он принял декларацию «Цели и задачи демократического социализма», оказавшую исключительное влияние на идеологию и политику социал-демократических партий. В Декларации были зафиксированы основные положения концепции демократического социализма, который рассматривался и как конечное воплощение социал-демократических устремлений — общество без эксплуатации, и как способ их реализации. Демократический социализм был объявлен третьим путем общественного развития, альтернативным как неконтролируемому капитализму, так и тоталитарному коммунизму.

Представленная во Франкфуртской декларации трактовка демократического социализма в значительной мере отходила от тех принципов,

которыми руководствовалась европейская (или, по крайней мере, континентальная) социал-демократия в 1920—1930-е годы. Так, Декларация фактически положила конец доминирующему положению марксизма в рабочем движении: в ней говорилось, что демократический социализм не требует жесткого единообразия взглядов и его сторонники могут руководствоваться результатами марксистского либо какого-то иного метода социального анализа, религиозными или гуманитарными принципами²². Социалистическое движение, утверждалось в документе, все в большей степени становится движением не только рабочих, но и крестьян, ремесленников, служащих, мелких торговцев, лиц свободных профессий²³. Тем самым социал-демократы окончательно отказывались от веры во всемирно-историческую миссию рабочего класса. Во Франкфуртской декларации вообще не упоминалось о классовой борьбе, а продвижение к социализму связывалось исключительно с правительственной и парламентской деятельностью социал-демократии. Было отвергнуто и представление об исторической неизбежности прихода социализма.

²² *Braunthal (ed.) 1956: 41.*

²³ *Ibid.: 40.*

Как же выглядел социалистический идеал с точки зрения Декларации 1951 г.? «Социализм, — провозглашалось в ней, — стремится освободить народы от зависимости от меньшинства, которое владеет или распоряжается средствами производства. Его цель — передать право распоряжаться экономикой в руки всего народа и создать сообщество, в котором свободные люди работают вместе как равные»²⁴.

²⁴ *Ibidem.*

Согласно Франкфуртской декларации, социализм предполагал сочетание политической, экономической и социальной демократии. При этом изложенные в разделе о *политической демократии* представления о желательном государственном устройстве (гарантии фундаментальных прав и свобод человека, многопартийная система, свободные выборы, равенство всех граждан перед законом, независимость суда и др.), по сути, ничем не отличались от ключевых принципов либеральной демократии.

Экономическая демократия в понимании социал-демократов означала общественный контроль над экономикой, участие трудящихся в принятии хозяйственных решений. Если ранее условием утверждения социализма считалась социализация основных средств производства и обмена, то во Франкфуртской декларации делался упор на социалистическом планировании, вполне совместимом с сохранением частной инициативы в некоторых сферах экономики (сельском хозяйстве, ремесле, розничной торговле, мелкой и средней промышленности²⁵). Социалистическое планирование не подразумевало также, что все экономические решения будут приниматься правительством, — напротив, подчеркивалось, что «экономическая власть должна быть децентрализована настолько, насколько это совместимо с задачами планирования»²⁶. Кроме того, в Декларации выдвигалось требование демократического участия рабочих в управлении промышленностью²⁷.

²⁵ *Ibid.: 42—43.*

²⁶ *Ibid.: 43.*

²⁷ *Ibidem.*

Наконец, *социальная демократия* подразумевала реализацию важнейших социальных прав индивида — на труд, на медицинскую

помощь и охрану материнства, на отдых, на материальное обеспечение при утрате трудоспособности, на образование, на достойное жилье²⁸.

²⁸ *Ibidem.*

Принятие Франкфуртской декларации, таким образом, знаменовало собой еще один шаг на пути дерадикализации европейской социал-демократии и избавления ее от утопических концептов. Декларация полностью порывала с марксистской трактовкой перехода к социализму, рассматривая его как постепенное вращание экономической и социальной демократии в буржуазное общество. Были отброшены представления о мессианской исторической роли пролетариата, о неизбежности наступления социализма и необходимости полного обобществления промышленности. Более того, в Декларации нашел отражение этический, ценностный подход к социализму, характерный скорее для лейбористского, чем для марксистского дискурса. «Социалисты, — говорилось в ней, — выступают против капитализма не только потому, что он экономически расточителен и не обеспечивает массы материально, но прежде всего потому, что он оскорбляет их чувство справедливости. Они против любой формы тоталитаризма, поскольку тоталитаризм унижает человеческое достоинство»²⁹.

²⁹ *Ibid.*: 44.

С принятием Франкфуртской декларации европейское социал-демократическое движение вступило в стадию постмарксизма. На смену «научному социализму» как основе идеологии большинства социал-демократических партий пришел этический социализм, в рамках которого социализм трактуется в первую очередь как система нравственных ценностей, а социалистический идеал выводится из а priori присущих всем людям моральных принципов. В глазах этических социалистов обоснованием социалистической идеи солидарности, равноправия и уважения личности служит категорический императив Иммануила Канта, предполагающий недопустимость отношения к человеку как к средству. Капитализм осуждается ими прежде всего потому, что он низводит человека до средства производства.

Борьба за социализм при таком подходе сводится к попытке добиться реализации этических ценностей — свободы, справедливости, солидарности, равенства — в политике и экономике. Социалистическое движение, соответственно, вдохновляется не классовыми интересами пролетариата, а общечеловеческими нравственными мотивами. Так, в Заявлении Социнтерна о социализме и религии (1953) подчеркивалось, что «социализм — это моральный протест против унижения человека в современном обществе» и «в Европе одним из духовных и этических источников социалистической мысли является христианство»³⁰.

³⁰ *Ibid.*: 45.

Этическая трактовка социализма нашла отражение в ряде новых программ, принятых европейскими социал-демократическими партиями в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Самой известной из этих программ была Годесбергская программа СДПГ (1959). Немецкие социал-демократы (и не только немецкие) теперь видели в марксизме лишь один из духовных источников социалистического движения, наряду с христианской этикой, гуманизмом и классической философией³¹.

³¹ Суворов и Двинская (сост.) 2005: 154.

Отказ от большей части марксистского наследия мотивировался ими необходимостью адаптации к изменившимся со времен Маркса социальным условиям. Но, бесспорно, у него была и другая причина — стремление привлечь на свою сторону избирателя из средних слоев, которого марксистские установки скорее отпугивали.

Демократический социализм понимался в Годесбергской программе не как некое конечное гармоничное состояние общества, но как непрерывный процесс реформ, направленных на реализацию основных этических ценностей социал-демократии — свободы, справедливости, солидарности³². «Социализм, — говорилось в документе СДПГ, — является постоянной задачей — добиваться свободы и справедливости, сохранять их и утверждать себя в них»³³. Такая трактовка социализма означала, что СДПГ отказалась «от обоснованной с позиций исторической философии утопии»³⁴.

Адаптация немецких социал-демократов к реалиям окружающего мира выразилась и в том, что они признали ряд преимуществ рыночной экономики и взяли на вооружение некоторые концепты экономического либерализма. Рыночная конкуренция и свободная предпринимательская инициатива были объявлены важными элементами социал-демократической экономической политики; частной собственности гарантировалась защита и поощрение «в той мере, в какой она не препятствует созиданию справедливого социального строя»³⁵. Что касается традиционных социалистических требований национализации и планирования, то они играли в Годесбергской программе довольно скромную роль, причем подчеркивалось, что государство «должно в основном ограничиваться мерами косвенного воздействия на экономику»³⁶.

В пользу отказа от масштабного обобществления, которое ранее было одним из их важнейших требований, социал-демократы выдвигали несколько аргументов. Во-первых, они утверждали, что наличие частной собственности есть гарантия личной свободы. Во-вторых, указывали на то, что экономические пороки капитализма, от которых страдали рабочие в XIX — первой половине XX в., в значительной мере преодолены и многие цели рабочего движения достигнуты без всякого обобществления средств производства. В-третьих, ссылались на опыт СССР и других социалистических стран, свидетельствующий о том, что тотальная национализация не только не расширяет автоматически пространство политической свободы, но и может привести «к чрезмерной концентрации власти в руках неконтролируемой бюрократии, к появлению новой формы диктатуры»³⁷.

Итак, в 1950-е — начале 1960-х годов социал-демократами было признано, что социализм — это бесконечный процесс реализации в общественной жизни ценностей свободы, справедливости и солидарности. Такая трактовка социализма означала еще один шаг к отказу европейской социал-демократии от утопических представлений. Утопизм рассматривает преобразование общества «как полный разрыв исторической преемственности»³⁸, и именно так понимали приход социализма

³² Там же: 153.

³³ Там же: 154.

³⁴ Брандт 1992: 306.

³⁵ Суворов и Двинская (сост.) 2005: 158—159.

³⁶ Там же: 158.

³⁷ Брандт 1992: 101.

³⁸ Шацкий 1990: 39.

классики марксизма. Но демократический социализм, ориентирующийся на постепенное реформирование существующего общества, отнюдь не собирался радикально порывать с его институтами, в том числе с институтами рыночной экономики и частной собственности.

Что касается экономической теории социал-демократов, то в послевоенные десятилетия ею стало кейнсианство, воспринятое ими как обоснование возможности постепенного преобразования экономики в направлении демократического социализма посредством государственного регулирования. Как замечает теоретик СДПГ Томас Майер, кейнсианский инструментарий экономического регулирования «был выкроен как раз по мерке ее [социал-демократии] политических ценностей и целей»³⁹. В концепции Джона Мейнарда Кейнса, в частности, доказывалось, что перераспределение доходов в пользу низкооплачиваемых слоев, которое отстаивалось социал-демократами с позиций социальной справедливости, полезно и с экономической точки зрения, поскольку позволяет предотвращать циклические колебания конъюнктуры и обеспечивать постоянный экономический рост.

Кейнсианство легло в основу социал-демократической социально-экономической модели, которая сложилась в 1950—1960-е годы и, казалось, позволяла сочетать преимущества рыночной экономики с достоинствами государственного регулирования. Ключевыми ее элементами были смешанная экономика, развитое государство всеобщего благосостояния, кейнсианская финансово-экономическая политика, стимулирующая спрос путем увеличения государственных расходов, и социальное партнерство.

По заключению российского политолога Глеба Мусихина, инкорпорация элементов утопического видения в дизайн государственной политики ведет к демонтажу утопии⁴⁰. И действительно, по мере частичного осуществления социал-демократической утопии утопический потенциал демократического социализма ослабевал, особенно в странах Центральной и Северной Европы. Гораздо большую приверженность изначальным социалистическим установкам в 1970-е годы демонстрировали социалистические партии Южной Европы — французская (ФСП), испанская (ИСРП) и португальская (ПСП). Южноевропейские социалисты продолжали рассматривать социализм не как набор этических ценностей, а как новое общество, основанное на преобладании общественной собственности и самоуправлении. Так, в лексиконе ФСП 1970-х годов по-прежнему сохранялись такие понятия, как разрыв с капитализмом, классовый фронт, самоуправленческий социализм. А испанская и португальская социалистические партии, легализовавшиеся после падения в их странах авторитарных режимов, провозглашали своей целью завоевание власти рабочим классом, обобществление средств производства и создание бесклассового социалистического общества, базирующегося на самоуправлении.

Впрочем, довольно скоро дерадикализировались и эти партии. Французские социалисты после не слишком удачного «левого эксперимента»

³⁹ Майер 2000: 110.

⁴⁰ Мусихин 2013: 147.

1981—1983 гг. перешли на позиции традиционной социал-демократии. В конце 1970-х — начале 1980-х годов от многих утопических установок отказались и социалисты стран Пиренейского полуострова, чему в значительной мере способствовало их участие во власти. «В 1974 г., — констатирует британский политолог Дональд Сэссун, — ИСРП была партией радикальных смутьянов. Теперь [после прихода к власти в 1982 г.] она стала умеренной правящей партией. К середине 1980-х годов проводимая ИСРП ортодоксально либеральная политика дерегулирования сделала ее название — подчеркивающее, что она „социалистическая“ и „рабочая“, — полным анахронизмом»⁴¹.

⁴¹ *Sassoon 1996: 626.*

Идеологическая модернизация социал-демократии

Между тем с конца 1970-х годов европейская социал-демократия вступила в полосу кризиса. Схематически причины этого кризиса можно обрисовать следующим образом. В социальной структуре западноевропейских стран сокращалась доля традиционного рабочего класса — важнейшей социальной и электоральной опоры социал-демократии — при быстром росте численности новых средних слоев. Крупные предприятия с большим числом занятых и конвейерной системой вытеснялись мелкими и средними фирмами «новой экономики», что влекло за собой размывание социал-демократической политической культуры. Западное общество фрагментировалось, в нем возникало множество референтных групп, в то время как партийная идентификация индивида ослабевала. Все большее распространение получал «новый индивидуализм», плохо совместимый с коллективистскими и государственно-патерналистскими ценностями социал-демократии. В целом *Zeitgeist* в 1980-е годы стал более индивидуалистическим, и социал-демократия с ее этосом социальности и солидарности ему явно не соответствовала. Как отмечал на рубеже 1980—1990-х годов Майер, индивидуализированное самосознание «больше не увязывается с коллективно выработанными и солидарно одобренными политическими проектами, ибо верит, что эти планы уже не нужны для профессиональной деятельности отдельного человека, его социального бытия и частной жизни»⁴².

⁴² *Майер 1990: 118.*

Кризис коснулся и социал-демократической социально-экономической модели. Государство благосостояния все заметнее впадало в бюрократическое окостенение, что вело к ослаблению динамизма экономики и росту иждивенческих настроений. Более того, становилось ясно, что кейнсианская модель не соответствует эпохе информационно-компьютерных технологий и «новой экономики», требующей от субъектов рынка максимальной гибкости и инициативы. Ее возможности были поставлены под вопрос и процессом глобализации. К сказанному следует добавить, что крушение в 1989—1991 гг. так называемого «социалистического лагеря» обернулось дискредитацией в странах Запада самой социалистической идеи.

Под влиянием перечисленных выше процессов в ряде европейских социал-демократических партий активизировалось правое крыло,

позитивно настроенное по отношению к рыночной экономике. Теоретики этого направления, или неоревизионисты (*renovadores* в Испании, *modernizers* в Великобритании, *les nouveaux réalistes* в Бельгии), предлагали модернизировать идейный багаж социал-демократии, обогатив его элементами «здорового либерализма».

Особенно сильно данные тенденции проявились в 1990-е годы в ЛПВ и СДПГ. После того как в 1994 г. ЛПВ возглавил Тони Блэр, началось радикальное программно-идеологическое обновление партии, в ходе которого она заметно сдвинулась в сторону центра политического спектра. Позднее, в 1998 г., аналогичный процесс развернулся в СДПГ. В результате в западной социал-демократии обозначились два основных течения — «новые» (модернистские) и «старые» социал-демократы. Первое из них, связанное с именами Блэра и лидера СДПГ Герхарда Шрёдера, отказалось от многих традиционных социал-демократических представлений и тяготело к социал-либерализму.

Важнейшими концептами, которые Блэр и его единомышленники внесли в идеологию ЛПВ, были «новый лейборизм» (*New Labour*) и «третий путь» (*Third Way*). «Новый лейборизм» означал отказ от ряда постулатов «старого», этатистско-корпоративистского лейборизма, прежде всего от намерения повышать налоги на корпорации, расширять государственный контроль над экономикой и лоббировать интересы тред-юнионов. А «третий путь» пролегал уже не между неконтролируемым капитализмом и коммунизмом, но между неолиберализмом и традиционным демократическим социализмом, иными словами, между тэтчеризмом и кейнсианским государством благосостояния.

Провозгласив себя наследниками всей прогрессивной традиции британской мысли (как собственно лейбористской, так и социал-либеральной), «новые лейбористы» стремились дополнить социал-демократическую приверженность социальной справедливости, достигаемой посредством коллективных действий, приверженностью индивидуальной свободе и рыночной экономике⁴³. Символическим разрывом со «старым лейборизмом» стала отмена в 1995 г. по инициативе Блэра знаменитого 4-го пункта Устава ЛПВ, требовавшего обобществления основных средств производства, распределения и обмена. Согласно новой редакции этого пункта, целью Лейбористской партии теперь являлась не общественная собственность, а создание такого общества, в котором «власть, богатство и жизненные возможности принадлежат многим, а не меньшинству»⁴⁴.

Весьма позитивно относясь к рыночной экономике, Блэр и его единомышленники фактически отказались от кейнсианства в пользу близких к неоклассическим экономическим подходов. В отличие от «старых левых» они полагали, что рынки следует не ограничивать, а либерализовывать, используя результаты экономического роста, порожденного функционированием свободного конкурентного рынка, для увеличения инвестиций в общественные службы и финансирования государства благосостояния. Участие правительства в регулировании

⁴³ Милибэнд 2003: 28.

⁴⁴ Sassoon 1996: 739.

рыночной экономики, с их точки зрения, должно было быть значительно меньшим, нежели предписывал традиционный лейборизм. Что же касается государства благосостояния, то «новые лейбористы» считали необходимым преобразовать его в «государство социальных инвестиций», в рамках которого государственная помощь гражданам заключалась бы не столько в социальных выплатах, сколько в инвестициях, направленных на приобретение квалификации или переобучение. Ограничивая во время своего пребывания на посту премьер-министра (1997—2007) щедрость социального государства, Блэр всячески подчеркивал важность личных усилий и личной ответственности индивидов.

В то же время социальная политика правительства Блэра включала в себя и многие традиционные социал-демократические элементы. Неудивительно, что «новых лейбористов» нередко характеризовали как сторонников сочетания неолиберализма в экономике с социал-демократической социальной политикой, или социальных либералов. И действительно, по своим идейно-политическим установкам «новая» социал-демократия во многом приблизилась к социальному («рузвельтовскому») либерализму, олицетворяемому Демократической партией США.

Сходных с неолейбористскими взглядов придерживался и Шрёдер, который еще в середине 1990-х годов заявлял, что сегодня уже нет места для специфической социал-демократической экономической политики и речь может идти только о политике более современной или менее современной⁴⁵. Его социально-политическая концепция, сформулированная перед парламентскими выборами 1998 г., получила название «новая середина», или «новый центр» (Neue Mitte). Тем самым СДПГ демонстрировала намерение привлечь на свою сторону новые средние слои — высококвалифицированных наемных работников, мелких и средних предпринимателей, представителей свободных профессий и др. Не случайно предвыборная программа 1998 г. была, по словам Шрёдера, «самой рыночной» из всех предвыборных программ СДПГ. Реализм и энергия важнее, чем идеология, — таков был ее лейтмотив. Программа включала ряд предложений в духе «третьего пути» (сочетание политики повышения спроса с политикой, ориентированной на предложение; поддержка средних слоев, мелкого и среднего предпринимательства и др.⁴⁶).

Заняв в 1998 г. пост федерального канцлера, Шрёдер приложил немало усилий, чтобы маркетизировать социальную модель ФРГ. Как и «новые лейбористы», он считал иллюзией представление о том, что «больше государства» означает больше справедливости, и подчеркивал важность принципов субсидиарности и личной ответственности граждан⁴⁷, вспоминая в связи с этим слова Иоганна Гёте, называвшего лучшим то правительство, «которое учит нас править самими собой»⁴⁸. В начале XXI в. Шрёдером были инициированы реформы рынка труда и социальной сферы, направленные на сокращение

⁴⁵ *Maier 2000: 258.*

⁴⁶ *Мацонашвили 1998: 28—35.*

⁴⁷ *Schröder 2000: 202—204.*

⁴⁸ *Ibid.: 203.*

роли государства в экономике ФРГ, суть которых была изложена в программе «Повестка 2010» (2003) и нашла воплощение в пакете законов «Хартц IV» (2005). Реформы предполагали снижение налогов на бизнес и социальных взносов предпринимателей, дерегулирование рынка труда, уменьшение различных субсидий и льгот, сокращение сроков получения пособия по безработице, приватизацию федеральной собственности.

Проводимые правительством Шрёдера реформы оказались, однако, крайне болезненными и непопулярными, и их следствием стал отток из СДПГ левоориентированных членов, воспринявших политику руководства партии как фактический переход на неолиберальные позиции. Многие из тех, кто покинул СДПГ по причине несогласия с «Повесткой 2010», приняли участие в создании в 2007 г.левой партии, позиционировавшей себя в качестве антикапиталистической силы, стоящей на позициях демократического социализма и сохранившей приверженность изначальной утопии левых.

«Новая» социал-демократия, таким образом, отличалась от традиционной по целому ряду параметров. Во-первых, если «старая» социал-демократия, признавая преимущества рыночной экономики, настаивала на необходимости перераспределения создаваемых ею благ во имя социальной справедливости и сглаживания неравенства, то «новая» рассматривала социальную политику и социальные гарантии скорее как средство обеспечения более эффективного функционирования рыночной экономики. Во-вторых, если «старая» (кейнсианская) социал-демократия считала основным инструментом достижения своих целей государство, то «новая» — рыночную экономику. В-третьих, если для «старой» социал-демократии был характерен этос солидарности, государственно-патерналистские и коллективистские установки, то сторонники Блэра и Шрёдера делали акцент на индивидуальных усилиях, личной инициативе и предприимчивости. И, наконец, — last but not least — приверженцы «третьего пути» отодвинули на самый задний план социалистические традиции и утопические элементы социал-демократической идеологии, de facto отказавшись от такой исторической задачи социал-демократического движения, как ликвидация отчуждения труда.

На рубеже XX и XXI вв. идеи Блэра и Шрёдера широко обсуждались в европейских социал-демократических кругах. Они в определенной степени способствовали идеологической модернизации социал-демократии, отказу ее от этатистско-перераспределительных схем. В то же время рыночно ориентированный «третий путь» встретил поддержку далеко не во всех левоцентристских партиях. Превращению его в универсальную модель обновления европейской социал-демократии препятствовали, в частности, серьезные различия между европейскими странами с точки зрения традиций социалистического движения, укорененности левой политической культуры, отношений социал-демократов с профсоюзами, да и социальных условий.

В конце 1990-х годов идея «третьего пути» подверглась критике со стороны руководства Французской социалистической партии, более близкого по своим взглядам к кейнсианской социал-демократии. Лидер ФСП Лионель Жоспен доказывал, что социалистам следует с уважением относиться к собственным традициям, сохранять критическое отношение к капитализму (в том числе глобальному) и не торопиться сдавать в архив кейнсианские рецепты макроэкономического регулирования⁴⁹. Однако другие социал-демократические партии все же в той или иной степени «маркетизировали» свои программно-идеологические установки (что объяснялось, впрочем, не только влиянием концепции «третьего пути», но и очевидными императивами глобализации и «новой экономики»). В целом можно констатировать, что в конце XX — начале XXI в. идеология европейских социал-демократических партий обогатилась элементами неоллиберализма, следствием чего стал больший или меньший сдвиг этих партий в направлении политического центра. Показательно, что в начале XXI столетия термин «социализм» (или «демократический социализм») практически исчез из лексикона европейской социал-демократии. Смысл ее политической деятельности сводился теперь к формированию «хорошего», «цивилизованного» капитализма, который противопоставлялся капитализму «хищническому», «турбулентному», «капитализму джунглей».

⁴⁹ Жоспен 2000.

Возвращение к традициям

Эволюция европейской социал-демократии в сторону социального либерализма была прервана глобальным экономическим кризисом 2008 г. Банковско-финансовые потрясения 2007—2009 гг. были расценены социал-демократами как кризис неоллиберального капитализма и неоллиберальной модели глобализации, подтверждающий справедливость их базовых представлений о необходимости политического регулирования рынков. Под влиянием финансового кризиса социал-демократы стали возвращаться к своим традиционным установкам и ценностям, а в социал-демократический дискурс вернулись критика капитализма и даже понятие «социализм». Так, в предвыборном манифесте Партии европейских социалистов (ПЕС), принятом в декабре 2008 г., утверждалось: «Этот кризис знаменует собой окончание консервативной эры неэффективно регулируемых рынков. Консерваторы верят в рыночное общество и дают возможность богатым стать еще богаче в ущерб остальным. Мы верим в социальную рыночную экономику, которая позволит каждому члену общества максимально использовать возможности глобализации»⁵⁰. В качестве альтернативы неоконсерватизму ПЕС выдвигала «новый социализм», для которого главное — человек, а не рынок⁵¹.

⁵⁰ Предвыборный манифест 2009: 8.

⁵¹ Там же: 16.

Интересно отметить, что в документах социал-демократических партий и выступлениях их лидеров и теоретиков критике подвергается прежде всего авантюрно-спекулятивный капитализм (в терминологии

Макса Вебера), в то время как капитализм рационально-продуктивный берется под защиту. Краткосрочные финансовые спекуляции, надувание финансовых «мыльных пузырей», считают социал-демократы, не только наносят ущерб реальному сектору экономики, но и противоречат основным социал-демократическим ценностям. Выступая против неолиберальной стратегии невмешательства в рыночные процессы, европейские левоцентристы отстаивают необходимость активной промышленной политики, а некоторые из них в поисках рецептов преодоления рецессии вновь обратились к Кейнсу.

Банковско-финансовый кризис заставил вернуться к традиционным социал-демократическим ценностям даже те партии, которые дальше других продвинулись по пути модернизации, — ЛПВ и СДПГ. Возглавивший Лейбористскую партию после поражения ее на выборах 2010 г. Эдвард Милибэнд в значительной мере отошел от принципов «нового лейборизма» и «третьего пути». По словам британского политолога Юниса Гоуза, он «вернул в Лейбористскую партию социал-демократическую критику капитализма, которая отсутствовала в партийной риторике и политике в эру „нового лейборизма“»⁵².

⁵² *Goes 2016: 87.*

Вере «новых лейбористов» в благотворное влияние минимально регулируемых рынков и глобализации Милибэнд противопоставил концепцию «ответственного капитализма». Эта социально-экономическая модель, призванная стать альтернативой «хищническому капитализму» с присущими ему глубокими социальными контрастами, гипертрофией финансового сектора и чрезмерной ролью краткосрочных финансовых спекуляций, предполагала изменение баланса между финансовым и реальным сектором в пользу последнего и более активное вмешательство государства в экономику, в том числе посредством проводимой им промышленной политики.

В гораздо большей степени, чем «новых лейбористов», волновала Милибэнда и проблема социального неравенства. Его стремление сделать Великобританию более эгалитарной нашло воплощение в выдвинутой им в 2012 г. концепции «лейборизма одной нации» (One Nation Labour), согласно которой важнейшая задача ЛПВ заключается в том, чтобы ликвидировать существующие в британском обществе социальные барьеры и обеспечить всем гражданам равные жизненные шансы.

Впрочем, в дальнейшем ЛПВ ожидал еще более резкий сдвиг влево. После неудачной для партии парламентской кампании 2015 г. лидером лейбористов стал «твердый левый» Джереми Корбин. Его избрание на этот пост объяснялось прежде всего тем, что, согласно принятым в 2014 г. правилам, в голосовании могли участвовать не только члены ЛПВ и аффилированных с ней тред-юнионов, но и сторонники партии, значительную часть которых составила протестно настроенная молодежь, привержены социалистических традиций рабочего движения, члены различных левых группировок. Приверженцы Корбина, отмечает российский политолог Елена Ананьева, — это «коалиция

⁵³ *Ананьева 2016:*
84.

„старых левых“ и молодежи протеста, нонконформистов, людей вдохновения, а не разума, радио. Отринув прагматизм, они требуют идейной альтернативы, пусть и не рассчитывая на перемены в стране»⁵³. В 2016 г. Корбин был переизбран на пост лидера ЛПВ.

⁵⁴ *For the Many s.a.*

По своим взглядам Корбин — демократический социалист, испытывавший заметное влияние марксизма и стремящийся вернуть ЛПВ к ее социалистическим истокам и традициям. Будучи впервые избран в британский парламент в 1983 г., он вошел в состав группы «Социалистическая кампания», объединявшей наиболее левую часть лейбористских депутатов и выступавшей против отмены 4-го пункта Устава ЛПВ. Взгляды Корбина нашли отражение в предвыборном манифесте ЛПВ 2017 г. «Для многих, не для некоторых», где предлагалось национализировать ряд отраслей экономики (железные дороги, энергетику, почту), повысить налоги на прибыль корпораций и высокие личные доходы, увеличить государственные инвестиции и социальные расходы, отменить плату за высшее образование⁵⁴. Другими словами, от рыночного прагматизма эпохи Блэра ЛПВ в значительной мере вернулась к «старому» лейборизму.

⁵⁵ *Григорьев 2009.*

Аналогичным образом протекала и эволюция СДПГ в постшрёдеровскую эпоху. Под влиянием финансового кризиса 2008 г. партия сдвинулась от «новой середины» к более традиционным социал-демократическим ценностям. Очень сильный социальный уклон просматривался уже в предвыборной программе СДПГ 2009 г. — о социальных проблемах и социальной справедливости в ней говорилось более двухсот раз⁵⁵. Для выступлений лидеров и теоретиков СДПГ в 2010-е годы характерна критика «казино-капитализма» и «экономики мыльного пузыря», призывы к регулированию финансового рынка и введению специального налога на деятельность биржевых и финансовых спекулянтов. Вместо мер «жесткой экономии» предлагаются инвестиции, обеспечивающие экономический рост и увеличение занятости. Всячески подчеркивается и приверженность СДПГ идее справедливости. Именно обеспечение социальной справедливости было ключевой темой ее программы к парламентским выборам 2017 г., причем сама программа была озаглавлена «Пришло время для большей справедливости»⁵⁶. А в апреле 2018 г. лидером СДПГ была избрана Андреа Налес, в свое время критиковавшая «Повестку 2010» Шрёдера.

⁵⁶ *Zeit für mehr
Gerechtigkeit.*

В свою очередь, во Французской социалистической партии нарастало неприятие социал-либерального курса президента Франсуа Олланда. В результате на праймериз, на которых определялся кандидат от социалистов на президентских выборах 2017 г., победу одержал левый социалист Бенуа Амон, декларировавший намерение вернуть ФСП к ее истокам и традиционным ценностям левого движения. Стоит отметить, что ключевым пунктом программы Амона было введение «безусловного базового дохода» — ежемесячных универсальных выплат для всех французов вне зависимости от уровня их благосостояния.

Победа Амона на праймериз ФСП, как и избрание лидерами ЛПВ и СДПГ соответственно Корбина и Налес, в очередной раз свидетельствует о том, что движение социал-демократической партии в направлении деидеологизированного прагматизма имеет свои пределы. Проект нового общества, более свободного и справедливого, обеспечивающего всем равные жизненные шансы, во многом является основой социал-демократической идентичности, и европейские левоцентристы не могут от него полностью отказаться. Как полагает эксперт близкого к СДПГ Фонда Фридриха Эберта Марк Заксер, наличие позитивного видения посткапиталистического мира — необходимое условие восстановления социал-демократией ее политического потенциала⁵⁷.

⁵⁷ *Saxer 2013: 56.*

Неудивительно, что в настоящее время в европейских левоцентристских партиях происходит определенный возврат к социал-демократической «утопии-надежде» или ее элементам. И это, вероятно, не так уж плохо. Как заметил в свое время Вебер, «возможного нельзя было бы достичь, если бы в мире снова и снова не тянулись к невозможному»⁵⁸.

⁵⁸ *Вебер 2006: 528.*

Библиография

Ананьева Е.В. (2016) «Исчезающий центр» // *Международная жизнь*, № 10: 80—92.

Бернштейн Э. (2015) *Условия возможности социализма и задачи социал-демократии*. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ».

Брандт В. (1992) *Демократический социализм: Статьи и речи*. М.: Республика.

Варшавский В.С. (1982) *Родословная большевизма*. Paris: YMCA-Press.

Вебер М. (2006) «Политика как призвание и профессия» // Вебер М. *Избранное: Протестантская этика и дух капитализма*. М.: РОССПЭН: 485—528.

Гильфердинг Р. (1928) *Капитализм, социализм и социал-демократия: Сб. статей и речей*. М.—Л.: Московский рабочий.

Григорьев Е.Е. (2009) «Штайнмайер сделал заявку на канцлерство» // *Независимая газета*, 21.04. URL: http://www.ng.ru/world/2009-04-21/7_germany.html (проверено 03.05.2018).

Дюверже М. (2000) *Политические партии*. М.: Академический проект.

Жоспен Л. (2000) «На пути к более справедливому миру» // *Социал-демократия перед лицом глобальных проблем*. М.: ИНИОН РАН: 106—127.

Каутский К. (1917) *На другой день после социальной революции*. Петроград: Пролетарская мысль.

Ласки М. (1991) «Утопия и революция» // *Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы*. М.: Прогресс: 170—209.

- Майер Т. (1990) «Парадигмы социализма в Европе, история и современность» // *Коммунист*, № 3: 111—121.
- Майер Т. (2000) *Трансформация социал-демократии: Партия на пути в XXI век*. М.: Памятники исторической мысли.
- Мационашвили Т.Н. (1998) *Социал-демократическая партия Германии перед выборами 1998 г.* М.: ИНИОН РАН.
- Милибэнд Д. (2003) «Будущее новых лейбористов: взгляд изнутри» // *Социал-демократия сегодня*. Вып. 2. М.: ИНИОН РАН: 27—41.
- Мусихин Г.И. (2013) *Очерки теории идеологий*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики.
- Новгородцев П.И. (1991) *Об общественном идеале*. М.: Пресса.
- Предвыборный манифест Партии европейских социалистов*. (2009) М.: Ключ-С.
- Суворов Ю.В. и В.Т.Двинская, сост. (2005) *Германская социал-демократия: Сборник документов*. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ.
- Шацкий Е. (1990) *Утопия и традиция*. М.: Прогресс.
- Bauer O. (1936) *Zwischen zwei Weltkriegen? Die Krise der Weltwirtschaft, der Demokratie und des Sozialismus*. Bratislava: E. Prager Verlag.
- Braunthal J., ed. (1956) *Yearbook of the International Socialist Labour Movement, 1956—1957*. London: Lincolns-Praeger.
- For the Many, Not the Few: The Labour Party Manifesto 2017*. URL: <https://labour.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/labour-manifesto-2017.pdf> (accessed 10.04.2018).
- Goes E. (2016) *The Labour Party under Ed Miliband: Trying but Failing to Renew Social Democracy*. Manchester: Manchester University Press.
- Kautsky K. (1918) *Die Diktatur des Proletariats*. Wien: Ignaz Brand & Co.
- Kolakowski L. (1981) *Main Currents of Marxism: Its Origins, Growth and Dissolution*. Vol. 3. Oxford: Oxford University Press.
- Michels R. (1989) *Zur Soziologie des Parteiwesens in der moderner Demokratie*. 4. Aufl. Stuttgart: Kröner.
- Sassoon D. (1996) *One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century*. New York: The New Press.
- Saxer M. (2013) «Utopie, Technokratie und Kampf: Wege aus der Krise der Sozialdemokratie» // *Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte*, № 11: 51—56. URL: http://www.frankfurter-hefte.de/upload/Archiv/2013/Heft_11/PDF/2013-11_saxer.pdf (accessed 05.05.2018).
- Schröder G. (2000) «Die Zivile Bürgergesellschaft: Anregungen zu einer Neubestimmung der Aufgaben von Staat und Gesellschaft» // *Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte*, № 4: 200—207.
- Zeit für mehr Gerechtigkeit*. URL: https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Regierungsprogramm/SPD_Regierungsprogramm_BTW_2017_A5_RZ_WEB.pdf (accessed 03.05.2018).



N.V.Rabotyazhev

REALISM AND UTOPIA IN THE IDEOLOGY OF EUROPEAN SOCIAL DEMOCRACY

Nikolai V. Rabotyazhev — Ph.D. in Political Science; Leading Researcher at Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences. Email: rabotiajev@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the analysis of the combination of utopian and realistic components in the ideology of the European social democracy. The author demonstrates that during the 20th century social democracy abandoned many utopian ideas and illusions. In the end of the 19th — first half of the 20th century the European social democratic parties (except for the British Labour Party) utilized Marxism as their dominant ideology, in that dogmatized form that it received from F.Engels, K.Kautsky and G.Plekhanov, although even at that time a number of provisions of Marxist doctrine were called into question by the representatives of the revisionist forces led by E.Bernstein. During the subsequent de-radicalization, social democrats in fact switched to the positions of social reformism. In the 1950s, they abandoned many of the Marxist postulates and proclaimed their commitment to ethical socialism within mixed economy. In the late 1970s, the fact that the Keynesian socio-economic model that they created sailed into the crisis aggravated the trend towards de-radicalization of social democratic parties, which manifested itself in the strengthening of the pro-market wing. The most active processes of ideological modernization unfolded in the British Labour Party and the Social Democratic Party of Germany, resulting in the emergence of a “new” social democracy (T.Blair’s “New Labour”, G.Schröder’s “Neue Mitte”). However, the 2008 global financial-economic crisis interrupted the movement of the European social democracy towards social liberalism, and in the 2010s social democratic parties again largely returned to their traditional agenda. According to the author’s assessment, the recent “left turn” of the social democracy indicates that it is not able to fully switch to market pragmatism and still needs “Utopia-Hope”.

Keywords: social democracy, utopia, Marxism, democratic socialism, “third way”, “New Labour”

References

- Anan’eva E.V. (2016) “Ischezajushchij Tsentr” [Vanishing Centre] // *Mezhdunarodnaja Zhizn’* [International Affairs], no. 10: 80–92. (In Russ.)
- Bauer O. (1936) *Zwischen zwei Weltkriegen? Die Krise der Weltwirtschaft, der Demokratie und des Sozialismus*. Bratislava: E. Prager Verlag.

- Bernstein E. (2015) *Uslovija vozmozhnosti sotsializma i zadachi sotsial-demokratii* [Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie]. Moscow: Knizhnyj dom "LIBROCOM". (In Russ.)
- Brandt W. (1992) *Demokraticeskij sotsializm: Stat'i i rechi* [Democratic Socialism: Articles and Speeches]. Moscow: Respublica. (In Russ.)
- Braunthal J., ed. (1956) *Yearbook of the International Socialist Labour Movement, 1956—1957*. London: Lincolns-Praeger.
- Duverger M. (2000) *Politicheskie partii* [Political Parties]. Moscow: Akademicheskij Projekt. (In Russ.)
- For the Many, Not the Few: The Labour Party Manifesto 2017*. URL: <https://labour.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/labour-manifesto-2017.pdf> (accessed 10.04.2018).
- Goes E. (2016) *The Labour Party under Ed Miliband: Trying but Failing to Renew Social Democracy*. Manchester: Manchester University Press.
- Grigor'ev E.E. (2009) "Steinmeier sdelał zajavku na kantslerstvo" [Steinmeier Applied for the Chancellor Office]. *Nezavisimaya gazeta*, 21.04. URL: http://www.ng.ru/world/2009-04-21/7_germany.html (accessed 03.05.2018)
- Hilferding R. (1928) *Kapitalizm, sotsializm i sotsial-demokratija: Sbornik statej i rechej* [Capitalism, Socialism and Social Democracy: Collection of Articles and Speeches]. Moscow — Leningrad: Moskovskij rabochij. (In Russ.)
- Jospin L. (2000) "Na puti k bolee spravedlivomu miru" [On the Way to a More Just World] // *Sotsial-demokratija pered litsom global'nykh problem* [Social Democracy Facing Global Problems]. Moscow: INION RAN. (In Russ.)
- Kautsky K. (1917) *Na drugoj den' posle sotsialnoj revolutsii* [Am Tage nach der sozialen Revolution]. Petrograd: Proletarskaja Mysl'. (In Russ.)
- Kautsky K. (1918) *Die Diktatur des Proletariats*. Wien: Ignaz Brand & Co.
- Kolakowski L. (1981) *Main Currents of Marxism: Its Origins, Growth and Dissolution*. Vol. 3. Oxford: Oxford University Press.
- Laski M. (1991) "Utopija i revolutsija" [Utopia and Revolution] // *Utopija i utopicheskoe myshlenije: antologija zarubezhnoj literatury* [Utopia and Utopian Thought: Anthology of Foreign Literature]. Moscow: Progress: 170—209. (In Russ.)
- Matsonashvili T.N. (1998) *Sotsial-demokraticeskaja partija Germanii pered vyborami 1998 g.* [Social Democratic Party of Germany before the Elections of 1998]. Moscow: INION RAN. (In Russ.)
- Meyer T. (1990) "Paradigmy sotsializma v Evrope, istorija i sovremennost'" [The Paradigms of Socialism in Europe: History and Present Day] // *Kommunist* [Communist], № 3: 111— 121 (In Russ.)
- Meyer T. (2000) *Transformatsija sotsial-demokratii: Partija na puti v XXI vek* [The Transformation of Social Democracy: The Party on the Way to the 21 Century]. Moscow: Pamjatniki istoricheskoy mysli. (In Russ.)
- Michels R. (1989) *Zur Soziologie des Parteiwesens in der moderner Demokratie*. 4. Aufl. Stuttgart: Kröner.
- Miliband D. (2003) "Budushchee novykh lejboristov: vzglyad iznutri" [The Future of New Labour: a View from Inside] // *Sotsial-demokratija*

segodnja [Social Democracy Today]. Issue 2. Moscow: INION RAN: 27—41 (In Russ.)

Musikhin G.I. (2013) *Ocherki teorii ideologii* [Essays on the Theory of Ideologies]. Moscow: Izdatel'skij dom Vysshej shkoly ekonomiki. (In Russ.)

Novgorodtsev P.N. (1991) *Ob obshchestvennom ideale* [On the Social Ideal]. Moscow: Pressa. (In Russ.)

Predvybornyj manifest Partii evropejskikh sotsialistov (2009) [Election Manifesto of the Party of European Socialists]. Moscow: Kluch-C. (In Russ.)

Sassoon D. (1996) *One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century*. New York: The New Press.

Saxer M. (2013) “Utopie, Technokratie und Kampf: Wege aus der Krise der Sozialdemokratie” // *Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte*, № 11: 51—56. URL: http://www.frankfurter-hefte.de/upload/Archiv/2013/Heft_11/PDF/2013-11_saxer.pdf (accessed 05.05.2018).

Schröder G. (2000) “Die Zivile Bürgergesellschaft: Anregungen zu einer Neubestimmung der Aufgaben von Staat und Gesellschaft” // *Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte*, № 4: 200—207.

Suvorov Yu.V. and V.T.Dvinskaja, sost. (2005) *Germanskaja sotsialdemokratija: Sbornik dokumentov* [German Social Democracy: Collection of Documents]. Petrozavodsk: Izd-vo PetrGU. (In Russ.)

Szacki J. (1990) *Utopija i traditsija* [Utopia and Tradition]. Moscow: Progress. (In Russ.)

Varshavsky V.S. (1982) *Rodoslovnaja bolshevizma* [The Genealogy of Bolshevism]. Paris: YMCA-Press. (In Russ.)

Weber M. (2006) “Politika kak prizvanije i professija” [Politik als Beruf] // Weber M. *Izbrannoje: Protestantskaja etika i dukh kapitalizma* [Selected Works: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism]. Moscow: ROSSPEN: 485—528. (In Russ.)

Zeit für mehr Gerechtigkeit URL: https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Regierungsprogramm/SPD_Regierungsprogramm_BTW_2017_A5_RZ_WEB.pdf (accessed 03.05.2018).



О.Г.Харитоновна
**КРИЗИСНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
ТУРЕЦКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ**

Оксана Геннадьевна Харитоновна — кандидат политических наук, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО(У) МИД РФ. Для связи с автором: o.haritonova@inno.mgimo.ru.

Аннотация. Прошедшие в Турции 24 июня 2018 г. парламентские и президентские выборы знаменовали собой завершение длительного процесса институциональных трансформаций, приведшего к утверждению в стране президентской системы. На основе анализа динамики конституционных полномочий президентов в статье рассмотрена эволюция турецкого института президентства и зафиксированы особенности турецких версий парламентской, премьер-президентской и президентской систем. Для выявления логики институциональных изменений проанализированы также существовавшие в стране партийные и электоральные системы, распределение мест в парламенте и роль армии.

С момента образования Турецкой республики в ней были приняты три конституции, произошло четыре военных переворота (в том числе два «постмодернистских»), сменилось 64 правительства. Вплоть до конца 2007 г. в стране действовала парламентская система, прошедшая через две фазы — стабильного однопартийного правительства и неэффективного фракционного плюрализма с коалиционными правительствами или правительствами меньшинства. Высокая фрагментация партийной системы, неэффективность правительств и регулярные вмешательства армии в политику блокировали преимущества парламентской модели. Все конституционные изменения в Турции становились реакцией на кризисы и осуществлялись путем «наслаивания», когда новые правила не заменяли прежние, а дополняли их. Оставив за президентом те довольно существенные полномочия, которыми наделяла его Конституция 1982 г., и дополнив их всенародным избранием, Турция перешла от парламентской системы к премьер-президентской с сильным президентом. При переходе к президентской системе полномочия президента были еще больше расширены. По заключению автора, объем этих полномочий настолько велик, что введенную в Турции систему следует квалифицировать как суперпрезидентскую.

Ключевые слова: парламентская система, президентская система, премьер-президентская система, полномочия президентов, Турция

Парламентские системы Турции¹ Линц 1994.² Лейнхарт 1995.³ Шугарт и Кэри 2006.⁴ Fish 2006.⁵ Cheibub 2007.

Три конституции — 1924, 1961 и 1982 гг. — провозглашали Турцию парламентской республикой, что, по мнению большинства политологов (в том числе Хуана Линца¹, Аренда Лейпхарта², Мэттью Шугарта и Джона Кэри³, Стивена Фиша⁴, Хосе Антонио Чейбуа⁵ и др.), является оптимальным институциональным дизайном для консолидации демократии. Парламентским системам, где, наряду с главой государства (как правило, неизбираемым или избираемым законодательным собранием либо некоей специально образуемой коллегией, но в любом случае обладающим в основном номинальными властными полномочиями) действует глава исполнительной власти (премьер-министр), зависящий от поддержки парламентского большинства, свойственны взаимозависимость исполнительной и законодательной властей и невозможность их «раздельного выживания» (термин Шугарта), когда ни одна ветвь власти не может распустить другую без самороспуска.

Для парламентских систем характерны консенсус и сотрудничество между ветвями власти, однако при наличии устойчивого большинства и отсутствии сдерживающих его механизмов подобная система вполне может служить прикрытием *de facto* авторитарного правления. Именно такая ситуация и сложилась в Турции в середине 1920-х годов. Конституция 1924 г., разработанная однопартийным парламентом во главе с Народной партией (с 1924 г. — Республиканская народная партия) Мустафы Кемала Ататюрка, хотя и «была демократической по духу и не содержала намека на однопартийный режим, стала инструментом его поддержания, так как не предусматривала сдержек и противовесов абсолютной власти парламентского большинства»⁶. Будучи прогрессивным в культурном плане, однопартийный кемалистский режим (1923—1945 гг.) был авторитарным в плане политическом.

⁶ *Özbudun 2012: 40.*

В 1937 г. в Конституцию Турции были внесены поправки, конституционно закреплявшие шесть основополагающих принципов кемализма — республиканизм, национализм, народность, лаицизм, этатизм и реформизм. Именно к этим принципам (и к личности Ататюрка) в дальнейшем апеллировала армия для легитимации своего вмешательства в политику. Война за независимость Турции, приведшая к появлению республики, превратила армию в чрезвычайно значимого актора турецкой политики, и в течение XX в. она выступала гарантом национальной безопасности и общественного порядка в стране, в случае серьезных политических кризисов задействуя механизм государственного переворота.

Первые многопартийные выборы в Турции состоялись только в 1946 г., ознаменовав собой переход к двухпартийной системе, в рамках которой на лидирующие позиции быстро выбилась правоцентристская Демократическая партия (ДП), с 1950 г. получавшая существенно больше мест в парламенте, чем левоцентристская Республиканская народная партия⁷. Демократическая по названию, но не по духу ДП становилась все более авторитарной и антисекularной, что повлекло за собой вмешательство армии, в 1960 г. совершившей государственный

⁷ *Здесь и далее конкретные данные о распределении мест в парламентах Турции см. табл. 2 Приложения.*

⁸ *Hazama 1996.* переворот⁸. Как заявлялось в преамбуле Конституции 1961 г., «воодушевленная единым духом турецкого национализма, армия использует свое право противостоять угнетению со стороны политической власти, утратившей легитимность вследствие действий, противоречащих закону и Конституции турецкой нации»⁹.

⁹ *Constitution 1961.*

По Конституции 1961 г. главой государства являлся президент, наделенный церемониальными функциями и призванный представлять Турецкую республику и обеспечивать единство и целостность турецкой нации. Чтобы решать эти задачи, президент должен был стоять над партиями, потому в Конституцию впервые было введено положение о нейтральности и беспартийности президента. Президент избирался на один семилетний срок из состава нижней палаты парламента абсолютным большинством голосов ее членов. Его законодательные полномочия *de facto* ограничивались промульгацией принятых парламентом законов; все президентские указы должны были получать контрасигнатуру премьер-министра или профильных министров. Исполнительные полномочия президента включали в себя назначение премьер-министра и членов правительства (по предложению премьер-министра) из состава парламента, возможность председательствовать на заседаниях правительства и объявление новых выборов после повторного вынесения вотума недоверия правительству. По сути, функции президента сводились главным образом к представительским, и он не входил в число реальных властных игроков, в качестве которых выступали премьер-министр и парламента. Ввиду несовпадения сроков полномочий парламента и президента их политические предпочтения могли различаться, но незначительность полномочий президента исключала конфликты между ними.

Период действия Конституции 1961 г., самой демократической из всех турецких конституций, отличался высоким уровнем идейно-политической фрагментации, неэффективностью, нестабильностью и регулярными парламентами кризисами. После переворота 1960 г. на деятельность ДП был наложен запрет, что привело к конкуренции между политическими партиями за ее избирателей. Заметная их часть ушла к Партии справедливости Сулеймана Демиреля. По результатам выборов 1965 и 1969 гг. эта партия получила большинство мест в парламенте, а тем самым — и возможность сформировать правительство. Однако в 1971 г. последовало очередное вмешательство армии: 12 марта начальник Генерального штаба Турции Мемдух Таджмач вручил премьер-министру меморандум, в котором от имени вооруженных сил республики потребовал «создания в соответствии с демократическими принципами сильного и заслуживающего доверия правительства, которое, воодушевившись идеями Ататюрка... покончит с анархией, братоубийственной борьбой и социально-экономическими беспорядками». В случае невыполнения этих требований армия грозила «выполнить свой конституционный долг и взять власть»¹⁰. В итоге правительству Демиреля пришлось уйти в отставку.

¹⁰ *Turkish Regime 1971.*

В 1970-х годах фрагментация парламента продолжала оставаться серьезным препятствием для принятия законов, необходимых для преодоления кризиса. В условиях идеологической поляризации действовавшая еще с 1961 г. пропорциональная электоральная формула имела своим следствием не только вхождение в парламент радикальных партий (правых Партии национального действия и Партии национального спасения и левой Рабочей партии), но и отсутствие партии большинства (по результатам выборов 1973 и 1977 гг.) и неэффективные коалиционные правительства. Несмотря на наличие в парламенте еще пяти-шести партий, не менее 75% мест в нем контролировали две основные партии — Республиканская народная и Партия справедливости, однако ни одна из них не могла сформировать однопартийное правительство, а глубокие идеологические разногласия не позволяли им договориться. Оценивая сложившуюся тогда ситуацию, турецкий исследователь Реджеп Тюрк отмечает, что она, по сути, исключала возможность эффективного правительства, ибо «многопартийные коалиции затемняли принцип ответственности, краткосрочные коалиции, строящиеся на небольшом перевесе, не могли принять серьезных мер для борьбы с социально-экономическим кризисом, а правительства меньшинства были не в состоянии действовать быстро, сильно и решительно»¹¹. Ответом на политическую и социальную нестабильность стал военный переворот 1980 г. Как и в случае с переворотом 1960 г., обоснование действий армии нашло отражение в преамбуле новой Конституции, где утверждалось, что армия вмешалась «в ответ на призыв от турецкой нации... в момент приближения сепаратистской, разрушительной и кровавой гражданской войны, беспрецедентной для республиканской эпохи и угрожающей целостности турецкой нации, Родине и существованию священного турецкого государства»¹².

¹¹ *Türk 2011: 41.*

¹² *Constitution 1982.*

Будучи детищами военных переворотов, конституции 1961 и 1982 гг. несли на себе отпечаток «авторитарного, этатистского и опекунского менталитета своих военных основателей» (Комитета национального единства в 1960 г. и Совета национальной безопасности в 1980 г.)¹³. Одной из палат двухпалатных конституционных собраний стали правящие военные советы, да и состав второй — палаты представителей (1960—1961) и консультативной ассамблеи (1981—1983) — был сформирован отнюдь не посредством всенародных выборов: при формировании палаты представителей был использован механизм кооптации (что означало, в частности, исключение сторонников свергнутой ДП), а консультативная ассамблея состояла из лиц, назначенных военным советом¹⁴. Конституция 1961 г. закрепляла роль армии, предусматривая вхождение ех *officio* председателя и членов Комитета национального единства в сенат (включавший в себя также 150 избранных и 15 назначенных президентом сенаторов), призванный выступать противовесом нижней палате. Следить за соблюдением действующей конституции должен был Конституционный суд, который, используя предоставленные ему

¹³ *Özbudun 2012: 40.*

¹⁴ *Ibidem.*

полномочия, в период между 1963 и 1980 г. запретил деятельность шести, а между 1980 и 2008 г. — 18 политических партий левой, прокурдской или исламистской направленности¹⁵.

¹⁵ *Anayasa Mahkemesi s.a.*

В 1970-е годы политические партии и выборные политики не смогли доказать свою эффективность и заслужить доверие армии, поэтому та взяла на себя роль «беспристрастного» арбитра, обеспечивающего единство турецкой нации и гарантирующего исполнение Конституции. Переходные статьи Конституции 1982 г. предусматривали, что президентом республики на семилетний срок станет председатель Совета национальной безопасности, и после вступления ее в действие этот пост занял организатор переворота 1980 г. генерал Кенан Эврен. В соответствии с теми же переходными статьями сам Совет национальной безопасности был трансформирован в Президентский совет, уполномоченный проверять принимаемые парламентом законы на предмет соответствия «фундаментальным правам и свободам, принципу секуляризма, сохранения реформ Ататюрка, национальной безопасности и общественного порядка»¹⁶. Как отмечает турецкий исследователь Вахап Кошкун, армия «выбрала защиту интересов государства, а не граждан, привилегии государственной власти, а не индивидуальные свободы, стремясь эффективно мобилизовать, а не ограничить власть государства... Конституция поставила президента в центр политической системы и наделила его полномочиями, которые противоречили духу классического парламентского режима»¹⁷. На смену классическому парламентаризму пришел «ослабленный парламентаризм» (*parlementarism atténué*)¹⁸.

¹⁶ *Constitution s.a.: 94.*

¹⁷ *Coşkun 2013: 96.*

¹⁸ *Özbudun and Gençkaya (eds.) 2009: 21.*

По новой Конституции президент избирался парламентом на один семилетний срок (двумя третями голосов; если в первых двух турах ни один из претендентов не набирал такого числа голосов, проводился третий тур, в котором для избрания достаточно было абсолютного большинства). После избрания президент должен был выйти из состава парламента (если входил в него ранее, что не было обязательным условием) и отказаться от членства в какой-либо политической партии. При этом президентские полномочия были существенно расширены. Помимо промульгации законов, назначения премьер-министра и членов правительства, объявления новых выборов и возможности председательствовать на заседаниях правительства, он мог теперь выступать с ежегодным обращением к парламенту, при необходимости созывать его, возвращать законы на пересмотр, обращаться в Конституционный суд, выносить на референдум поправки к Конституции, вводить чрезвычайное положение, издавать указы в соответствии с решениями правительства, принятыми под его председательством, созывать Совет национальной безопасности и председательствовать на его заседаниях, а также подписывать декреты. Президент назначал 14 из 17 членов Конституционного суда, четверть членов Государственного совета, генерального прокурора, членов Образовательного совета и ректоров университетов.

В Конституции 1982 г. содержалось противоречие, потенциально ставившее президента над остальными органами власти. С одной стороны, как и в других парламентских системах, указы президента (за исключением специально оговоренных случаев) требовали контрасигнатуры премьер-министра или профильного министра, с другой — никто не имел права «обращаться в какую-либо судебную инстанцию, включая Конституционный суд, на предмет рассмотрения решений или распоряжений, подписанных президентом по собственному усмотрению»¹⁹.

¹⁹ *Constitution s.a.*:
52.

Таким образом, Конституция 1982 г. сделала президента серьезным властным игроком, тем самым создав почву для конфликтов между ним и ветвями власти и поставив гаранта закона над законом. Эврен отказывал в промульгации принятым парламентом законам 26 раз, а Недждет Сезер — 73 раза²⁰. Следует отметить, что в 2001 г. в Конституцию были внесены поправки, еще больше усилившие президента, наделив его правом частичного вето, хотя ранее «все партнеры по коалиции... говорили о необходимости уменьшения вето-полномочий президента»²¹.

²⁰ *Türk 2011*: 36.

²¹ *Gönenç 2001*:
107.

Одно из важнейших преимуществ парламентской системы заключается в наличии механизма преодоления взаимного блокирования законодательной и исполнительной власти. Этим механизмом является роспуск парламента и новые выборы. По Конституции 1982 г. правом распускать парламент в случае невозможности сформировать правительство или ветоума недоверия действующему правительству оказался наделен президент.

Среди проблем, побудивших армию в 1980 г. вмешаться в политический процесс, немаловажное место занимали фрагментация парламента и неэффективные коалиционные правительства. Преодолеть их было призвано электоральное законодательство, прежде всего 10-процентный избирательный порог, установленный в 1983 г. Кроме того, был введен 10-летний запрет на деятельность прежних партийных лидеров (снятый в 1987 г.). Сочетание этих двух факторов привело к тому, что по результатам первых после переворота выборов в парламент прошли только три новообразованные партии. На этих и следующих выборах (состоявшихся в 1987 г.) победу одержала Партия отечества, при поддержке 45,1% и 36,3% избирателей соответственно²² получившая абсолютное большинство мест в парламенте, что позволило ей сформировать однопартийный кабинет.

²² *Parliamentary Elections 2015*:
66—67.

После того как запрет на деятельность лидеров 1970-х годов был снят, Демирель создал Партию верного пути, а Бюлент Эджевит — Демократическую левую партию. Начиная с 1991 г. ни одной из партий не удавалось получить большинство в парламенте, электоральное поведение отличалось высокой волатильностью (см. *рис. 3 Приложения*), парламент был фрагментирован и поляризован (см. *рис. 2 Приложения*), правительства — неэффективны. В результате на политическую сцену вновь вышла армия. 28 февраля 1997 г. на заседании Совета национальной безопасности был принят меморандум, потребовавший

отставки премьер-министра Неджметтина Эрбакана (Партия благоденствия) и возглавляемого им коалиционного правительства. Отставка произошла без роспуска парламента и приостановки действия Конституции, поэтому адмирал Селим Дервишоглу, в то время заместитель генерального секретаря Совета национальной безопасности, назвал этот переворот «постмодернистским»²³. В 1998 г. Партия благоденствия была запрещена, и в 1999 г. ее место заняла Партия добродетели, а после запрета последней (за антисекулярную деятельность) в 2001 г. — Партия справедливости и развития (которая в 2008 г. тоже была на грани запрета по аналогичному обвинению). С 2002 г. Партия справедливости и развития (ПСР) доминирует в партийной системе и в парламенте Турции, и на четырех из пяти состоявшихся с того времени выборах получала абсолютное большинство, необходимое для формирования кабинета.

Итак, парламентская система в Турции прошла через две фазы — (1) стабильного однопартийного правительства и (2) неэффективного фракционного плюрализма с коалиционными правительствами или правительствами меньшинства. В первом случае исполнительная власть, сконцентрированная в руках премьер-министра, оказывалась вне парламентского контроля, во втором — неэффективность и нестабильность приводили к вмешательству военного арбитра. По мнению Реджепа Тюрка, премьер-министры Турции использовали парламенты в качестве «нотариальной конторы»: в период с 1961 по 2010 г. «парламент 251 пытался объявить [правительству] вотум недоверия, но только две его попытки увенчались успехом... из 644 парламентских запросов только 14 были рассмотрены правительством, и лишь 14 из 888 парламентских предложений были приняты к рассмотрению»²⁴.

Подобное положение дел не могло не найти отражения в политическом дискурсе. В политических и академических кругах не ставился вопрос о переходе к президентской или полупрезидентской системе²⁵, за такой переход выступали президенты Тургут Озал и Демирель. «За четыре года своего президентства, — отмечал Демирель, — я видел шесть правительств, и в этой картине не все в порядке. Исполнительная власть должна быть независимой от власти законодательной, законодательная и судебная власти должны служить сдержками и противовесами для власти исполнительной, а это возможно только в президентской системе»²⁶. И во второй половине 2000-х годов Турция двинулась в этом направлении.

²³ «Post-modern»
Coups 2016.

²⁴ *Türk 2011: 36.*

²⁵ *Gönenç 2008: 522.*

²⁶ *Çum. no Türk 2011: 42.*

Переход к полупре- зидентской системе

Термин «полупрезидентский режим» был введен в 1980 г. Морисом Дюверже для обозначения систем, предполагающих всенародные выборы президента и наделение его существенными полномочиями при зависимости правительства от доверия парламентского большинства²⁷. Известно два типа полупрезидентских систем — премьер-президентские и президентско-парламентские. Из этих двух вариантов

²⁷ *Duverger 1980.*

Турция выбрала первый, при котором и президент, и парламент играют определенную роль в формировании правительства (путем выдвижения или утверждения кандидатов на министерские посты), но лишь парламент уполномочен смещать его через вотум недоверия. В идеально-типической модели премьер-президентской системы президент (глава государства) избирается всенародно, а функции исполнительной власти возложены на премьер-министра и правительство, ответственные перед парламентом.

Переход к премьер-президентской системе стал ответом на кризис, связанный с выборами президента в 2007 г. ПСР, контролировавшая большинство мест в парламенте, не обладала двумя третями голосов (367), необходимыми для избрания на пост президента ее кандидата (Абдуллаха Гюля) в первых двух турах, однако имевшейся у нее поддержки было вполне достаточно для победы его в третьем туре. Подобная перспектива не устраивала не только противников ПСР в парламенте, но и армию, рассматривавшую избрание Гюля как угрозу секулярным основам республики. В апреле 2007 г. на официальной странице Генштаба был размещен электронный меморандум, где говорилось: «Проблема, возникшая в процессе президентских выборов, имеет прямое отношение к дискуссии о секуляризме... Турецкие вооруженные силы являются... безусловными поборниками секуляризма <...> и выражают непоколебимую решимость выполнить свои вытекающие из закона обязанности по защите не подлежащих изменению параметров Турецкой республики»²⁸. Однако прямого вмешательства армии на этот раз не последовало.

²⁸ *Excerpts 2007.*

Процесс выборов президента был приостановлен Конституционным судом, после чего парламент принял решение о самороспуске, а ПСР при поддержке небольшой оппозиционной партии добилась принятия конституционных поправок, предусматривавших, в частности, прямые выборы президента, сокращение срока его полномочий с семи до пяти лет с возможностью переизбрания на второй срок и номинирование кандидатов политическими партиями. Будучи убежден, что «если президент станет избираться всенародно, его широкие полномочия, направленные на достижения равновесия в парламентской системе, могут создать проблемы»²⁹, особенно в случае номинирования кандидатов политическими партиями, что приведет к политизации этого поста, действующий президент Ахмет Недждет Сезер попытался оспорить поправки в Конституционном суде, а когда тот его не поддержал, вынес их на референдум.

²⁹ *Turkey President 2007.*

Референдум, прошедший в октябре 2007 г., завершился победой сторонников перехода к премьер-президентской системе. Однако, поскольку к моменту его проведения избранный в июле новый парламент успел выбрать президента по старым правилам, de facto этот переход состоялся только спустя семь лет, после президентских выборов 2014 г. Победу на них одержал один из основателей и лидер ПСР Реджеп Эрдоган, с 2003 г. занимавший пост премьер-министра страны. Согласно

внутренним правилам ПСР, председатель партии не может возглавлять ее более трех электоральных циклов, поэтому всенародное избрание президентом было для Эрдогана и способом сохранить свои властные позиции.

³⁰ Шугарт и Кэри
2006: 228.

По мнению Шугарта и Кэри, наиболее надежными для демократии являются две опции дизайна — «высокая обособленность функционирования властей с низкими законодательными полномочиями президента» и «низкая обособленность [функционирования властей] с низкими полномочиями [президента] в отношении кабинета»³⁰. Иными словами, успешному функционированию демократии в наибольшей степени благоприятствуют президентские и премьер-президентские системы со слабым президентом.

³¹ Roper 2002: 269.

³² Elgie 2005.

Наличие у всенародно избранного президента в рамках премьер-президентской системы чрезмерных полномочий чревато подрывом стабильности демократии и перерождением ее в диктатуру. По заключению Стивена Роупера, «большие президентские полномочия [в премьер-президентских системах] усиливают неустойчивость правительства, и это может нарушить целостность всей политической системы»³¹. А Роберт Элджи даже считает, что из всех видов полупрезидентских систем препятствий на пути демократической консолидации не создают только системы с «церемониальными президентами»³².

³³ См. Харитонова
2014.

В отличие от президентско-парламентских систем, системы премьер-президентские обычно не предполагают наделения президентов большими полномочиями³³. Однако в случае Турции дело обстояло иначе. Как показывает проведенный нами анализ, полномочия президентов в этой стране были весьма значительными еще при парламентской системе и с переходом к премьер-президентской системе лишь выросли.

При анализе полномочий турецких президентов мы использовали модифицированную версию списка полномочий Шугарта-Кэри. К законодательным полномочиям были отнесены право вето, право законодательной инициативы, право издавать указы, бюджетные полномочия, право выносить вопросы об изменении Конституции на референдум и возможность судебного пересмотра решений, принятых президентом; к исполнительным — полномочия, связанные с формированием и отставкой правительства (с учетом участия в этом процессе парламента), роспуском парламента, назначениями на ключевые неправительственные посты и введением чрезвычайного положения. Поскольку всенародное избрание повышает легитимность президента, а партийность усиливает его влияние на парламента, при анализе учитывались также эти переменные.

Для оценки «веса» каждой из переменных им были присвоены следующие значения:

I. Законодательные полномочия

а) *право вето*

3 — вето не преодолевается или для его преодоления необходимо более 2/3 голосов

- 2 — вето преодолевается квалифицированным большинством в 2/3
 - 1 — вето преодолевается обычным (абсолютным) большинством
 - 0 — отсутствие права вето
 - б) *законодательная инициатива*
 - 2 — есть
 - 1 — есть в исключительных случаях
 - 0 — нет
 - в) *указы*
 - 3 — президент может издавать указы по собственному усмотрению
 - 2 — президент может издавать указы, но если парламент принимает закон на ту же тему, указ президента теряет силу
 - 1 — президент издает указы во исполнение Конституции и законов или решений других органов власти
 - 0 — необходима контрасигнатура профильных министров
 - г) *бюджет*
 - 2 — президент готовит и представляет бюджет
 - 1 — президент утверждает и представляет парламенту бюджет, подготовленный правительством
 - 0 — правительство готовит и представляет бюджет
 - д) *референдум*
 - 2 — президент может назначать референдум
 - 1 — президент может назначать референдум только с согласия парламента
 - 0 — президент не может назначать референдум
 - е) *судебный пересмотр*
 - 2 — решения и указы, принятые президентом по своему усмотрению, не подлежат судебному пересмотру
 - 1 — президент может обращаться с запросами в Конституционный суд
 - 0 — президент не может обращаться с запросами в Конституционный суд
- II. Исполнительные полномочия
- а) *формирование правительства*
 - 3 — президент назначает (может назначать) правительство без согласия парламента
 - 2 — президент назначает правительство с согласия парламента
 - 1 — президент назначает премьер-министра с учетом распределения мест в парламенте либо по результатам консультаций с фракциями или премьер-министра назначает парламент по представлению президента
 - 0 — президент не участвует в формировании правительства
 - б) *вотум недоверия правительству*
 - 2 — парламент не может выражать недоверие правительству

- 1 — в случае вынесения парламентом вотума недоверия президент может распустить его
 - 0 — президент не может распустить парламент в случае вынесения им вотума недоверия правительству
 - в) *отставка правительства*
 - 1 — президент по собственной инициативе освобождает от должности премьер-министра и членов правительства
 - 0 — отставка правительства происходит только по решению парламента (вотум недоверия)
 - г) *ропуск парламента*
 - 3 — неограниченное право роспуска парламента
 - 2 — ограниченное право роспуска парламента
 - 1 — роспуск парламента приводит к новым президентским выборам
 - 0 — нет права роспуска парламента
 - д) *назначения на ключевые неправительственные посты*
 - 3 — президент осуществляет все ключевые назначения
 - 2 — президент назначает, парламента утверждает
 - 1 — президент предлагает кандидатуры, парламента назначает
 - 0 — парламента осуществляет все ключевые назначения
 - е) *чрезвычайное положение*
 - 2 — вводится президентом
 - 1 — вводится правительством (с утверждением парламентом)
 - 0 — вводится по решению парламента
- III. Всенародное избрание и партийность
- а) *прямые выборы президента*
 - 1 — есть
 - 0 — нет
 - б) *партийность*
 - 1 — президент может принадлежать к политической партии
 - 0 — при вступлении в должность президент должен прекратить свое членство в политической партии.

Результаты анализа приведены в *табл. 1*. Динамика роста полномочий президентов отражена на *рис. 1*.

При переходе к премьер-президентской системе Турция оставила за президентом те полномочия, которыми наделяла его Конституция 1982 г. По сути дела речь шла об институциональных изменениях путем «наслаивания», когда новые правила не заменяют прежние, а дополняют их. Согласно неинституциональной теории, подобное развитие событий становится возможным, если вето-игроки (в данном случае армия) способны добиться сохранения институтов, но не могут предотвратить их изменения³⁴. В Турции на весьма существенные полномочия президента «наслоилось» всенародное избрание, что коренным образом изменило его место в структуре власти.

По мнению критиков премьер-президентских систем, одним из недостатков такого рода институционального дизайнера является возможность

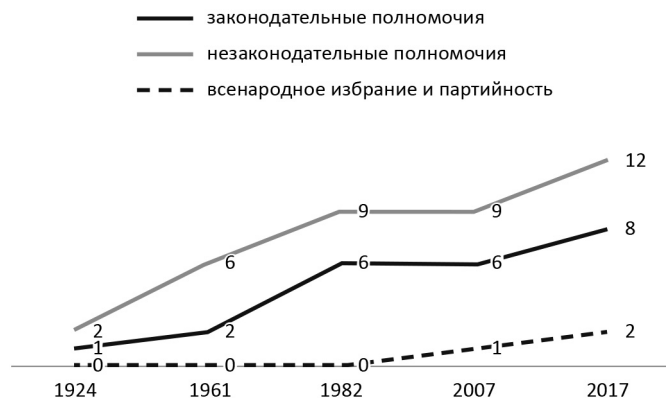
³⁴ Mahoney and Thelen 2010.

Таблица 1 Конституционные полномочия президентов Турции

| | <i>Конституция 1924</i> | <i>Конституция 1961</i> | <i>Конституция 1982</i> | <i>Поправки 2007</i> | <i>Поправки 2017</i> |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Законодательные полномочия | | | | | |
| Право вето | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Законодательная инициатива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Указы | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Референдум | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Судебный пересмотр | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Всего | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| Исполнительные полномочия | | | | | |
| Формирование правительства | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Вотум недоверия правительству | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Отставка правительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Роспуск парламента | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Назначения на ключевые неправительственные посты | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Чрезвычайное положение | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Всего | 2 | 6 | 9 | 9 | 12 |
| Всенародное избрание и партийность | | | | | |
| Прямые выборы президента | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Партийность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

Источники: Earle E.M. (1925) «The New Constitution of Turkey» // *Political Science Quarterly*, vol. 40, no. 1: 73–100; *Constitution of the Turkish Republic*. (1961) URL: www.anayasa.gen.tr/1961constitution-text.pdf; *Constitution of the Republic of Turkey (With Amendments through 2007)*. URL: https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf; *Amendment Proposal to the Turkish Constitution*. (2017) URL: <https://politicsandlawinturkey.wordpress.com/publications/contributions-of-fellows/2017-amendment-proposal-to-the-turkish-constitution/>.

Рисунок 1 Динамика роста президентских полномочий



³⁵ Шугарт и Кэри 2006: 232.

ситуации, когда президент и премьер-министр принадлежат к разным партиям, что чревато конфликтами между ними. Иначе говоря, система изначально несет в себе конфликтный потенциал, тогда как в демократии «институты должны быть регуляторами, а не генераторами конфликта»³⁵. Особенно остро данная проблема стоит в тех странах, где парламентские и президентские выборы разведены во времени. К их числу относилась и Турция, так как в соответствии с конституционными поправками 2007 г., сократившими срок полномочий президента до пяти лет, срок полномочий парламента был сокращен до четырех.

Конституционные изменения 2007 г. обеспечили президенту Турции демократическую легитимность, но не единоличный контроль над правительством, которое осталось подотчетно парламенту, поэтому в случае победы на парламентских выборах оппозиционных сил ему пришлось бы «сосуществовать» с оппозиционным премьер-министром. После парламентских выборов июня 2015 г., по итогам которых ПСР получила 258 мест из 550 и не смогла сформировать кабинет, подобная перспектива стала вполне реальной. Выход был найден в проведении новых (досрочных) выборов, состоявшихся в ноябре 2015 г. Чтобы обеспечить победу ПСР, формально беспартийный Эрдоган пошел на нарушение конституционного принципа «равноудаленности» и открыто поддержал предвыборную кампанию ее лидера Ахмета Давутоглу.

Важно отметить, что, поскольку премьер-президентским системам свойственна исполнительная диархия, когда президент олицетворяет государство и нацию, а премьер-министр руководит внутренней политикой, конфликты между этими двумя актерами возможны и при единстве партийной идентификации. Именно следствием такого конфликта и стала отставка в мае 2016 г. премьер-министра Турции Давутоглу.

Еще в 2012 г. ПСР поставила перед собой задачу «нормализовать турецкую политику» и посредством проведения «политики единства» стать «гарантом единства и неделимости Турции»³⁶, и конфликты внутри партии мешали ее решению. Как заявил, уходя в отставку, Давутоглу, «наша партия стоит на пороге новой эры. Это время единства <...> судьба ПСР — это судьба Турции»³⁷. С назначением премьер-министром сторонника президентской формы правления и давнего соратника Эрдогана Бинали Йылдырыма такое единство было достигнуто за счет смещения баланса в пользу президента, однако оно требовало институционального закрепления.

Существует несколько институциональных способов обеспечить единство между президентом и правительством. Важнейшими из них являются синхронизация президентских и парламентских выборов (что практически гарантирует пропрезидентское большинство в парламенте) и подчинение правительства президенту. Турция использовала оба варианта.

**Переход
к президентской
системе**

О необходимости для Турции «системы правления, которая не будет парализована из-за слабых и бессильных правительств, открытых для вмешательства»³⁸, ПСР заявляла давно. «Нам нужна политическая система... с полным разделением и независимостью исполнительной и законодательной властей... — говорилось, в частности, в перспективной программе партии на 2023 г. — Поэтому будет выбрана либо президентская система, либо полупрезидентская, либо партийное президентство»³⁹.

После избрания на пост президента Эрдоган стал вести речь о минусах премьер-президентской системы и необходимости замены ее президентской: «Многоглавая система замедляет процесс развития, как кандалы... Для развития следует изменить Конституцию... Я верю, что все проблемы будут решены в президентской системе»⁴⁰. К концу 2016 г. соответствующие конституционные поправки были рассмотрены парламентом и вынесены на референдум, назначенный на апрель 2017 г. Референдум проходил в условиях чрезвычайного положения, введенного после провала военного путча 16 июля 2016 г., что, формально не сделав его неконституционным, существенно ограничило возможности оппозиции артикулировать свою точку зрения. Победа на референдуме сторонников перехода к президентской системе преподносилась как выражение всенародного доверия Эрдогану и политике ПСР, однако в действительности, несмотря на все ухищрения, она была одержана с очень небольшим перевесом (51,3% при явке 84%)⁴¹.

В соответствии с новыми поправками президент Турции, оставаясь главой государства, одновременно становится и главой правительства. Положение, предполагавшее беспартийность президента, было отменено. Парламентарии утратили какой-либо контроль над

³⁶ *Political Vision* 2012: 5.

³⁷ *Davutoğlu* 2016.

³⁸ *Political Vision* 2012: 16.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Erdoğan* 2015.

⁴¹ *Turkey Approves* 2017.

исполнительной властью, включая возможность влиять на формирование правительства, объявлять ему вотум недоверия и даже задавать его членам устные вопросы (последние теперь могут задаваться только в письменной форме). Президент сохранил право назначать членов Конституционного суда и выносить законы на его рассмотрение. Среди других полномочий президента следует упомянуть право издавать указы, имеющие силу закона (при отсутствии соответствующего закона; в случае принятия такового указ теряет силу), вводить чрезвычайное положение, издавать декреты, объявлять новые выборы и назначать референдум. Вместе с тем из Конституции было удалено положение о невозможности судебного пересмотра решений президента. В случае нарушения им Конституции и законов парламент может прибегнуть к процедуре импичмента. Решение об импичменте принимается двумя третями голосов депутатов, что в условиях доминирования в парламенте пропрезидентской партии практически исключает использование данного механизма. В целом, по совокупности президентских полномочий введенную в Турции систему можно квалифицировать как суперпрезидентскую.

Согласно критикам президентской системы, президенциализму присущ целый ряд черт, таящих в себе угрозу демократии. К их числу относятся прежде всего временная негибкость (фиксированные сроки полномочий президента и парламента), двойная легитимность (и президент, и парламент избираются всенародно), мажоритарные тенденции (отсутствие институциональных механизмов, способных обеспечить адекватное представительство меньшинств) и персонализм.

При наличии у исполнительной и законодательной власти независимых источников демократической легитимности их избрание на строго фиксированный срок делает возможные конфликты между ними практически неразрешимыми. Для предотвращения подобной ситуации в обновленной турецкой Конституции были предусмотрены два механизма: синхронизация сроков полномочий президента и парламента (и, соответственно, президентских и парламентских выборов, что резко снижает вероятность победы на них противостоящих сил) и возможность досрочного роспуска парламента (как по его собственной инициативе, так и по инициативе президента), за которым следуют новые (опять же синхронные) выборы обеих ветвей власти.

Однако, как справедливо замечает Шугарт, наделение президента правом роспуска парламента «не делает систему более „президентской“, ибо президенциализм по определению означает разделение не только источника (origin), но и выживания [президента и парламента]»⁴². При этом наличие у президента такого права позволяет ему «обуздывать парламент и представленные там партии»⁴³, тем самым подрывая независимость законодательной власти и ее способность служить противовесом власти исполнительной. Конечно, предоставление парламенту аналогичного рычага давления на президента несколько смягчает ситуацию, но в то же время открывает перед последним возможность

⁴² Shugart 2005: 334.

⁴³ Ibidem.

обойти конституционное положение о не более чем двух сроках, поскольку при проведении досрочных выборов по инициативе парламента за действующим президентом закреплено право в них участвовать, даже если он занимает свой пост повторно.

Свойственные президентским системам мажоритарные тенденции выражены в избранной Турцией модели президентциализма очень отчетливо. Признавая «существование социальных, этнических и религиозных различий, но не присутствие их на национальном уровне», ПСР полагает себя «единым легитимным выразителем воли нации»⁴⁴. В этих условиях наличие внутри- и межпартийных расхождений воспринимается как однозначное зло, подлежащее искоренению. Соответственно, не предусмотрены и какие-либо механизмы учета интересов меньшинств и выработки компромиссов.

⁴⁴ Akça, Bekmen, and Özden (eds.) 2013: 41.

Главная проблема президентских систем — персонализация политики, порождающая у президента ощущение всенародного мандата, что, в свою очередь, может побудить его «рассматривать свою политику как отражение народной воли, а политику своих оппонентов — как злые козни, направленные на защиту узких интересов»⁴⁵. Подобная установка вполне характерна для Эрдогана, обвиняющего оппозицию в том, что она «не имеет целей развития. Они противоречат всему, что мы говорим. Если мы говорим „белое“, они отвечают „черное“, если мы говорим „черное“, они отвечают „белое“»⁴⁶.

⁴⁵ Линц 1994.

⁴⁶ Erdoğan 2015.

Персонализация политики чревата злоупотреблением властью и превышением президентом своих полномочий. В частности, при отсутствии поддержки со стороны парламентского большинства он может перейти к «правлению указами», тем самым еще больше снижая значимость парламента. Гильермо О’Доннелл назвал такую модель «делегативной демократией»⁴⁷, в рамках которой победа на президентских выборах трактуется как мандат на управление страной, выданный народом и потому освобождающий президента от подотчетности кому-либо, кроме народа. Именно так и трактует свое положение в структуре власти Эрдоган: «Ответственность лежит на правительстве, основанном на национальной воле. Если национальная воля наделяет вас властью, вы должны идеально ее использовать»⁴⁸.

⁴⁷ O’Donnell 1994.

⁴⁸ Erdoğan 2015.

По мнению турецких исследователей, Эрдоган в настоящее время является «единственным сильным турецким политиком», влияние которого сопоставимо с влиянием Ататюрка⁴⁹. Показательно, что после избирательной кампании 2011 г., когда Эрдоган «лично составлял списки кандидатов, убирая из них сторонников президента Гюля как потенциального соперника на будущих президентских выборах и окружая себя исключительно лоялистами», в ПСР его «стали называть „Великим учителем“ (Büyük Usta) и наделять божественными чертами»⁵⁰. Учитывая османский опыт единоличного правления, многие полагают, что переход к президентской системе приведет к появлению в Турции «выборного султана»⁵¹.

⁴⁹ Coşkun 2013.

⁵⁰ Akkoyunlu 2014: 252—253.

⁵¹ Türk 2011: 43.

* * *

С момента образования Турецкой республики в ней были приняты три конституции, произошло четыре военных переворота (в том числе два «постмодернистских») сменилось 64 правительства (65 кабинет был назначен в мае 2016 г.). Эффективные однопартийные правительства существовали только в период с 1965 по 1971 г., с 1983 по 1991 г. и после 2002 г., когда в стране утвердилась многопартийная система с доминирующей партией. С 2002 г. в Турции действует формула «доминантная партия плюс доминантный лидер... факторы, позволяющие сочетать сильное и эффективное лидерство и успешную политическую стратегию»⁵².

⁵² Fuat 2014: 25.

Основным направлением эволюции турецкой политической системы была трансформация церемониального президента в главу исполнительной власти, которая получила завершение с принятием конституционных поправок 2017 г., означавшим, по словам Эрдогана, «коренное изменение системы управления»: «Мы упраздняем систему, которая не могла преодолеть перевороты, меморандумы, попытки переворотов, нестабильность и, как следствие, экономический кризис и опекунский суверенитет. На ее месте будет система, в которой государством будет управлять всенародно избранный президент, что обеспечит политическую стабильность»⁵³.

⁵³ New Year Message 2017.

С проведением 24 июня 2018 г. президентских и парламентских выборов президентская система в Турции стала реальностью. Убедительная победа, одержанная на этих выборах Эрдоганом и официально номинировавшим его в качестве своего кандидата «Народным альянсом», образованным ПСР совместно с праворадикальной Партией националистического движения, делает вероятным утверждение в стране единоличной власти президента.

Библиография

Лейпхарт А. (1995) «Конституционные альтернативы для новых демократий» // *Полис. Политические исследования*, № 2: 135—146.

Линц Х. (1994) «Опасности президентства» // *Пределы власти*, вып. 2—3: 3—24. URL: <http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem14.htm> (проверено 7.06.2018).

Харитоновна О.Г. (2014) «Постсоветские конституции: Только ли институты имеют значение?» // *Политическая наука*, № 1: 69—93.

Шугарт М. и Дж.Кэри. (2006) «Президенты и законодательные собрания» // Даль Р.А., И.Шапиро и Х.А.Чейбуб, сост. *Теория и практика демократии: Избранные тексты*. М.: Ладомир: 228—231.

Акча Ы., А.Бекмен, and В.Öзден, eds. (2013) *Turkey Reframed: Constituting Neoliberal Hegemony*. London: Pluto Press.

Akkoyunlu F. (2014) *The Rise and Fall of the Hybrid Regime: Guardianship and Democracy in Iran and Turkey*. London: London School of Economics.

Amendment Proposal to the Turkish Constitution. (2017) URL: <https://politicsandlawinturkey.wordpress.com/publications/contributions-of-fellows/2017-amendment-proposal-to-the-turkish-constitution/> (accessed 1.04.2018).

Anayasa Mahkemesi 44 yilda 24 parti kapatti. URL: <http://bianet.org/bianet/siyaset/103054-anayasa-mahkemesi-44-yilda-24-parti-kapatti> (accessed 5.05.2018).

Cheibub J. (2007) *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy.* New York: Cambridge University Press.

Constitution of the Republic of Turkey. (1982) URL: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b5be0.html> (accessed 1.04.2018).

Constitution of the Republic of Turkey (With Amendments through 2007). URL: https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf (accessed 1.04.2018).

Constitution of the Turkish Republic. (1961) URL: www.anayasa.gen.tr/1961constitution-text.pdf (accessed 1.04.2018).

Coşkun V. (2013) «Constitutional Amendments under the Justice and Development Party Rule» // *Insight Turkey*, vol. 15, no. 4: 95—113.

«Davutoğlu Stepping down as Turkish PM, AKP to Hold Snap Congress». (2016) // *Hurriyet Daily News*, 05.05. URL: <http://www.hurriyetdailynews.com/davutoglu-stepping-down-as-turkish-pm-akp-to-hold-snap-congress-98766> (accessed 5.05.2018).

Duverger M. (1980) «New Political System Model: Semi-Presidential Government» // *European Journal of Political Research*, vol. 8, no. 2: 165—187.

Earle E.M. (1925) «The New Constitution of Turkey» // *Political Science Quarterly*, vol. 40, no. 1: 73—100.

Elgie R. (2005) «A Fresh Look at Semi-presidentialism: Variations on a Theme» // *Journal of Democracy*, vol. 16, no. 3: 98—112.

Erdoğan R. (2015) «Interview» // *Turkish Radio and Television Corporation (TRT)*, 29.01. URL: <https://www.tccb.gov.tr/en/interviews/1716/3190/turkish-radio-and-television-corporation-trt.html> (accessed 01.06.2018).

Erdoğan R. (2017) *New Year Message.* URL: www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/87951/new-year-message.html (accessed 1.05.2018).

«Excerpts of Turkish Army Statement». (2007) // *BBC News*, 28.04. URL: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6602775.stm> (accessed 1.05.2018).

Fish S. (2006) «Stronger Legislatures, Stronger Democracies» // *Journal of Democracy*, vol. 17, no. 1: 5—20.

Fuat K. (2014) «The AK Party: Dominant Party, New Turkey and Polarization» // *Insight Turkey*, vol. 16, no. 2: 19—31.

Gönenç L. (2004) «The 2001 Amendments to the 1982 Constitution of Turkey» // *Ankara Law Review*, vol. 1, no. 1: 89—109.

Gönenç L. (2008) «Presidential Elements in Government: Turkey» // *European Constitutional Law Review*, vol. 4, no. 3: 488—523.

Hazama Y. (1996) «Constitutional Review and Parliamentary Opposition in Turkey» // *The Developing Economies*, vol. 32, no. 3: 316—338.

Kalaycioglu E. (2008) «Attitudinal Orientation to Party Organizations in Turkey in the 2000s» // *Turkish Studies*, vol. 9, no. 2: 297—316. URL: <https://>

www.researchgate.net/publication/263759218_Atitudinal_Orientation_to_Party_Organizations_in_Turkey_in_the_2000s (accessed 1.06.2018).

Mahoney J. and K.Thelen. (2010) «A Gradual Theory of Institutional Change» // Mahoney J. and K.Thelen, eds. *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*. Cambridge: Cambridge University Press: 1—37.

O'Donnell G.A. (1994) «Delegative Democracy» // *Journal of Democracy*, vol. 5, no. 1: 55—69. URL: http://rochelleterman.com/ComparativeExam/sites/default/files/Bibliography%20and%20Summaries/O'Donnell%201994_0.pdf (accessed 5.06.2018).

Özbudun E. (2012) «Turkey's Search for a New Constitution» // *Insight Turkey*, vol. 14, no. 1: 39—50.

Özbudun E. and Ö.F.Gençkaya, eds. (2009) *Democratization and the Politics of Constitution-making in Turkey*. New York: CEU Press.

Parliamentary Elections in Turkey. (2015) URL: http://www.byegm.gov.tr/uploads/docs/ingilizce_kitap_Ic.pdf (accessed 1.05.2018).

Political Vision of AKP 2023. (2012) URL: <http://www.akparti.org.tr/upload/documents/akparti2023siyasivizyonuingilizce.pdf> (accessed 1.06.2018).

«„Post-modern“ Coup of Religious, Political Oppression». (2016) // *Daily Sabah*, 26.08. URL: <https://www.dailysabah.com/feature/2016/08/26/feb-28-a-post-modern-coup-of-religious-political-oppression> (accessed 1.05.2018).

Roper S. (2002) «Are All Semi-presidential Regimes the Same? A Comparison of Premier-Presidential Regimes» // *Comparative Politics*, vol. 34, no. 3: 253—272.

Shugart M.S. (2005) «Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns» // *French Politics*, vol. 3, no. 3: 323—351. URL: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2Fpalgrave.fp.8200087.pdf> (accessed 5.05.2018).

Türk R. (2011) «Feasibility of Presidential System in Turkey» // *Turkish Journal of Politics*, vol. 2, no. 1: 33—48.

«Turkey Approves Presidential System in Tight Referendum». (2017) // *Hurriyet Daily News*, 16.04. URL: <http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-approves-presidential-system-in-tight-referendum--112061> (accessed 5.05.2018).

Turkey Election Results. (2018) URL: <http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-elections-2018> (accessed 26/06/2018).

«Turkey President Vetoes Vote Plan». (2007) // *BBC*, 25.05. URL: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6692123.stm> (accessed 5.05.2018).

«Turkish Regime Is Ousted by the Military Leaders». (1971) // *New York Times*, 13.03. URL: <https://www.nytimes.com/1971/03/13/archives/turkish-regime-is-ousted-by-the-military-leaders-no-move-made-to.html#story-continues-1> (accessed 5.05.2018).

Таблица 2 Распределение мест в парламенте Турции

| Год выборов | Политическая партия / % мест в парламенте | | | ЭЧПП | ИЭВ | | | |
|--|---|-------|-----------------------|-------|-----------|-------|------|------|
| Двухпартийная система | | | | | | | | |
| | РНП | ДП | Другие | ЭЧПП | ИЭВ | | | |
| 1946 | 85,37 | 13,12 | 1,5 | 1,34 | | | | |
| 1950 | 14,17 | 85,42 | 0,41 | 1,33 | | | | |
| 1954 | 5,73 | 92,98 | 1,29 | 1,15 | 7,3 | | | |
| 1957 | 29,18 | 69,51 | 1,31 | 1,76 | 7,9 | | | |
| Многопартийная система (I) | | | | | | | | |
| | ПБ | ПС | Другие (число партий) | ЭЧПП | ИВП | | | |
| 1961 | 38,44 | 35,11 | 26,44 (2) | 3,26 | | | | |
| 1965 | 29,78 | 53,33 | 16,89 (4) | 2,62 | 24,5 | | | |
| 1969 | 31,78 | 56,89 | 11,33 (6) | 2,35 | 11,4 | | | |
| 1973 | 41,11 | 35,11 | 25,78 (5) | 3,32 | 28,4 | | | |
| 1977 | 47,33 | 42 | 10,67 (4) | 2,47 | 18,3 | | | |
| Многопартийная система (II) | | | | | | | | |
| | НП/СДНП/ РНП/ДЛП | ПО | НДП | ПВП | ПБ/ ПД | ПНД | ЭЧПП | ИЭВ |
| 1983 | 29,32 НП | 52,88 | 17,79 | | | | 2,52 | |
| 1987 | 22 СДНП | 64,89 | | 13,11 | | | 2,05 | |
| 1991 | 19,56 СДНП | 25,56 | | 39,56 | 13,78 | | 3,58 | 16,6 |
| 1995 | 8,91 РНП 13,82 ДЛП | 24 | | 24,55 | 28,73 | | 4,4 | 23 |
| 1999 | 24,73 ДЛП | 14,64 | | 15,45 | 20,18 | 23,45 | 4,87 | 22,6 |
| Многопартийная система с доминирующей партией | | | | | | | | |
| | ПСР | РНП | Другие (число партий) | ЭЧПП | ИЭВ | | | |
| 2002 | 66 | 32,36 | 1,64 (1) | 1,85 | 43,9 | | | |
| 2007 | 62 | 20,36 | 17,64 (1) | 2,25 | 17,3 | | | |
| 2011 | 59,45 | 24,55 | 16 (1) | 2,34 | 5,47 | | | |
| 2015 (1) | 46,91 | 24 | 26,09 (2) | 3,13 | 16,48 | | | |
| 2015 (2) | 57,45 | 24,36 | 18,18 (2) | 2,46 | 7,8 | | | |

Таблица 2
(продолжение)

| Год выборов | Политическая партия / % мест в парламенте | | | ЭЧПП | ИЭВ |
|---|---|--------------------------------|-----------------------|------|-------|
| Многопартийная система с двумя блоками | | | | | |
| | НА | АН | Другие (число партий) | | |
| 2018 | 53,7 (42,6 ПСР; 11,1 НДП) | 33,9 (22,6 РНП; 10,0 ХП) | 11,7 (1) | 3,07 | 10,68 |

Условные обозначения:

ЭЧПП — эффективное число парламентских партий

ИЭВ — Индекс электоральной волатильности

АН — Альянс нации (блок РНП и ХП)

ДЛП — Демократическая левая партия

ДП — Демократическая партия

НА — Народный альянс (блок ПСР и НДП)

НДП — Националистическая демократическая партия

НП — Народная партия

ПБ — Партия благоденствия

ПВП — Партия верного пути

ПД — Партия добродетели

ПНД — Партия националистического движения

ПО — Партия отечества

ПС — Партия справедливости

ПСР — Партия справедливости и развития

РНП — Республиканская народная партия

СДНП — Социал-демократическая народная партия

ХП — Хорошая партия

Источники: *Parliamentary Elections in Turkey*. (2015) URL: http://www.byegm.gov.tr/uploads/docs/ingilizce_kitap_Ic.pdf; Kalaycioglu E. (2008) Attitudinal Orientation to Party Organizations in Turkey in the 2000s // *Turkish Studies*, vol. 9, no. 2; *Turkey Election Results*. (2018) URL: <http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-elections-2018>.

Рисунок 2 Эффективное число парламентских партий

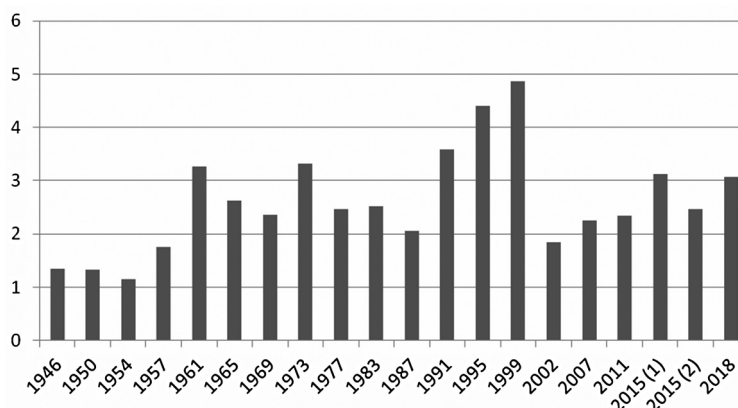
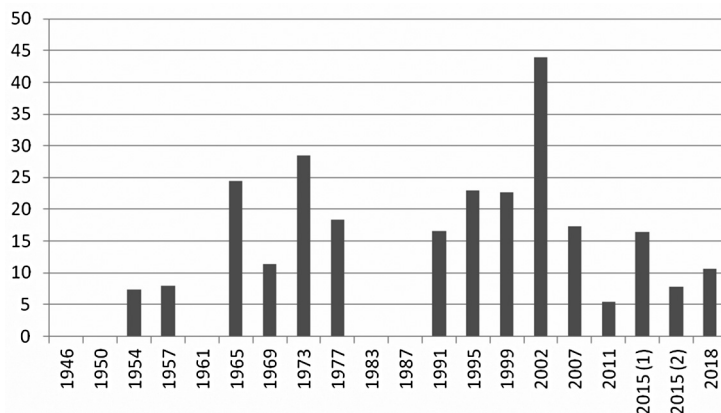


Рисунок 3 Динамика электоральной волатильности



ПОЛИТИКА

O.G.Kharitonova
CRISIS EVOLUTION
OF TURKISH POLITICAL SYSTEM

Oxana G. Kharitonova — Ph.D. in Political Science; Associate Professor at the Department of Comparative Politics, MGIMO University. Email: o.haritonova@inno.mgimo.ru.

Abstract. The Turkish presidential and parliamentary elections that took place June 24, 2018, marked the completion of the long-term process of institutional transformations, which led to the establishment of presidentialism. On the basis of the analysis of the dynamics of constitutional presidential powers, the author describes the evolution of the Turkish institution of presidency and peculiarities of the country’s parliamentary, premier-presidential and presidential systems of government. In order to trace the logic of institutional changes, she analyzes party and electoral systems, seats distribution in parliament, and the role of the army.

Since the birth of the Turkish Republic, the country has adopted three constitutions, has survived through four coups d’état (including two “post-modern” ones) and has changed 64 governments. Until 2007 Turkey had a parliamentary system that went through two phases: a stable one-party government and inefficient fragmented pluralism with coalition and minority governments. Highly fragmented party system, inefficient government and regular

intervention of the army into politics nullified advantages of parliamentarism. All constitutional changes in Turkey came into being as a reaction to crises and were conducted in a “layered” manner, when new rules did not replace the old ones, but rather complemented them. Turkey preserved all presidential powers (which were already rather substantial) established by the 1982 Constitution and introduced nationwide presidential elections, thereby transforming its government system from parliamentary to premier-presidential with a strong president. The following transition to a presidential system implied further extension of presidential powers. The author concludes that the volume of the presidential powers is big enough so that Turkey should be classified as super-presidential system.

Keywords: parliamentary system, presidential system, premier-presidential system, presidential powers, Turkey

References

- Akça İ., A. Bekmen, and B. Özden, eds. (2013) *Turkey Reframed: Constituting Neoliberal Hegemony*. London: Pluto Press.
- Akkoyunlu F. (2014) *The Rise and Fall of the Hybrid Regime: Guardianship and Democracy in Iran and Turkey*. London: London School of Economics.
- Amendment Proposal to the Turkish Constitution*. (2017) URL: <https://politicsandlawinturkey.wordpress.com/publications/contributions-of-fellows/2017-amendment-proposal-to-the-turkish-constitution/> (accessed 1.04.2018).
- Anayasa Mahkemesi 44 yilda 24 parti kapatti*. URL: <http://bianet.org/bianet/siyaset/103054-anayasa-mahkemesi-44-yilda-24-parti-kapatti> (accessed 5.05.2018).
- Cheibub J. (2007) *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*. New York: Cambridge University Press.
- Constitution of the Republic of Turkey*. (1982) URL: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b5be0.html> (accessed 1.04.2018).
- Constitution of the Republic of Turkey (With Amendments through 2007)*. URL: https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf (accessed 1.04.2018).
- Constitution of the Turkish Republic*. (1961) URL: www.anayasa.gen.tr/1961constitution-text.pdf (accessed 1.04.2018).
- Coşkun V. (2013) “Constitutional Amendments under the Justice and Development Party Rule” // *Insight Turkey*, vol. 15, no. 4: 95–113.
- “Davutoğlu Stepping down as Turkish PM, AKP to Hold Snap Congress”. (2016) // *Hurriyet Daily News*, 05.05. URL: <http://www.hurriyetdailynews.com/davutoglu-stepping-down-as-turkish-pm-akp-to-hold-snap-congress-98766> (accessed 5.05.2018).
- Duverger M. (1980) “New Political System Model: Semi-Presidential Government” // *European Journal of Political Research*, vol. 8, no. 2: 165–187.
- Earle E.M. (1925) “The New Constitution of Turkey” // *Political Science Quarterly*, vol. 40, no. 1: 73–100.

- Elgie R. (2005) "A Fresh Look at Semi-presidentialism: Variations on a Theme" // *Journal of Democracy*, vol. 16, no. 3: 98—112.
- Erdoğan R. (2015) "Interview" // *Turkish Radio and Television Corporation (TRT)*, 29.01. URL: <https://www.tccb.gov.tr/en/interviews/1716/3190/turkish-radio-and-television-corporation-trt.html> (accessed 01.06.2018).
- Erdoğan R. (2017) *New Year Message*. URL: www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/87951/new-year-message.html (accessed 1.05.2018).
- "Excerpts of Turkish Army Statement". (2007) // *BBC News*, 28.04. URL: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6602775.stm> (accessed 1.05.2018).
- Fish S. (2006) "Stronger Legislatures, Stronger Democracies" // *Journal of Democracy*, vol. 17, no. 1: 5—20.
- Fuat K. (2014) "The AK Party: Dominant Party, New Turkey and Polarization" // *Insight Turkey*, vol. 16, no. 2: 19—31.
- Gönenç L. (2004) "The 2001 Amendments to the 1982 Constitution of Turkey" // *Ankara Law Review*, vol. 1, no. 1: 89—109.
- Gönenç L. (2008) "Presidential Elements in Government: Turkey" // *European Constitutional Law Review*, vol. 4, no. 3: 488—523.
- Hazama Y. (1996) "Constitutional Review and Parliamentary Opposition in Turkey" // *The Developing Economies*, vol. 32, no. 3: 316—338.
- Kalaycioglu E. (2008) "Attitudinal Orientation to Party Organizations in Turkey in the 2000s" // *Turkish Studies*, vol. 9, no. 2: 297—316. URL: https://www.researchgate.net/publication/263759218_Atitudinal_Orientation_to_Party_Organizations_in_Turkey_in_the_2000s (accessed 1.06.2018).
- Kharitonova O.G. (2014) "Postsovetskie konstitutsii: Tolko li institute imejut znachenie?" [Post-Soviet Constitutions: Do Only Institutions Matter?] // *Politicheskaja nauka* [Political Science], no.1: 69—93. (In Russ.)
- Lijphart A. (1995) "Konstitutsionnye alternativy dlja novykh demokratij" [Constitutional Choices for New Democracies] // *Polis. Politicheskie issledovanija* [Polis. Political Studies], no. 2: 135—146. (In Russ.)
- Linz J. (1994) "Opasnosti prezidentstva" [The Perils of Presidentialism] // *Predely vlasti* [Limits of Power], no. 2—3: 3—24. URL: <http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem14.htm> (проверено 7.06.2018). (In Russ.)
- Mahoney J. and K.Thelen. (2010) "A Gradual Theory of Institutional Change" // Mahoney J. and K.Thelen, eds. *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*. Cambridge: Cambridge University Press: 1—37.
- O'Donnell G.A. (1994) "Delegative Democracy" // *Journal of Democracy*, vol. 5, no. 1: 55—69. URL: http://rochelleterman.com/ComparativeExam/sites/default/files/Bibliography%20and%20Summaries/O'Donnell%201994_0.pdf (accessed 5.06.2018).
- Özbudun E. (2012) "Turkey's Search for a New Constitution" // *Insight Turkey*, vol. 14, no. 1: 39—50.
- Özbudun E. and Ö.F.Gençkaya, eds. (2009) *Democratization and the Politics of Constitution-making in Turkey*. New York: CEU Press.
- Parliamentary Elections in Turkey*. (2015) URL: http://www.byegm.gov.tr/uploads/docs/ingilizce_kitap_Ic.pdf (accessed 1.05.2018).

Political Vision of AKP 2023. (2012) URL: <http://www.akparti.org.tr/upload/documents/akparti2023siyasivizyonuungilizce.pdf> (accessed 1.06.2018).

„Post-modern“ Coup of Religious, Political Oppression”. (2016) // *Daily Sabah*, 26.08. URL: <https://www.dailysabah.com/feature/2016/08/26/feb-28-a-post-modern-coup-of-religious-political-opression> (accessed 1.05.2018).

Roper S. (2002) “Are All Semi-presidential Regimes the Same? A Comparison of Premier-Presidential Regimes” // *Comparative Politics*, vol. 34, no. 3: 253—272.

Shugart M.S. (2005). “Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns” // *French Politics*, vol. 3, no. 3: 323—351. URL: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2Fpalgrave.fp.8200087.pdf> (accessed 5.05.2018).

Shugart M. and J.Carey. (2006) “Prezidenty i zakonodatelnye sobranija” [Presidents and Assemblies] // Dahl R.A., I.Shapiro, and J.Cheibub, eds. *Teoriya i praktika demokratii: Izbrannye teksty* [Democratic Theory and Practice], Moscow: Ladomir: 228—231. (In Russ.)

Türk R. (2011) “Feasibility of Presidential System in Turkey” // *Turkish Journal of Politics*, vol. 2, no. 1: 33—48.

“Turkey Approves Presidential System in Tight Referendum”. (2017) // *Hurriyet Daily News*, 16.04. URL: <http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-approves-presidential-system-in-tight-referendum--112061> (accessed 5.05.2018).

Turkey Election Results. (2018) URL: <http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-elections-2018> (accessed 26/06/2018).

“Turkey President Vetoes Vote Plan”. (2007) // *BBC*, 25.05. URL: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6692123.stm> (accessed 5.05.2018).

“Turkish Regime Is Ousted by the Military Leaders”. (1971) // *New York Times*, 13.03. URL: <https://www.nytimes.com/1971/03/13/archives/turkish-regime-is-ousted-by-the-military-leaders-no-move-made-to.html#story-continues-1> (accessed 5.05.2018).



XIII КОНКУРС РАБОТ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ НА ПРЕМИЮ А.М.САЛМИНА

Проводится ежегодно

Условия конкурса

1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты факультетов политологии, научные сотрудники исследовательских институтов и аналитических центров, не достигшие ко времени подачи работы 30 лет.
2. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более 40 тыс. знаков.
3. Приоритетными (для конкурса) направлениями политической науки являются: сравнительный анализ политических культур, политических институтов, межэтнических и церковно-государственных отношений.
4. Работы принимаются до 31 декабря 2018 г., оглашение результатов происходит во второй половине февраля.
5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, отвечающих требованиям, изложенным в пункте 1, рассматриваются Жюри автоматически.
6. По итогам конкурса присуждаются первая (30 тыс. рублей), вторая (15 тыс. рублей) и третья (10 тыс. рублей) премии.

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный адрес: politeia@politeia.ru.

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ПОЛИТИЯ»

1. Предлагаемые для публикации статьи направляются на электронный адрес Редакции (politeia@politeia.ru) в формате *.doc или *.docx.

2. Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса авторов (в том числе аспирантские).

3. К статье должна прилагаться следующая информация об авторе (авторах): фамилия, имя и отчество полностью (на русском и английском языках), ученая степень и ученое звание, место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты. Статьи, поступившие от посреднических контор, к рассмотрению не принимаются.

4. К статье следует приложить аннотацию на русском и английском языках. Аннотация должна представлять собой краткий аналитический текст (1500—2000 знаков с пробелами), раскрывающий основное содержание статьи. В конце аннотации следует указать 5—7 ключевых слов статьи на русском и английском языках.

5. Рекомендуемый объем статьи — 30—40 тыс. знаков с пробелами. Тексты, выходящие за пределы данного объема, рассматриваются Редакцией только в порядке исключения.

6. Статья должна иметь библиографический список на русском и английском языках. В списке указываются все авторы и источники, цитируемые в тексте. На каждую работу из списка обязательна ссылка в тексте. Библиографические и текстовые ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумерацией. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены.

7. В связи с особенностями макета «Политии» просим авторов воздерживаться от обширных подстрочных примечаний.

8. Текст статьи должен быть приведен автором в максимальное соответствие со стилистическими, орфографическими, синтаксическими и прочими языковыми нормами *до* отправки его в Редакцию. Сокращения слов не допускаются.

9. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, иметь название и располагаться по месту их будущего размещения в макете. Числовые данные в таблицах должны быть выверены автором. В тексте должна быть ссылка на каждую таблицу и рисунок (их порядковый номер). Рисунки должны быть выполнены в черно-белом формате. Таблицы и рисунки должны интегрироваться в файл формата *.doc (*.docx) с сохранением возможности их редактирования.

10. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. По заранее оговоренному желанию автора редакционная правка подлежит согласованию с автором.

11. Все статьи, поступившие в Редакцию и отвечающие профилю, концепции и тематике журнала, проходят рецензирование. Принятие первичного решения о соответствии/несоответствии поступивших в Редакцию статей профилю, концепции и тематике журнала является прерогативой коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного редактора журнала. Статьи, не прошедшие экспертизу коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного редактора журнала, к рецензированию не принимаются.

12. Редакция принимает окончательное решение о публикации (или отклонении) статей, учитывая мнения рецензентов. Рецензирование носит обоюдно анонимный характер: имена авторов не сообщаются рецензентам, имена рецензентов не сообщаются авторам.

Регламент рецензирования подробно описан в «Порядке рассмотрения и рецензирования статей, поступивших в редакцию журнала „Полития“» на сайте журнала (<http://politeia.ru/content/pravila-predostavlenija-rukopisej/porjadok-rassmotrenija-i-recenzirovanija/>).

13. Статьи, ранее опубликованные (в том числе в интернете) или сданные в другие издания, в журнале не публикуются. Исключения возможны только для препринтов. Автор обязан проинформировать Редакцию о факте существования препринта предлагаемой к публикации в «Политии» статьи.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА

Оформление ссылок

Библиографические ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумерацией и включают фамилии авторов, год издания и (в случае цитат или отсылок к конкретным частям работы) страницы:

Геллнер 1991.

См. Геллнер 1991.

Геллнер 1991: 100—101 — после двоеточия указаны страницы.

Инглхарт и Вельцель 2011.

Spector and Kitsuse 1977.

Слинько, Сальников и Дмитриева 2009.

North, Wallis, and Weingast 2009.

Коротаев и др. 2007 — при наличии более чем трех авторов.

Baumgartner et al. 2009 — при наличии более чем трех авторов.

Петров 2003; Сидоров 2005.

Селезнева 2011a: 100; Freedman 2017b — буквы a, b, c... обозначают разные работы данного автора, выпущенные в один и тот же год.

Если авторство в библиографическом описании не указано, в ссылке приводятся фамилии редакторов, а при отсутствии таковых — первое слово (первые слова) названия работы:

Шестопал (ред.) 2012.

Bernhard and Kubik (eds.) 2014.

Понятие 2007.

Радикальная ксенофобия 2004.

Ссылки на классические труды античных авторов, а также на священные тексты включают только их общепринятую пагинацию и рубрикацию (в случае необходимости указывается также переводчик):

Платон, Тимей: 50b—53c (пер. С.С.Аверинцева).

Plato, Timaeus: 50b—53c (transl. by V.Jowett).

Мф. 23:38.

В случае ссылки на периодическое издание в целом в подстрочном примечании указываются его название, год выпуска, том (при наличии) и номер (или день и месяц публикации):

Политическая наука 2000, № 2.
Political Studies 2000, vol. 3, no. 2.
Сегодня 01.08.2001.

При ссылке на интернет-ресурс целиком в подстрочном примечании приводится его URL:
<http://data.uis.unesco.org/>.

Оформление библиографических списков

Базовый библиографический список (Библиография) и References составляются по алфавитному принципу без нумерации. В базовом библиографическом списке сначала в алфавитном порядке приводятся источники на русском языке, затем — на иностранных. Классические труды античных авторов и священные тексты в библиографические списки не включаются.

В базовом библиографическом списке при оформлении книг должны быть указаны фамилии и инициалы авторов (редакторов), год издания (в скобках), название книги, место издания, название издательства. При оформлении статей, опубликованных в периодических изданиях, указываются фамилии и инициалы авторов, год издания, название статьи (в кавычках), название журнала или газеты, том (при наличии), номер и страницы, на которых размещена статья. Для материалов периодических изданий, имеющих как печатную, так и интернет-версию со свободным доступом, помимо информации об издании следует указывать полный URL (конкретной страницы, а не только веб-сайта, на котором она размещена). Для интернет-публикаций, не имеющих печатной версии, приводится только URL конкретной страницы. Не рекомендуется ссылаться на интернет-версии неперiodических печатных изданий, в которых не сохранена оригинальная пагинация. При описании разделов в монографиях и статей в сборниках указываются фамилии и инициалы авторов, год издания, названия раздела/статьи (в кавычках) и монографии или сборника (с указанием фамилий и инициалов авторов или редакторов), место издания, издательство и страницы, на которых размещены раздел/статья. Название базового источника (книги или того издания, где помещена цитируемая работа) выделяется курсивом. При цитировании нескольких работ какого-либо автора, выпущенных в один и тот же год, после указания года издания добавляются буквы a, b, c...

В References вся информация о русскоязычных работах должна быть транслитерирована, а названия самих работ и переведены на английский язык. Транслитерация производится на основе стандарта Library of Congress (LC). Переводу подлежат также названия периодических изданий, сборников и монографий, в которых размещена цитируемая работа. В случае переводных книг и статей следует указывать их оригинальное название. В оригинальном написании должны приводиться и фамилии иностранных авторов. Описания работ на иностранных языках воспроизводятся в References без изменений.

Примеры оформления работ в базовом библиографическом списке и References приведены на сайте журнала (<http://politeia.ru/content/pravila-predostavlenija-rukopisej/pravila-otformlenija/>).

Table of Contents

| | | |
|--|--|-----|
| | Issue Materials _____ | 5 |
| Religion and Politics | S.I.Kaspe In What Does Leviathan Deal? Evaluation Criteria for States' Competitiveness on "Salvation Markets" _____ | 6 |
| Political Theories | S.T.Zolyan Language of Politics or Language in Political Function? _____ | 31 |
| | A.V.Marey About Princes and Sovereigns _____ | 50 |
| | S.A.Kucherenko Reception of Thucydides in Political Realism: Science and Rhetoric _____ | 74 |
| Paradigms of Social Development | A.S.Akhremenko, A.P.Ch.Petrov, I.B.Philippov Democratic Survival and Stability: from Lipset Hypothesis to Economic Productivity _____ | 87 |
| | A.N.Medushevsky Populism and Constitutional Transformation: Eastern Europe, Post-Soviet Space and Russia _____ | 113 |
| | D.A.Davydov Social Subject of Transition towards Post-Capitalist Society: Who Is It? _____ | 140 |
| Ideologies | N.V.Rabotyzhev Realism and Utopia in the Ideology of European Social Democracy _____ | 158 |
| Foreign Politics | O.G.Kharitonova Crisis Evolution of Turkish Political System _____ | 181 |
| Appendix | The 13 th A.M.Salmin's Best Paper Award Contest among Young Political Scientists _____ | 206 |
| | Guidelines for Submitting Manuscripts for Publishing in Journal <i>Politeia</i> _____ | 207 |

ПОЛИТИЯ
Журнал политической философии
и социологии политики

ПИ № ФС 77-48673 от 21 февраля 2012 г.

Издается АНО «Общественно-политический журнал. Журнал политической философии и социологии политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз». 101000, Москва, Лучников пер., 2.

Дизайн – *Ю.А. Трушин*

Техническое редактирование и компьютерная верстка – *И.В. Филимонов*

Подписано в печать 25.08.2018. Формат 70×100 1/16.

Тираж 1000 экз. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ООО «Место печати».

119049, Москва, ул. Мытная, д. 23, кор. 3.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|----|-------------|-------|------------------------|---------|-----|-----|-----------|------------------------|------------------|--|
| Ф. СП-1 | Министерство связи Российской Федерации | | | | | | | | | | 80454 | | |
| | на газету | | | | | | | | | | (индекс издания) | | |
| | Абонемент | | | | | | | | | | на журнал | | |
| | Журнал «Полития» | | | | | | | | | | | | |
| | (наименование издания) | | | | | | | | | | Количество комплектов: | | |
| | на 20__ год по месяцам: | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Куда | | | | | | г. | | | | | | |
| | (почтовый индекс) | | | | | | (адрес) | | | | | | |
| | ул. | | | | | | | | | | | | |
| | дом | | | | корп. | | | | кв. | | | | |
| | Кому | | | | | | | | | | | | |
| | (фамилия, инициалы) | | | | | | тел. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Доставочная карточка | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | на газету | | 80454 | |
| | | | | | | | | | | на журнал | | (Индекс издания) | |
| пв | место | ли-тер | | | | | | | | | | | |
| Журнал «Полития» | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование издания) | | | | | | | | | | | | | |
| Стоимость | | подписки | | __руб__ коп | | Количество комплектов: | | | | | | | |
| | | пере-адресовки | | __руб__ коп | | | | | | | | | |
| На 20__ год по месяцам: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Куда | | | г. | | | | | | | | | | |
| (почтовый индекс) | | | | | | (адрес) | | | | | | | |
| дом | | | | корп. | | | | кв. | | | | | |
| Кому | | | | | | | | | | | | | |
| (фамилия, инициалы) | | | | | | тел. | | | | | | | |